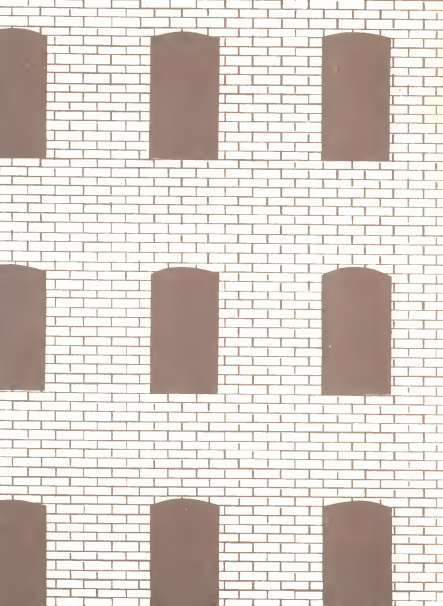


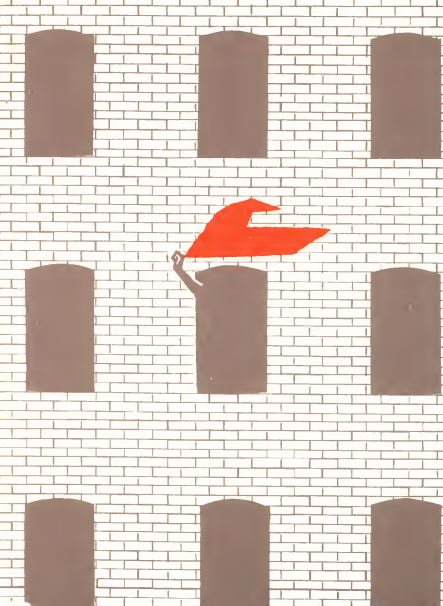
Степень доверия

ВЛАДИМИР ВОЙНОВИЧ

ДХ







Издательство
ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
Москва
1973



СЕРИЯ • ПЛАМЕННЫЕ



РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ •

*Владимир
Войнович*

СТЕПЕНЬ ДОВЕРИЯ

ПОВЕСТЬ
О ВЕРЕ ФИГНЕР

Владимир Войнович начал свою литературную деятельность как поэт. В содружестве с разными композиторами он написал много песен. Среди них — широко известные «Комсомольцы двадцатого года» и «Я верю, друзья...», ставшая гимном советских космонавтов.

В 1961 году писатель опубликовал первую повесть — «Мы здесь живем». Затем вышли повести «Хочу быть честным» и «Два товарища». Пьесы, написанные по этим повестям, поставлены многими театрами страны.

«Степень доверия» — первая историческая повесть Войновича. Она посвящена замечательной революционерке-пародоволке Вере Николаевне Фигнер. Автор сосредоточивает внимание на узловых моментах в революционной биографии Фигнер и ее товарищей по борьбе: хождение в народ, разочарования, поиски нового пути, создание партии «Народная воля», участие в деятельности Исполнительного комитета, дерзкие покушения, закончившиеся царубийством 1 марта 1881 года. В повести показаны замечательные соратники Фигнер — Александр Михайлов, Андрей Желябов, Софья Перовская и другие. Автор также знакомит читателя с общественной и литературной средой того времени, рисует видных представителей царской администрации, обывателей и жандармов.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава первая

Был конец ноября или начало декабря (точно не помню), когда от отца моего, проживавшего в родовом имении Филипповке, получилось известие, что в скором времени в Казань прибудет Николай Александрович Фигнер со взрослою дочерью.

«Николай Александрович,— писал отец,— мой одноклассник еще по Кориусу Лесничих, ныне, как и я, служит мировым посредником в Тетюшском уезде. Посему советую тебе быть к нему и его дочери внимательным и гостеприимным, как это всегда водилось в нашем роду, и не докучать своими откровениями, которые среди нынешней молодежи называются правдой в глаза, а в наши времена назывались просто хамством. Будь снисходителен к слабостям других, ибо никто из нас не совершенен». Затем следовали коротко семейные новости и просьба: «В книжном магазине Дубровина спроси книгу «Нет более геморроя!!!» Зейберлинга. В газетах пишут, что книга сия знакомит с сущностью страдания доселе невыясненного и научит избавиться от него безо всяких последствий».

Хотя батюшка ни словом не обмолвился о цели путешествия своего одноклассника, мне эта цель была

вполне очевидно. «Ясно,— думал я,— едет старый хрен из провинции в губернский город, чтобы сбыть залежалый товар, будто в губернском городе живут дураки». Впрочем, дураков в нашем городе, действительно, хватало вполне.

Мне в ту пору было двадцать шесть лет. Окончивши с отличием Казанский университет, я получил звание кандидата прав и служил следователем в окружном суде. Работа эта, при всех ее теневых сторонах, казалась мне крайне важною, особенно в нашем тридевятом царстве, весьма отсталом в правовом отношении, и отвечала моим стремлениям быть необходимым и полезным членом общества. Судебная реформа, тогда только что дошедшая до нашей губернии, открывала перед молодым и честолюбивым человеком весьма приятные перспективы.

Председателем у нас был Иван Пантелеевич Клемишев, старик, закоснелый в прежних привычках. Почитая себя англоманом, он любил употреблять английские слова, иногда кстати, а чаще совершенно не к месту, но английским традициям следовать не стремился. Сорокалетняя служба в старом суде наложила неизгладимый отпечаток на его представления о порядке отправления правосудия, от которых он не желал, да и не мог, пожалуй, избавиться.

— Дайте мне человека,— покуривая свою неизменную трубочку, обычно говаривал он,— и скажите, как его наказать, а уж причину и средство я найду-с, будьте уверены.

Несмотря на все изменения, происшедшие за последнее время, Иван Пантелеевич был твердо убежден, что лучше засудить десять невинных, чем упустить одного виновного. Избавиться от подобного заблуждения он мог бы только в том случае, если

сам попал бы в число десяти заслуженных невинных, но такая перспектива ему никогда не грозила.

К суду присяжных отнесся он как к неизбежному злу и умел так повернуть каждое дело, что обвиняемый получал все то, что получил бы и без присяжных. Обычно напутственные речи Клемишева содержали в себе подсказку желаемого вердикта и даже некоторую угрозу по отношению к присяжным, после чего последние не решались (или почти никогда не решались) принимать самостоятельное решение. Своим умением нажимать Клемишев гордился и говорил:

— Дайте мне хоть тыщу присяжных, я все равно настрою их так, что они поступят по-моему.

Либеральные веяния нашего времени считал он весьма зловредными, грозящими чуть ли не гибелью отечеству, в любви к которому Клемишев распинался при каждом удобном случае не только на службе, но и в домашнем кругу. Однако любовь к отечеству не мешала ему вести жизнь, которую никак нельзя было назвать праведной. Нос его от постоянного пьянства имел цвет и даже, я бы сказал, форму синего баклажана. Для выездов он держал баснословно дорогого рысака и устраивал званые вечера и балы, нисколько не соответствовавшие его жалованью и доходам с поместья.

Стоит ли говорить, что между мной и председателем суда постоянно возникали трения, усугублявшиеся еще и тем, что я ухаживал за его дочерью Лизой, или Лизи, как ее на английский манер звали дома.

Лиза была младшей дочерью в семье Клемишевых. Три старших давно уже были замужем, и две из них имели детей. А Лиза несколько засиделась в девицах, и к описываемому времени ей шел двадцать

четвертый год. Нельзя сказать, чтобы она была очень красива, но даваемое за ней приданое (признаюсь, это имело для меня некоторое значение) вполне скрашивало общую картину. Впрочем, в ту пору она и так казалась мне достаточно привлекательной, умной и милой. Довольно часто я проводил у нее вечера. Потрескивал камин, журчала музыка, и ее белые руки плавно взмывали над клавишами. В такие вечера мне было хорошо и уютно и домой возвращаться никак не хотелось. Часто я думал о том, что как все-таки неправильна поговорка о яблоке, падающем недалеко от яблони. Лиза была красноречивым опровержением укрепившегося предрассудка. «Вот,— рассуждал я сам с собой в такие минуты,— ее отец — взяточник и лихоимец, имевший на своей совести (ежели таковая у него была) столько загубленных душ; что общего у нее может быть с ним?» И сам себе отвечал: «Ничего, кроме родства, в котором она, разумеется, неповинна». Я уже подумывал, не сделать ли предложение, но, дорожа своей весьма относительной свободой, каждый раз удерживался от этого шага. Однако отношения наши постепенно дошли до такой точки, когда мои постоянные посещения и сидения до позднего времени как бы обихаживали уже меня к чему-то, и матушка Лизы Авдотья Семеновна поглядывала на меня вопросительно и с каким-то невысказанным упреком, смысл которого я очень хорошо понимал.

Однажды вечером (примерно через неделю по получении батюшкиного письма, о котором я уже и думать забыл) сидел я в гостиной у Клемишевых. Мы были здесь с Лизой вдвоем. Она наигрывала что-то на рояле, а я сидел на атласном пуфике перед камином, вытянув ноги, смотрел на огонь и не думал, кажется, ни о чем. Как раз в этот день по делам службы

пришлось мне выехать в уезд за пятнадцать верст от Казани. Прodelавши по морозу дорогу в оба конца, я устал, замерз и теперь с удовольствием наслаждался музыкой, теплом и видом огня, который всегда производил на меня какое-то гипнотическое действие, то есть я мог смотреть на него, не отрываясь, часами. Так я сидел, испытывая глубочайшее наслаждение, почти равное счастью, когда Лиза запела. Она пела романс, сочиненный каким-то знакомым на слова Байрона — «So, We'll Go No More A-Roving...»¹. По правде говоря, я этот романс давно уже не любил, а если сказать точнее, то и вовсе ненавидел. Но когда-то он мне нравился, и я имел неосторожность сказать об этом. С тех пор меня угощали этим романсом всякий раз, когда я бывал в этом доме. Разумеется, исполнялись и другие мелкие вещи, тоже давно мне знакомые, но в конце или в середине игры делалась многозначительная пауза, бросался многозначительный и обещающий нечто необыкновенное (только для вас!) взгляд, тонкие белые пальцы медленно упали на клавиши и божественные звуки вызывали зуд в моем позвоночном столбе. Да, мне давно уж наскучил этот романс, он раздражал меня теперь настолько, что вызывал почти физическую боль, но я не находил в себе мужества попросить Лизу больше не делать мне этого подарка, я глупо улыбался и кивал головой, как бы в знак благодарности и одобрения, что она угадала заветнейшее мое желание, в то время как мне страстно хотелось схватить что-нибудь тяжелое и расколотить вдребезги этот инструмент, чтобы последним звуком, из него извлеченным, был бы звук рвущихся струн. И в этот раз я опять улыбнулся и кивнул головой, а потом сжал руками виски и наклонился.

¹ Не бродить нам больше (англ.).

нил голову, как бы приговаривая в который раз испытать наслаждение, а на самом деле только для того, чтобы скрыть истинные чувства, чтобы гримаса отворачивания, которая, возможно, появится на моем лице, не была бы замечена. И опять, как прошлый раз, как позапрошлый раз, как уже много раз до сих пор, я пытался отвлечься, но не мог и думал: «Это еще только первый куплет, и прежде, чем перейти ко второму, она повторит две последние строчки первого, а потом еще сделает несколько переходных аккордов и обязательно переберет своими прелестными пальчиками все клавиши до единой, вздохнет, сделает паузу и уж только после этого приступит ко второму куплету».

Так все и было. Лиза посмотрела на меня, обещающе улыбнулась (вызвав во мне фальшивую улыбку одобрения и благодарности) и уронила пальцы на клавиши. Медленно сыграла вступление и затем своим переливчатым голосом запела:

So, we'll go no more a-roving
So late into the night...¹

«Боже мой,— подумал я,— почему она, такая тонкая и чуткая, не понимает, что этот романс мне давно надоел. Пусть это самый гениальный из всех романсов, но нельзя же человека все время кормить одним и тем же. Допустим, я обожаю устрицы, но если есть устрицы ежедневно с утра до вечера, то кусок заплесневелого черного хлеба покажется пищей богов».

Я схватился за голову и, изображая величайшее наслаждение, отвернулся к огню.

Чтобы отвлечься, я стал думать о деле, которым занимался последнее время и которое меня волновало.

Главным действующим лицом этого дела был пеккий Анощенко. Господин Анощенко ведал одним из тех многочисленных департаментов, которые, казалось, для того только и были созданы, чтобы чиновники могли получать жалованье. Человек он был грубый, в своих поступках педержанный, однако ввиду его близкого родства с губернатором, которому он приходился двоюродным братом, до поры до времени многое сходило ему с рук. Примерно около двух лет тому, выходя из церкви, Анощенко обратился к извозчику Правоторову, стоявшему неподалеку, чтобы тот отвез его домой. Извозчик отвечал, что не может выполнить его просьбу, потому что занят другим седоком, который велел его обождать. Анощенко был препорядочно пьян, и слова извозчика показались ему дерзкими. Он стащил последнего с козел и стал избивать кулаком в лицо, говоря при этом:

— Я столбовой дворянин, а ты, дрянь и ничто, смеешь мне перечить! Царь тебя освободил от рабства, а я тебя бил и бить буду дальше.

Отвратительно то, что вокруг толпился народ, многие были возмущены, но никто не посмел вступить за избиваемого, пока он не догадался вскочить на козлы и удрать.

Извозчик после этого жаловался в полицию, где, зная о связях Анощенко, жалобу оставили, естественно, без последствий, обещав разобраться. Два дня после избиения извозчик еще работал, но на третий день почувствовал себя плохо, слег, впал в бредовое состояние и еще сутки спустя, не приходя в сознание, умер. Медицинская экспертиза была произведена напрасно и не дала ничего. Дело, возбужденное против Анощенко, было закрыто за недоказанностью того, что смерть извозчика Правоторова наступила как результат избиения, Анощенко отделался легким испу-

гом и, как было слышно, похвалялся перед своими подчиненными, что может делать все, что захочет, потому что его никто не посмеет тронуть. Так бы оно, конечно, и было, но с введением у нас судебной реформы кто-то из адвокатов посоветовал вдове извозчика обратиться в новый суд. Прошение о пересмотре дела попало к Ивану Пантелеевичу, который и препоручил его мне, сказав при этом, что оно гиблое, за давностью ничего доказать невозможно. Иван Пантелеевич советовал провести формальное исследование и как можно скорее отпавить дело в архив.

Я, однако, ознакомившись с делом, не стал руководствоваться напутствием своего начальника, и вот почему. Размышляя над делом, я думал, что смерть, вероятно, была все же следствием избиения, ибо соседство этих двух событий иначе трудно было бы объяснить. Конечно, могло быть и случайное совпадение. Я это признаю. Сегодня человека избили, а завтра он простудился и умер. Отчего нет? Однако я лично склонен даже в случайностях искать закономерность. Отчего же умер Правоторов? Если удары Анощенко оказались смертельными, то почему потерпевший не умер сразу? Почему он еще два дня работал, и, как видно из материалов дела, в полную силу? Тут можно было предположить две вещи. Либо избиение это было сильным первым потрясением, которое в конце концов привело к смерти, но тогда доказать что-нибудь почти невозможно. Либо во время избиения были повреждены какие-то внутренние органы, причем повреждения были такого рода, которые дают эффект не сразу, а по прошествии некоторого времени. Но что это могли быть за повреждения и что можно выяснить теперь, когда труп, конечно, давно разложился?

роде поговаривали, что Анощенко вновь выйдет сухим из воды, потому что дворяне, заседающие в новом суде, те же самые, что заседали и в старом,— дескать, ворон ворону глаз не выклюет и т. д. Так что дело получило не только юридическую, но и чисто нравственную сторону. Надо было не только наказать преступника, но и доказать публике, что новый суд — суд настоящий, что перед ним все равны, и равны не на словах, а на деле, от первого помещика до последнего мужика. Существовала, разумеется, и другая точка зрения. Мне передавали слова нашего губернатора Скарятина: «Передайте этому следователю, что использовать новые законы для шельмования уважаемых людей мы не позволим». Но я не поддавался. Конечно, стоило мне убедиться, что Анощенко не виноват, я сразу бы от этого дела отступился. Не стал бы возводить напраслину на человека только затем, чтобы доказать торжество нового суда, ибо таковое видел исключительно в достижении справедливости. Но я подозревал, и сильно подозревал, что между избиением Правоторова и его смертью есть прямая связь, и поэтому от дела не отступался, хотя совершенно в нем запутался.

— Вы о чем думаете? — Окончив романс, Лиза смотрела на меня удивленно, не видя ожидаемой благодарности.

— Я думаю об Анощенко, — сказал я.

— Ой, — поморщилась она. — Дался вам этот Анощенко. Все равно ничего не докажете, только наживете себе неприятностей. Папа говорит, что вы зря ввязались в это дело.

— Точка зрения вашего папы мне известна, — сказал я.

— Вот вы у него и учётесь. Он в суде работает побольше вашего и на этих делах собаку съел.

— Не спорю, но надо когда-то и мне съесть свою собаку.

— Между прочим, этот Анощенко очень хороший человек, мне про него говорили. А что касается извозчика, то я уверена, что он просто простудился. Пьяный валялся где-нибудь в канаве, вот и заболел.

— Известно, что Правоторов не шил,— сказал я.

— Ну уж и не шил,— не поверила она.— Да где вы видели непьющего извозчика? Все они пьяницы, как один.

— Лиза,— невольно вздохнул я,— не надо так говорить. Есть среди извозчиков пьяницы, но говорить, что все они таковы, неправильно. Говоря нашим специфическим языком, в пользу вашего утверждения нет достаточных доказательств.

— Когда я в чем-нибудь уверена,— с пафосом сказала она,— мне не нужно никаких доказательств.

Я улыбнулся.

— К счастью для нашего правосудия,— сказал я,— вы не сидите в судейском кресле.

— Если вы хотите меня обижать,— она надула губки,— вы можете это делать сколько угодно. Я же говорю только для вашей пользы, тем более что все этим делом недовольны, и губернатор тоже.

— Я это знаю,— сказал я, подбрасывая в камин дрова.— Но я поставил себе за правило поступать сколь возможно только по закону и справедливости и не ставить свои поступки в зависимость от мнения губернатора.

— Не понимаю, почему вы непременно хотите наказать этого несчастного Анощенко?

— Я вовсе не хочу его наказать. Я хочу выяснить истину, и ежели Анощенко виноват, то будет нака-

зан, а ежели не виноват, то наказан не будет. Пока что обстоятельства говорят против него. Он избил человека, избил жестоко, человек этот после избияния заболел и умер. Не поставить в связь эти два события я, как следовательно, не могу.

— Вы слишком придираетесь к формальностям,— сказала она с досадой.

— Боюсь, что, если б эти формальности касались вас, вы бы ими весьма живо заинтересовались.

— Благодарю вас,— обиделась она пуще прежнего.— Вы меня уже сравниваете с каким-то пьяным извозчиком.

Голос ее задрожал, в глазах появились слезы. Она отвернулась.

— Милая Лиза,— сказал я поспешно.— Поверьте, я никак не хотел вас обидеть, но давайте не будем обсуждать то, что вам, может быть, не очень понятно.

— Выходит, я так глупа, что это не может быть мне понятно?

— Ничего не выходит. Но в правосудии, как в медицине, каждый считает себя компетентным. Всем все кажется просто. Но это целая отрасль науки, которой надо заниматься профессионально. Вы поймите, не зря же я обучался этому делу столько лет в университете и после него. Так что давайте не углубляться в профессиональные темы, тем более что нам есть о чем поговорить. Вы будете в субботу на балу в купеческом собрании?

— А вы?

— Это зависит от вас. Если вы там будете, то мне тоже ничего не останется, как быть там.

— А я бы сказала так: если вы там будете, то мне там нечего делать.

— Лиза, я вас прошу, не сердитесь. Ну скажите же, что вы на меня не сердитесь и что будете на балу. 13

— Может быть,— наконец смягчилась она.

— Если женщина говорит «может быть», это значит «да».

— Глунец вы, братец, несмотря на то что так долго учились в университете и после него,— она улыбнулась, хотя на глазах ее еще блеснули слезы.

— Ну вот, вы уже улыбаетесь, и очень хорошо,— обрадовался я.— Не сердитесь. Don't be angry with me ¹, как сказал бы ваш батюшка.

Вскоре мы расстались. Признаюсь, я возвращался к себе в несколько подавленном настроении. То, что произошло между нами, нельзя было назвать ссорой, скорее это была просто мелкая стычка, к тому же благополучно окончившаяся, но я невольно подумал о зря потерянном вечере, об этом навязшем в зубах романсе, о Лизиней самоуверенности, о некомпетентном разговоре, от которого мне стало скучно. «Все же что-то в ней есть от батюшки-англомана,— невольно подумалось мне.— Вот так женишься и будешь выслушивать глупые сентенции каждый день. Нет, все же торопиться не нужно, хотя я, конечно, люблю ее. Да, я люблю ее»,— сказал я самому себе, но не очень уверенно.

Глава вторая

Подъехав к своему дому, я нашел двери его распахнутыми настежь, несмотря на мороз. Из дверей на синий искрящийся снег падал яркий свет и вырывались клубы

пара, в которых мелькали торопливые фигуры людей, нагруженных дорожными вещами. Лошади, запряженные в простую кибитку, тяжело вздували бока, покрытые густым инеем, словно пононами.

— К вам гости, барин! — объявил мне вынырнувший из темноты мой старый слуга Семен, выражая голосом своим радость, что на меня свалилось такое счастье.

Я быстро поднялся на крыльцо и застал в передней пожилого высокого господина в медвежьей шубе. Рядом с ним стояла девица в дубленом ладном полушубке и пуховом платке, лет ей на первый взгляд было не больше пятнадцати. При моем появлении высокий господин двинулся мне навстречу и, подавая руку, сказал, как мне показалось, несколько смущенно:

— Николай Александрович Фигнер, дворянин Тетюшского уезда.

— Знаю, — сказал я, — я уже батюшкой про вас извещен.

— А это моя дочь Вера, прошу, как говорится, любить и жаловать.

— Очень рад, — сказал я, целуя красную и холодную с мороза ручку, которая казалась столь маленькою и хрупкою, что в мои руки ее брать было боязно.

— Надеемся, что мы вас не очень обеспокоим, — сказал ее отец, — но ежели что, прошу вас не стесняться, скажите прямо, и мы съедем без всякой обиды. Люди мы простые, можем устроиться и на постоялом дворе, да и знакомых у нас здесь, слава богу, хватает.

Разумеется, это была всего лишь дань хорошему тону, и, ответь я на его просьбу утвердительно, он обиделся бы на всю жизнь, однако я по тем же

правилам тут же заверил его, что ни он, ни его дочь меня нисколько не стеснят и могут вполне распоряжаться моим домом, как своим, занявши второй этаж. Старик благодарил меня в самых изысканных выражениях.

Когда мы встретились в столовой за чаем, я увидел, что Вера несколько старше, чем показалась мне с первого взгляда. Она была одета в синее скромное платье с белым отложным воротничком. У нее были темные, заплетенные в тяжелую косу волосы, правильные черты лица, тонкий нос и глаза живые, смотрящие на все, что им открывалось, с неподдельным интересом. Ее поведение обличало в ней провинциальную девушку, не привыкшую к мужскому обществу и потому чрезмерно застенчивую, хотя мне показалось, что эта застенчивость ненадолго, до нескольких выходов в свет.

— Вы первый раз в Казани? — спросил я не потому, что мне это было в самом деле интересно, а просто чтобы поддержать разговор.

— Нет, я здесь жила шесть лет, — сказала она, зардевшись от смущения.

— Странно, что мы с вами нигде не встретились раньше, — сказал я.

— Казань все-таки большим город, — сказала она.

— Дело не в том, что Казань большой город, — сказал отец, — а в том, что ты училась в закрытом заведении. В Родионовском институте, — повернулся он ко мне.

В Родионовском институте один мой знакомый преподавал когда-то географию, но потом был изгнан за какие-то амурные дела. Я вспомнил о нем. Постепенно мы разговорились, и Вера сказала мне, что полученным образованием она совершенно недовольна, хотя при выходе и получила отличие. Единственное,

что она хорошо усвоила,— это латынь и закон божий, а преподавание других предметов оставляло желать лучшего. Например, литература давалась лишь до сороковых годов, из современных писателей говорили об одном Тургеневе, да и того читали только «Муму».

— Ну в конце концов,— сказал я,— литература такой предмет, который не обязательно постигать в школе. И кроме того, в школе сколько бы ни давали литературы, все равно этого будет мало.

— А девице все эти премудрости знать вовсе и не обязательно,— вмешался отец.— Надо только научиться немного французскому, немного брэнчать на рояле да детей воспитывать.

Вера смутилась, покраснела и с упреком посмотрела на родителя.

— Почему уж так,— поспешил я ей на выручку,— такое представление о женщине не совсем современно. Почему бы женщине не заняться каким-нибудь доступным ей делом, например медициной?

— Ну и что хорошего?

— Нет и ничего дурного,— сказал я.— Среди женщин и сейчас немало есть акушеров и повитух, отчего же им и не быть врачами?

— Такого никогда не бывало.

— Раньше не бывало и паровых машин, а вот же ходят теперь поезда, и никого это не удивляет. Прощу прощения, но я вашу точку зрения разделить не могу. Считаю бессмысленным стоять поперек пути нового, ибо оно все равно пробьется, и лет эдак через пятьдесят ученая женщина никому не будет в диковинку, уверяю вас.

— Не дай бог.

— Напрасно вы так говорите, Николай Александрович. Вот ведь недавно еще крестьяне были крепостные, и казалось, что так и должно быть, потому что

так велось испокон веку. Однако вот их теперь освободили, и многие считают это правильным.

— Это вы не равняйте одно к другому.— Старик воодушевился, и глаза его заблестели.— Крестьян освободить давно надо было. Я вам больше скажу: ежели бы их не освободили и они бы восстали, я встал бы во главе их.

— Если бы они вас взяли,— поправил я.

— А почему бы им было меня не взять?

— Да хотя бы потому, что если и возникает какое движение, то оно сразу выдвигает и своих руководителей, которых никто со стороны не ищет.

Старик замолчал, насунул брови. Может быть, он согласен был с моими словами, и все же чувствовал некоторую обиду, что я не доверяю его гарибальдийским возможностям. Помолчав так некоторое время, он поднялся из-за стола, сказав, что пора на покой.

— Отдохнуть надо с дороги, да и вообще, знаете ли, мы люди деревенские, ложиться привыкли рано.

В этих его словах тоже почувствовал я уклончиво высказанную обиду. Он как бы говорил, что по понятиям «деревенских людей» яйца курицу не учат. Я не стал укреплять в нем это чувство обиды и, проведив обоих на второй этаж, зашел к Семену распорядиться, чтобы тот принес теплые одеяла.

Семен, крепкий еще семидесятилетний старик, жил в угловой комнатенке.

Я застал его стоящим на коленях под иконой, освещенной тусклой лампадкой.

Научась самостоятельно грамоте, он употреблял ее на то, что составлял ежедневно длинный перечень просьб, с которыми, поминутно заглядывая в сей документ, обращался вечерами к всевышнему. Списки эти он хранил у себя в деревянной простой шка-

тулке, перечитывал их на досуге и против сбывшихся пожеланий ставил крест и писал в скобках: «Сполнено».

— Осподи, вразуми раба своего Федора Рябого, чтобы отдал целковый, даденный мной на масленую,— бормотал он,— подскажи барину, чтобы раздетый на улицу не выбегал, неровен час застудится. Племянница моя Дунька, которая в деревне живет, попесла от Гришки Кленова, скажи ему, чтоб женился, а коли не женится, сделай ему какую ни то неприятность либо болезнь, дабы впредь неповадно было девок портить, а Дуньку тоже накажи как хошь, только поймей в виду, что она пшо молодая п глупая, опосля и сама опомнится, да будет поздно, а пшо поясница у меня болит со вчерашнего, так сделай милость, пущай пройдет, хворать-то некогда, делов много. А купец Балясинов собаку держит непривязанную, Лешку, мальчонку нашего, она уже покусала, глядишь, еще кого ухватит.

Увидев меня, старик смутился п скомкал бумажку.

— Семен,— сказал я ему улыбаясь,— что ж ты у господ ерунду всякую просишь? Попросил бы сразу чего-нибудь побольше.

— Да ведь, барин, на большее он, пожалуй, осердится,— сказал Семен, не подымаясь с колен,— а из ерунды, может, чего и подаст.

— Ерунды-то уж слишком много просишь.

— Я все пропну, а ежели он хоть что-нибудь даст, и за то спасибо.

— Ну ладно,— сказал я.— Если еще недолго будешь молиться— молись, а если долго, то сейчас сходи сам или пошли кого-нибудь, пусть принесут гостям теплые одеяла, а то ведь окна заклеены плохо, дует, еще застудим с тобой гостей.

Глава третья

Перелистывая в который раз дело Анощенко, я случайно обратил внимание на упоминание о каком-то перстне, найденном на месте происшествия. Это упоминание содержалось в протоколе, составленном участковым приставом, еще когда был жив Правоторов. Записано в виде вопроса и ответа.

«Вопрос: На месте происшествия найден вот этот перстень. Он принадлежит вам?

Ответ: Нет, этот перстень я первый раз вижу».

И все. Но почему-то меня вдруг заинтересовало: что за перстень? Почему был задан такой вопрос? Я всегда помнил, что в нашем деле нельзя пренебрегать мелочами. Мелочи иногда говорят больше, чем от них ожидаешь. Я заглянул в последний лист дела, где обычно содержится опись вещественных доказательств, но никакой описи не обнаружил. Это было естественно. Какие могут быть вещественные доказательства, если произошла обыкновенная кулачная потасовка, правда, приведшая к необычным последствиям. Не могу сказать, чтобы я сразу придал большое значение своему открытию, но на всякий случай я отыскал пристава, составлявшего протокол. Я говорю «отыскал», потому что пристав этот, изгнанный из полиции за пьянство, теперь служил надзирателем в тюремном замке. Бывший пристав не сразу вспомнил, что действительно в его протоколе упоминался перстень, но упоминался только потому, что его нашли на месте драки и не знали, кому отдать.

— Перстенок-то был дурной, черный, потому-то его и не уперли,— говорил пристав, глядя на меня преданными полицейскими глазами.— Вот я и спросил господина Анощенко, не его ли. А то ведь как

что, так сразу говорят, что в полиции, дескать, самые воры и сидят. Ну, а раз господин Анощенко перстень не признал, то мне и спрашивать больше печего.

— И куда вы его дели? — спросил я.

— Сейчас и не упомяну, — смутился пристав. — Да вы не сомневайтесь, себе я его не взял. Кабы он золотой был или хотя б серебряный, а то ведь перстенишко так себе — одна дрянь.

— Все же мне бы хотелось, чтоб вы припомнили, — настаивал я.

Чем труднее казалось добыть этот перстень, тем почему-то важнее мне мпилась тайна, скрытая за ним, и тем большее упорство проявлял я в отыскании этой безделицы.

В конце концов пристав припомнил, что, кажется, в левом ящике его бывшего стола лежал этот перстень. Поехал я опять на бывший участок этого бывшего пристава, попросил нового пристава открыть стол, но искомого опять-таки не нашел ни в левом ящике, ни в правом. Но тут появилась еще одна ниточка: новый пристав сказал, что стол недавно ремонтировали и уж не столяр ли украл. Он обещал мне вызвать этого столяра и узнать.

Розыски перстенька на первый взгляд, может, и были совершеннейшей ерундой, но на эту ерунду я потратил тогда дня три или четыре. Запятый этими поисками, я иногда вовсе забывал про своих гостей, с которыми у меня, впрочем, сложились вполне дружеские отношения. Правда, старика Фигнера мне приходилось видеть довольно редко. Целый день он пропадал по своим делам, то закупая какие-то жернова, то навещая детей (как-никак две дочери учились в институте, а два сына в гимназии), то наносил визиты друзьям и знакомым. Вера часто оставалась дома, и мне случалось говорить с ней о том,

о сем. Сперва разговоры наши проходили в несколько натянутой атмосфере, какая возникает между не очень знакомыми мужчиной и молодой девушкой, однако ж мы вскоре сблизились, и отношения наши стали вполне свободными и дружескими, с тем, правда, оттенком шутиливой снисходительности с моей стороны, который был следствием разницы в возрасте.

Вот я сижу в своем кабинете, в который раз перечитывая дело Анощенко. Входит Вера.

— Алексей Викторович, я вам не помешаю?

— Помешаете,— говорю я грубо, но шутиливо, в том именно тоне, который между нами установился в последнее время.

— А что делать, если мне скучно?

— Займитесь чем-нибудь.

— Мне надоело заниматься.

— А что делает ваш батюшка?

— Сказал, что поехал куда-то с деловым визитом, но я думаю, что на самом деле он играет где-то в картишки. Он большой любитель этого дела.

— Уж лучше играть в карты,— говорю я,— чем слопаются по дому без дела или вертеться перед зеркалом.

— Не думаю. Вы знаете, я всю жизнь чем-нибудь занималась. То меня учили французскому языку, то танцам, то музыке. Потом шесть лет в институте, в четырех стенах. С ума сойти! Столько времени потрачено зря!

Я молчу, читаю. Все-таки хотелось бы понять, что за перстень был обнаружен на месте избиения, кому он принадлежал и какое он имеет ко всему этому отношение.

— Алексей Викторович, как вы думаете, я могу кому-нибудь понравиться?

— Сомневаюсь.

— А почему? Разве я некрасивая?

— А вы сами как думаете?

Она смотрит в зеркало.

— Мне кажется, что я миловидная.

— Не знаю, с чего вы это взяли.

— А что? У меня правильные черты лица, большие глаза, темные волосы, благодаря которым домашние зовут меня Джек-Блек. Пожалуй, мне кто-нибудь может даже предложение сделать.

— Не думаю. Разве что по расчету.

— По расчету я не хочу. Я скажу папе, чтобы он мне не давал никакого приданого, тогда если кто-нибудь, пускай самый некрасивый и жалкий человек, сделает мне предложение, я буду знать, что он меня любит.

Я продолжаю читать. Молчу, и она молчит. Смотрит в зеркало. То подойдет вплотную, то отойдет. Нахмурится, улыбнется. Я не выдерживаю:

— Вера, вы серьезный человек?

— Очень.

— Почему же вы проводите время впустую? Неужели вам нечем заняться?

— Абсолютно нечем. — Она вздыхает.

— Почитали бы книгу.

— Ах, зачем мне нужны ваши книги. Я их уже все прочла.

— Да вы читали небось все какую-нибудь ерунду, беллетристику. Да?

— Да.

— Кто ваш любимый писатель?

— Тургенев.

— «Муму»?

— Зачем же? «Первая любовь» гораздо интереснее.

— И Пушкина любите?

— Пушкина люблю. А что, нельзя?

— Нет, отчего же? Но все это литература развлекательная, она действует на чувства, но не дает достаточно пищи уму. (Признаюсь, в то время я именно так и думал.) А вам надо читать Герцена, Писарева, Чернышевского, наконец, если достанете.

— Правильно,— покорно соглашается она, но в глазах прыгают чертики.— Теперь для того, чтобы выйти замуж, мало говорить по-французски и играть на фортепьяно, теперь еще надо читать Чернышевского и спать на гвоздях. Хорошо, Алексей Викторович, я попробую.

— Милая мисс Джек-Блек, скажите честно, вас в детстве порол?

— Еще как. Отец однажды плетью чуть до смерти не забил.

— Видно, это вам впрок не пошло. Вы видите, что я занят?

— Вижу.

— Вы можете меня оставить в покое?

— Могу.

Она уходит, но тут же возвращается:

— Алексей Викторович!

— Что вам еще? — Я нарочито груб.

— Вы возьмете меня на бал?

— Вас? — говорю я в притворном ужасе.— Еще чего не хватало!

— А что, вам стыдно со мной появиться на людях?

— Очень стыдно.

Она вздыхает:

— Я вас понимаю. У меня очень легкомысленный вид. Алексей Викторович, а если я постараюсь вести себя хорошо?

— У вас это не получится. Кроме того, на балу будет моя невеста.

— Ваша невеста? Как интересно! А кто она такая? Она красивая?

— Очень.

— Даже красивей меня?

— Никакого сравнения.

— Ну ладно. Езжайте себе на бал со своей невестой, а я останусь дома, как Золушка. Возьму у вашей Дуниши старое платье, стоптанные башмаки и буду чистить самовар или мыть посуду.

— Очень хорошо, вам на кухне самое место. А теперь идите, вы мне мешаете.

— Ухожу, ухожу,— говорит она, но в дверях останавливается: — Алексей Викторович!

— Ну что еще?

— А ваша невеста очень ревнива?

— Безумно.

— Значит, вы меня не хотите брать, потому что боитесь, что ваша невеста будет вас ревновать?

— Вот еще,— возражаю я.— Моя невеста из хорошей семьи и очень воспитанна. Я вас возьму на бал, но при одном условии.

— При каком?

— Вы мне дадите слово, что будете вести себя прилично. Обещаете?

— Алексей Викторович, я буду вести себя так прилично, что вам даже скучно станет.

В субботу, освободившись от службы ранее обычного, я вернулся домой, где и застал, к удивлению моему, своих постояльцев. Мы встретились за обедом, и я спросил Николая Александровича, не обижает ли его мое частое отсутствие.

— Бог с вами,— сказал старик,— мы и так благодарны вам за приют, а об остальном вам беспокоиться нечего. Все дни проводим в разъездах по родственникам и знакомым.

За столом зашел разговор о происшедшем в Москве убийстве, слухи о котором докатились до нашего города. Сторожем московской Петровской земледельческой академии был выловлен в пруду труп студента Иванова, сперва раненного из револьвера, а затем задушенного и утопленного при помощи кирпича, привязанного к шее. Слухи разошлись самые разнообразные. Говорили, что убит он из ревности неким жандармским полковником, уличившим его в связи со своей женой; промелькнула, но, правда, быстро заглохла версия о ритуальном убийстве еврея. Самый же распространенный был слух, что студента убили его же товарищи. Что была будто бы создана обширнейшая революционная организация, распространившаяся по всей России, и ответвления этой организации есть и в нашем городе.

Фамилию Нечаева и кое-какие подробности мы узнали потом, спустя года полтора или два, но тогда печать молчала, давая возможность распространяться самым невероятным слухам. На Николая Александровича почему-то наибольшее впечатление произвело то, что в кармане убитого (опять-таки по слухам, впоследствии подтвердившимся) были найдены часы.

— Даже часы не взяли! — расхаживая по столовой, восклицал Николай Александрович.

— Стало быть, если бы они убили студента да еще взяли бы часы, так это было бы лучше?

— Гораздо лучше,— уверял меня Николай Александрович.— Гораздо! Тогда по крайней мере понятно. Человек слаб. Может не удержаться. А коли ничего не взяли, так в этом-то и есть самое ужасное.

Как вы не можете понять, вы же следователь. Нет уж, Алексей Викторович, не примите на свой счет, по молодежь нынче пошла ужасная. Я понимаю, старики всегда жаловались на молодежь, но я к их числу не принадлежу. Я к молодежи всегда относился со всем сочувствием, но когда происходит такое, тут уж извините-с. Да-с,— повторил он почему-то весьма ядовито, вкладывая в это «с» на конце слова весь яд.— Извините-с!

Напрасно я пытался его убедить, что молодежь здесь совершенно ни при чем, что среди молодежи есть достаточное количество благонамеренных и даже сыщиков и доносчиков, так же как, впрочем, и среди лиц более старших поколений, но ни по нигилистам, ни по сыщикам никак нельзя судить о всей молодежи или о всех стариках. Хотя старики, конечно, даже по самому анатомическому строению своих клеток, уменьшенной подвижности организма и устойчивости привычек, конечно, в целом более консервативны, чем молодежь.

— Старшие поколения, я не говорю о вашем поколении, но о ваших отцах, тоже были не очень спокойного нрава и выходили на Сенатскую площадь не с самыми миролюбивыми намерениями.

— Да что вы равняете! — возмутился Николай Александрович.— Декабристы были чистейшие люди. Будь я взрослым в то время, я и сам был бы декабристом.

— Не сомневаюсь,— сказал я.— Хотя декабристом при желании можно быть во всякое время.

— Ну уж вы и загнули, батенька мой! — покачал головой Николай Александрович.— Да тогда были совсем другие условия, рабство. А сейчас...

— Да я вам не про сейчас, а про ваше время. В ваше время тоже было рабство в той же самой

форме, что и при декабристах, однако что-то не слышно было никаких протестов. Николая Первого, жандарма, почитали чуть ли не за благодетеля. Повесил только пятерых декабристов, а мог ведь повесить и всех. А то, что он всех остальных медленно гноил в рудниках, это лучше, что ли?

— Я и не спорю, Алексей Викторович,— примирительно сказал старик.— Много было недостатков, но за всем этим надо видеть и главное, а вот вы за деревьями леса не видите. В конце концов, все сразу не делается. Власть поняла, что рабство есть, по существу, пережиток, и ликвидировала его. Так что теперь-то против чего восставать?

— Да честному человеку, который живет в наше время не с закрытыми глазами, всегда есть против чего восставать.

После обеда я сообщил Николаю Александровичу, что еду на бал в купеческий клуб и возьму с собой его дочь, если, конечно, у него нет против этого возражений.

— Напротив,— растрогался старик.— Буду вам весьма обязан. А то я все по делам да по делам, а ей скучно.

Старик-то против не был, но у меня имелись сомнения. Можно говорить сколько угодно о безразличном отношении к нашему так называемому обществу, но совершенно пренебрегать его мнением осмеливаются немногие. И признаюсь, меня вполне заботила мысль о том, как будет воспринято мое появление на балу с Верой.

«Но ведь в этом нет ничего особенного. Вера — моя гостья, почему же мне не проводить свою гостью на бал, тем более что это первый бал в ее жизни».

28 Так я себя уговаривал, но конечно же понимал, что стоит нам появиться вдвоем, как все непременно

обратят на это внимание. Все наши сплетницы и сплетники тут же обсудят эту новость между собой. Никто, возможно, не скажет прямо, что вот, мол, приехал молодой Филиппов, который решил переманить невесту или по крайней мере поволочиться за приезжей красоткой, все будут выражаться обиняками, как бы между прочим, как бы и не видя в этом ничего особенного, но воспримут это событие именно как демонстрацию, и многие этим обстоятельством будут втайне довольны.

Глава четвертая

Когда мы прибыли, съезд гостей был в самом разгаре. Не успевал отъехать один экипаж, как его место занималось другим, только что подъехавшим. Как раз перед нами выскочил из санок бывший мой однокашник Носов. Я окликнул его, но он уже нырнул в двери. Я спрыгнул на снег и подал руку Вере.

У крыльца толпились любопытные, привлеченные предбальной суматохой, и во все глаза разглядывали важных господ (которые от этого становились еще более важными), проходящих в ярко освещенный вестибюль. Швейцар, принимавший наши шубы, был, как всегда, приветлив. Увидев нас с Верой, он никак не выразил удивления, но я совершенно точно знал, что про себя он все же отметил: вот приехал Филиппов с новой барышней. На мое счастье, Носов крутился еще возле гардероба. Он стоял перед зеркалом, прилизывая свои редкие волосы, равномерно распределяя их по темени. Он мне очень кстати попался под руку. Мы можем войти в залу вдвоем, так что никто не поймет, с кем из нас явилась Вера: со мной или

с Носовым. Я подозвал его, и он охотно подошел своей несколько развинченной походкой баловня судьбы и ловеласа.

— Вера Николаевна, — сказал я несколько преувеличенно торжественно, — позвольте представить вам моего бывшего однокашника, а ныне известного в нашем губернском масштабе литератора.

— Очень рад, — сказал Носов, наклоняясь к ее ручке так, чтобы не рассыпались волосы. — Какое удивительное создание! — Он смотрел на Веру с нескрываемым восхищением.

— Ты еще должен сказать: откуда вы такая?

Носов засмеялся:

— Старина, ты слишком хорошо меня знаешь. А в самом деле, откуда?

Вера смущенно улыбнулась.

— Вера Николаевна, — поспешил я на помощь, — моя гостья. Она приехала из Тетюшского уезда и состоит у меня вместе со своим отцом Николаем Александровичем Фигнером. Ты, конечно, слышал.

— Ну еще бы! — воскликнул Носов. — Сын известного партизана?

— Нет, — смущенно сказала Вера. — Мы просто однофамильцы. Александр Самойлович не родственник нам. Кроме того, он умер за четыре года до рождения паны.

— Очень жаль, — почти серьезно сказал Носов. — А я, признаться, был абсолютно уверен. В ваших глазах есть что-то, я бы сказал, героическое. Ну что, пойдемте в залу?

Вера вопросительно посмотрела на меня.

— Пожалуй, пойдем, — сказал я.

Разумеется, на нее обратили внимание. Дамы и мужчины, стоявшие группками и сидевшие в креслах, отвечали на мои поклоны и задерживали взгляды на

Верс. Появление на балу новой, да к тому же еще и весьма привлекательной девушки, в любом случае обратило бы на себя внимание, но я ясно сознавал: все замечают, что она идет со мной, а не с Носовым, хотя я намеренно и старался отставать на полшага. Носов же, в отличие от меня, чувствовал себя в своей тарелке. Нарочито громко, чтобы слышала Вера, спросил он, читал ли я в одном столичном журнале его очерк о земских больницах.

— Нет,— сказал я,— пока не читал.

— Напрасно,— сказал Носов отечески, как бы даже сочувствуя мне.— Прочти обязательно, получишь огромное удовольствие. Цензура, конечно, как всегда, выбросила самое лучшее, но кое-что все же осталось. Кстати,— теперь он понизил голос,— ты не мог бы одолжить мне десять рублей на несколько дней? Попымаешь, вчера у Скарятиных в преферанс играли, ну и, как обычно, продулся.

Скарятин — наш губернатор. Сказал все это Носов для того, чтобы, во-первых, получить желаемое, во-вторых, чтобы заодно подчеркнуть свою близкую связь с губернаторским домом. Я знал, что одолжить ему деньги — все равно что выбросить, и в другое время не дал бы, но сейчас мне нужен был его союз, я полез в карман и, на ощупь вытащив из бумажника деньги, незаметно сунул их Носову.

Я уже сказал, что мы с Носовым были одноклассники. Но он университета не кончил. Сейчас, задним числом, он любит говорить об этом многозначительно и туманно, намекая, что исключение его паходится в прямой связи с политикой и событиями, имевшими для России самое серьезное значение. Тогда же дело обстояло несколько иначе. Его действительно выгнали на втором году обучения, потому что многочисленные выходки его переполнили чашу терпения уни-

верситетских преподавателей. Последней каплей была следующая история. У нас был один профессор, большой любитель фольклора. Он преподавал общее право, но любимым его коньком было толкование русских пословиц и поговорок, которых он почитал себя замечательным знатоком. Однажды во время лекции этого профессора Носов послал ему записку с вопросом, что означает поговорка «Закон лежит, вода бежит». Профессор был очень доволен, тем более что поговорка, по его мнению, соответствовала теме лекции. Он стал объяснять, что поговорка отражает известную косность наших законов, которые не поспевают за изменениями быстро текущей жизни.

— Вот и получается,— сказал профессор,— что жизнь как река, она течет, меняется, становится другой, а старый закон, как камень, лежит на ее пути.

Как только он это сказал, на скамейке, где сидел Носов, и вокруг него раздался смех, после чего Носов поднялся и сказал:

— Ваша отгадка, господин профессор, неправильна. Закон лежит, а вода бежит — это прокурору клизму ставят.

Тут уж и вовсе раздался дружный смех всей аудитории. Профессор побагровел, затопал ногами (с ним чуть припадок не сделался) и закричал:

— Вон! Чтобы больше вашей ноги здесь не было!

— Как вам угодно, господин профессор,— сказал Носов и, вставши на руки, на руках же вышел из залы.

После этого он и был исключен и теперь пробовал себя на литературном поприще, хотя, по-моему, главной его целью было как можно выгоднее жить.

Большая зала была ярко освещена газовыми рождками. Дамы блистали нарядами, драгоценностями и ослепительными улыбками, успевая при этом за одну секунду смерить неодобрительным взглядом каждую вновь прибывшую гостью, подозревая, очевидно, в ней вкус выше собственного. Все стояли или сидели, разбившись на группки, переговариваясь между собой, и разговоры эти сливались в один ровный гул.

Лизу я увидел сразу. Она и Авдотья Семеновна сидели в креслах недалеко от дверей. Авдотья Семеновна старательно ела мороженое и не менее старательно разглядывала туалеты находящихся рядом с нею дам. Лиза рассеянно слушала незнакомого мне гвардейского офицера, который рассказывал, наверное, что-то очень занимательное, потому что размахивал руками, изображая нечто похожее на сабельный бой. По лицу Лизы я видел, что рассказ офицера ей совершенно неинтересен, издали было заметно, что она думает о чем-то другом. Вот она улыбнулась офицеру, подняла голову, и мы встретились взглядами. Хотя я и считал искренне, что в моем появлении с Верой нет ничего предосудительного, я все же смутился и глазами попытался показать Лизе, что это именно ничего и не значит. На мое счастье, Носов был еще здесь. Я попросил прощенья у Веры и отвел Носова в сторону.

— Послушай, старина,— сказал я ему.— Будь друг, займи пока мою гостью, мне надо отлучиться. Он сразу все понял.

— Давно пора отлучиться,— сказал он.— Лиза — девушка строгая, твое отсутствие может дорого тебе обойтись.

— Значит, ты с ней побудешь и не оставишь ее? — спросил я о Вере.

— О чем речь,— сказал он.— Почту за счастье.

Мы вернулись к Вере, я потоптался еще с полминуты, а затем, извинившись и сказав, что поручаю заботу о ней своему другу и скоро вернусь, отошел.

Когда я подошел к Лизе, перед ней все еще стоял гвардейский офицер.

— ...И вот однажды,— продолжал он какой-то свой рассказ,— играли мы в карты у командира, а командир, надо вам сказать, был старый холостяк...

— Простите,— перебила Лиза,— позвольте представить вам моего друга...

Мы раскланялись, он пробормотал свое имя, которое я не расслышал, и пробормотал так же невнятно свое.

— Добрый вечер,— сказал я.

— Добрый вечер,— сказала она со значением.

— Good evening, my dear!¹ — строго сказала Авдотья Семеновна и пытливо посмотрела на меня сквозь очки.— Куда ж это ты, мой друг, запропал?

— В каком смысле? — спросил я.

— Давно тебя у нас не видела.

— Служба,— сказал я.

— Уж так заслужился, что и забежать не можешь,— проворчала старуха.

Офицер, видя, что между нами идет какой-то свой разговор, извинился и отошел.

— Эта провинциальная красавица и есть ваша гостья? — помолчав, спросила Лиза, придавая оттенок презрения не только слову «провинциальная», но даже и слову «красавица».

— Да,— сказал я подчеркнуто беспечно.— Отец ее просил сопроводить свою дочь на бал.

— Она первый раз выезжает в свет?

— Да. А что?

— Вы бы ей сказали, что широкие пояса вышли из моды еще в прошлом году,— сказала Лиза.— Впрочем,— добавила она, уже не скрывая своей неприязни,— женщины со вкусом перестали их носить еще в позапрошлом.

— Прошу прощения,— сказал я.— Но мы не настолько близки, чтоб я мог делать ей замечания подобного рода.

— А я думала, что если вы вдвоем являетесь на бал...

— Лиза,— перебил я, оглядываясь на ее матушку,— не устраивайте мне, пожалуйста, сцен, это вам не идет. У вас делается злое лицо и злые глаза. И, простите меня, вон, кажется, идет Баулин, мне надобно с ним переговорить по делу.

Костя Баулин был мой товарищ. Он работал доктором в городской больнице, и иногда, как сведущего специалиста, я привлекал его к судебной экспертизе. На днях я послал ему медицинский акт вскрытия тела извозчика Правоторова и просил дать свое заключение. Мне хотелось обсудить с Костей это дело, поэтому, оставив Лизу с ее матушкой, я стал пробираться к нему. Проталкиваясь сквозь толпу, раскланиваясь направо и налево со всеми знакомыми, я потерял своего друга из виду и нашел его уже только в бильярдной, где он, одинокий, стоял у стены и следил за игрой того самого гвардейского офицера, с которым меня знакомила Лиза, и губернского секретаря Филимонова. Сам Костя в бильярд никогда не играл, Впрочем и в другие игры тоже. Вообще многие находили его странным человеком, потому что он никогда не волочился за женщинами (хотя возможности у него, известного в городе доктора, в этом смысле были неограниченные), а любил только свою тихую жену Нину, от которой имел четверых детей.

В юности многие считали его безобразным, похожим на обезьяну, но мне он всегда казался красивым особой красотой умного и доброго человека.

Увидев меня, Костя обрадовался и первым заговорил о деле, меня волновавшем.

— Ты знаешь,— сказал он, и его умное обезьянье лицо с завернутыми вперед ушами напряглось,— я прочел этот акт, он составлен так безграмотно медицински, что, кроме безграмотности, в нем ничего не видно. Понимаешь, тот, кто его составлял, пишет, что смерть, вероятно, наступила в результате сердечной недостаточности, но это еще ничего не значит, потому что смерть почти во всех случаях наступает от сердечной недостаточности. Будь у человека грипп, воспаление легких, отравление или перепой, конечной причиной смерти всегда является сердечная недостаточность.

— Ну, а как ты думаешь, эксгумация трупа может что-нибудь дать?

Он подумал и покачал головой:

— Вряд ли. Ведь прошло много времени. Этот самый Анощенко бил его кулаком?

— Кулаком.

— Дело в том, что труп, как ты понимаешь, давно разложился. Если там и были какие-то внутренние кровоизлияния, теперь их установить невозможно.

— Значит, ты считаешь, что эксгумировать труп нет смысла?

— Я этого не сказал. Наоборот, я считаю, что эксгумацию надо провести в любом случае, иногда даже кости говорят больше, чем от них можно ожидать.

— Что ты имеешь в виду?

— Надо посмотреть,— уклончиво сказал он.

Пока я говорил с Костей, бал начался. В большой зале оркестр грянул вальс.

— Ладно, Костя,— сказал я,— мы с тобой еще поговорим. Я пойду.

— Желаю успеха.

В зале уже танцевали, и мне пришлось пробираться между танцующими. Навстречу попался мне Носов, танцевавший с Машей Ситтаки, дочерью известного нашего табачного фабриканта.

— Где Вера? — спросил я его. Увлеченный разговором со своей партнершей, он только махнул рукой. — Там.

— Нет, ты скажи,— схватил я его за рукав. — Пригласил ее хоть кто-нибудь?

— Конечно,— сказал он.

Лиза с матерью сидела в углу, и, хотя они разговаривали, я видел, что Лиза бросает беспокойные взгляды по сторонам. Танцующие то скрывали ее от меня, то вновь открывали, я проталкивался вперед, раскланиваясь, извиняясь перед теми, кого толкнул, и пытался встретиться взглядом с Лизой, но она почему-то каждый раз искала меня в другой стороне. Наконец, мы все-таки встретились глазами, я помахал ей рукой, давая понять, что иду, спешу и сейчас доберусь до нее, если сумею. Она улыбнулась, показала мне глазами, что я могу и не спешить, и опять занялась разговором со своей mother¹, но теперь уже было видно, что она больше не беспокоится и ее не интересует, кто что думает про то, почему она не танцует. Сейчас я подойду, и все сразу увидят, что к чему. И я шел к ней. Но когда я был уже совсем близко (оставалось не больше двадцати шагов), я увидел Веру. Она стояла совсем одна, никому не зна-

¹ Мать (англ.).

комая, никем не приглашенная. На лице ее было выражение полного отчаяния. Большие бархатные глаза были полны слез. Казалось, еще секунда, и она разрыдается и убежит. Она повернула голову, и взгляды наши встретились. Ее глаза умоляли меня; в шумной, переполненной зале я услышал ее мольбу, тот крик, как в безмолвной пустыне:

«Я погибаю! Спасите меня!»

Я немедленно подбежал к ней и сделал удивленное лицо:

— Вера, вы не танцуете? Позвольте?

Она улыбнулась. Должно быть, своей улыбкой она хотела сказать, что можно и потанцевать, если я ее приглашаю, но улыбка получилась не снисходительной, а благодарной. Она прямо упала ко мне в объятия. И, кладя руку на ее талию, из-за головы ее я увидел Лизу. Она разговаривала с матерью в спокойной уверенности, что я сейчас подойду, потом нетерпеливо подняла голову, как бы говоря: где же он, наконец? Я увидел, как на ее лице несколько раз одно выражение сменилось другим. Благодушное выражение («он уже должен быть где-то близко») сменилось выражением недоуменным («что происходит?»), потом она растерялась («ну, знаете ли!»), потом нахмурилась («этого еще не хватало!»), потом лицо ее стало надменным («ах, так!»), она повернулась к матери и стала обмахиваться веером, загораживая им меня от материнского взора. Я понял: она не хочет, чтобы мать меня видела, ей стыдно, что я танцую с другой.

Вера начала скованно, но скоро я заметил, что вальсирует она удивительно хорошо. Она была легка как пушинка, и чувствовала малейшее мое движение. Мы кружились, и мне казалось, что все вокруг смотрят только на нас. Вот опять мелькнуло лицо Лизы,

вот и мать ее, она уже нас заметила и смотрит с откровенным неодобрением, поджав губы. Мы танцуем, и, если рассудить здраво, в этом нет ничего предосудительного. Ну привез я свою гостью, ну, естественно, пригласил ее танцевать — что такого? И все-таки я чувствую, что что-то такое есть, и это понимаю я, и понимает Лиза, и понимает ее мать, и понимают все, кто обратил на нас хоть немного внимания, а если кто-нибудь и не понимает этого, то, наверное, только Вера, которая, не зная всех обстоятельств, просто танцует, отдавшись целиком удовольствию первого бала. Я вдруг понял, что она что-то говорит, чего я, занятый своими переживаниями, вовсе не слышу.

— Кажется, вы что-то сказали?

— Ничего особенного. Вы чем-то расстроены?

— Нет, что вы,— говорю я бодро.— Чем я могу быть расстроен?

— А эта девушка, которая смотрит на нас таким странным взглядом, и есть ваша невеста?

— Где?

— Там, возле оркестра.

— Да, это она,— сказал я беспечно.— А рядом с ней ее мать.

— Ваша невеста, кажется, не очень довольна вами.

— Что вы! Она счастлива. Если вы не возражаете, сейчас я вас представлю друг другу.

Музыка кончилась. Я взял Веру под руку и решительно повел туда, где сидели Лиза с матерью.

— Позвольте вам представить мою юную гостью,— сказал я, стараясь сделать это непринужденно, но получилось как-то развязно и даже чуть ли не нахально.— Вера Николаевна Фигнер, дочь друга и однокашника моего отца.

— Очень рада,— сказала Авдотья Семеновна.— 39

Прелестное дитя,— добавила она, разглядывая Веру в упор.

— Алексей Викторович сказал, что вы первый раз в свете? — спросила Лиза, подавая руку в белой длинной, до локтя перчатке.

Произнеся мое имя и отчество, она как бы подчеркнула, что для случайных знакомых я только Алексей Викторович, и никто больше.

— Да,— сказала Вера.— Первый раз.

— Это заметно,— кивнула головой мать, с одной стороны, как бы делая комплимент, а с другой стороны, вроде бы и намекая, что быть первым раз в свете не очень прилично, а может быть, даже и безнравственно.— А что же ваш батюшка с вами не приехал? — спросила она.

— Он говорит, что и в молодости балы не любил.

— Бывает,— сказала она, опять-таки как бы видя за этим некий недостаток, если не сказать порок.

Тут опять заиграл вальс, я растерянно стал шарить глазами и увидел приближающегося ко мне Костю. Я ему показал глазами на Веру, он сразу все понял и подошел к ней.

— Вы позволите?

Прежде чем ответить, она посмотрела на меня и улыбнулась растерянной улыбкой. И только после того, как я согласно кивнул головой, Вера повернулась к Косте и положила руку ему на плечо. Я пригласил Лизу. Мы пошли танцевать, и она сразу же начала с выговора.

— Эта девица, кажется, уже считает вас своим хозяином.

— С чего вы взяли? — спросил я.

— Я же видела, когда Баулин ее пригласил, она посмотрела на вас, словно спрашивала разрешения.

— Это естественно,— сказал я.— Мы только что

танцевали вместе, кроме того, она моя гостья, и вообще, будучи впервые на таком балу, она может не знать, как надо себя вести в каждом случае.

— А вам, я вижу, очень нравятся деревенские девушки, которые не умеют себя вести.

— Лиза,— сказал я несколько раздраженно,— вы не хуже меня знаете, что Вера такая же деревенская, как и мы с вами. Она дворянка, причем не самого последнего рода.

— Партизан Фигнер ее дед?

— Нет, он, кажется, не имеет к ним никакого отношения.

— Тем не менее, я думаю, вам стоит за ней поволочиться, а может быть, даже и сделать ей предложение. Она вполне мила, юна, а что касается фигуры, то при современных корсетах некоторые недостатки очень легко скрыть.

— А вы злюка, Лиза! — неожиданно для самого себя обнаружил я.

— Может быть,— сказала она и улыбнулась такой улыбкой, что мне стало не по себе.— Но если вы еще раз появитесь на балу вместе с ней, то знайте: наши отношения кончены.

— Вы предъявляете мне весьма странное условие,— сказал я.— Вера — моя гостья, и я не могу ее не сопровождать.

— Значит, вы хотите сказать, что и дальше будете за ней ухаживать?

— В той степени, в какой меня обязывает долг хозяина,— сказал я.

— В таком случае проводите меня на место.

— Лиза,— сказал я,— ведь это же глупо. Вы меня ревнуете, хотя у вас для этого нет никаких оснований.

— Можете понимать мои слова, как хотите, но если вы не пообещаете мне, что больше не будете

с ней появляться, я прошу отвести меня на место.

— В таком случае,— рассердился я,— извольте. Я провожу вас на место.

Танцуя, я подвел ее к тому месту, где сидела Авдотья Семеновна.

— Теперь поцелуйте мне руку,— шепотом приказала она,— чтобы никто не видел, что мы с вами в ссоре. А теперь уходите, я вас больше знать не желаю.

Авдотья Семеновна зорко следила за нами, она не могла слышать то, что мы говорим, но очевидно догадывалась, что мы ссоримся.

— What's happened? ¹ — спросила она громко.

— Ничего особенного, мама,— садясь рядом с нею, улыбнулась Лиза,— просто Алексей Викторович сегодня несколько нездоров.

Я пожал плечами и отошел. Вскоре танец кончился, подошли Вера с Костей.

— Почему вы не со своей невестой? — спросила Вера.

— Мы решили сегодня держаться на расстоянии. Я сейчас должен уехать и прошу вас собраться тоже.

— А разве мы не будем танцевать мазурку?

— Извините, у меня сегодня нет настроения,— сказал я.— Впрочем, вы, если хотите, можете остаться. Я попрошу Костю, и он проводит вас домой.

— Да нет, нет, я, пожалуй, тоже пойду,— сказала она, хотя, кажется, не прочь была и остаться.

— Как вам будет угодно,— ответил я, понимая всю безнадежность своего положения в том смысле, что мой уход вместе с Верой тоже будет воспринят, как очередной вызов.

«Черт с ними,— говорил я самому себе, выходя

с Верой на улицу,— пусть думают, что хотят, меня это совершенно не трогает».

На дворе заметно потеплело, было тихо, сыпал редкий, крупный снег, и снежинки видись, как бабочки, в свете фонаря над центральным подъездом купеческого клуба. Вся улица была заставлена экипажами. Два кучера прогуливались по мостовой, хлопывая по бокам рукавицами.

— Филипп! — крикнул один из них. — Кажется, твой барин вышел!

— Вижу, — откуда-то издали отозвался Филипп, и, круто развернув лошадей, подал сани к подъезду...

— Езжай один, Филипп, — сказал я ему. — Мы с барышней пешком прогуляемся. Не возражаете? — спросил я ее.

— Нет, я с удовольствием, — улыбнулась она.

Филипп, громоздясь на облучке, как памятник, смотрел на нас неодобрительно.

— Ну, чего стоишь? Езжай, говорю, — повторил я свое приказание.

— Поедем, барин, — сказал Филипп. — Время-то позднее. Неровен час, озорники какие нападут.

— Ладно, ладно, езжай не бойся, — успокоил я его. — И передай Семепу, пускай спит да прислушивается, прошлый раз я звонок оборвал, пока добудился.

Филипп подумал еще, почесал в затылке, но, не решившись спорить, вдруг гикнул на лошадей, и они с места рванули крупной рысью. Мы пошли следом. Сыпал снег, было скользко, и я взял Веру под руку, чтобы поддержать, если вдруг она поскользнется. Первое время мы шли молча. Я чувствовал себя неловко. Установившийся между нами шутливый тон не подходил к обстановке и настроению, а как с ней говорить иначе, я не знал. Конечно, можно было

сказать, что вот такая прекрасная погода, но так все говорят всегда; она человек достаточно умный, тонкий и ироничный и сразу почувствует фальшь. Не говорить ничего просто глупо. «Надо было выпить», — подумал я. Навеселе я становлюсь смелее, быстро вхожу в контакт, могу говорить о любых пустяках и быть достаточно остроумным. Впрочем, все это, вероятно, относится и к другим людям, и всякое пьянство начинается, я считаю, с того, что человек хочет освободиться от скованности, а потом докатывается бог знает до чего. Но все же выпить не мешало. Чем свободнее я хотел чувствовать себя с Верой, тем большую ощущал в себе скованность. С Лизой я никогда не был скован. С ней, если мне хотелось говорить, я говорил, если хотелось молчать, я молчал. Но с Лизой теперь, после этого дурацкого случая, все кончено. Нечего ставить мне нелепые, невыполнимые условия... Мои отношения с ее father¹ и до сих пор не были идеальными. Пусть они будут испорчены вконец... Иван Пантелеевич не из тех, кто не желает смешивать личные симпатии и антипатии со служебными взаимоотношениями.

— Вы чем-то огорчены? — спросила Вера.

Слава богу, она заговорила первая. Иначе мы могли бы промолчать всю дорогу.

— Напротив, — сказал я, придавая своему голосу максимально бодрую интонацию. — Я очень рад.

— Рады чему?

— Тому, что мы идем вместе, что сыплет снег...

— А вы на меня сердитесь?

— За что?

— За то, что я поставила вас в неловкое положение перед вашей невестой.

— Вы совершенно напрасно так думаете. Может быть, я особенно рад тому, что вы поставили меня в нелов...

Я прикусил язык. Кажется, я говорил лишнее. Во всяком случае, в словах моих имела место некоторая двусмысленность. Но я этого не хотел. То есть не то чтобы я не хотел, просто я не считал себя вправе смущать это юное создание. «Она слишком юна и чиста, а я стар». Мне казалось, что я слишком знаю изнанку жизни, и само это знание уже делает меня грязным и недостойным Веры. Ну и, конечно, возраст. Слишком велика разница. То есть не то чтобы уж так велика, девять лет вполне пристойная разница. Но все-таки... Я взрослый, сложившийся человек, а она совсем еще девочка. Что может быть общего между нами? Да если бы я хотя бы знал, чего хочу. Не есть ли это просто минутное увлечение, которое пройдет еще быстрее, чем прошло мое увлечение Лизой? Лизу я по крайней мере знаю давно и хорошо, а с ней мы даже толком ни о чем не говорили. Я искоса посмотрел на свою спутницу, она думала о чем-то своем и улыбалась.

— Чему вы улыбаетесь? — спросил я.

— Так, вспоминаю бал. Я выглядела очень глупо?

— Глупо не глупо, но вид у вас был растерянный, ну прямо Наташа Ростова на первом балу.

— Правда? Тогда ничего. Наташа Ростова мне очень нравится. А вам?

Сейчас стыдно сказать, но тогда я, как и большинство моих сверстников, не признавал писателей, которым стал поклоняться в более позднем возрасте. Из всех писателей я признавал целиком одного Чернышевского и частично Тургенева, вернее, одних только «Отцов и детей». Настоящими же моими кумирами были Белинский, Добролюбов, но более этих

двух Писарев. Вместе с ним я отвергал «Рудина», вместе с ним считал Онегина пошляком и бездельником.

Я стал излагать Вере эти идеи и воодушевлялся все больше.

Вера слушала меня внимательно и молчала, но я видел, что слова мои производят на нее впечатление.

Глава пятая

В разговоре я не заметил, как мы дошли до Черного озера. Здесь между двух берез стояла скамейка, на которой я обычно любил сидеть летом. Сейчас она была запорошена снегом.

— Мы уже почти дома,— сказал я.— Но такая погода, что домой совершенно не хочется.

— Мне тоже,— сказала Вера.

— Тогда, может, посидим? — предложил я.— Если вы не замерзли.

— Нисколько.

Перчаткой я смахнул снег со скамейки. Мы сели.

— У нас в Никифорове тоже есть пруд,— сказала Вера.— Я, когда была маленькая, плавала по нему в корыте. Возьму вместо весла лопату и плыву.

— А как относился к вашим забавам Николай Александрович?

— Ему было не до меня. Он детьми вообще мало занимался.

— А что, ваш отец,— спросил я,— всегда придерживался таких крайних взглядов?

Она посмотрела на меня удивленно:

— Что вы имеете в виду?

— Я имею в виду его высказывание насчет того, что, если бы крестьяне восстали, он встал бы во главе их.

Она пожала плечами:

— Не знаю. Последние шесть лет я мало бывала дома. Только на каникулах. Отца видела редко и почти никогда с ним всерьез не разговаривала.

— А раньше?

— Когда раньше?

— Ну, когда вы были маленькая. Как он относился к крестьянам?

— Не знаю. Мне кажется, что крестьяне его любили, считали справедливым.

— Строг, но справедлив,— пробормотал я.— А не драл ли он своих крестьян плетью?

Она вскинула на меня удивленные глаза:

— Откуда вы знаете?

— Я не знаю, я догадался.

— Как?

— Вы забываете о моей профессии,— сказал я.— Я следователь.

— Но следователь, мне кажется, прежде чем сделать то или иное заключение, должен подробно ознакомиться с обстоятельствами.

— Для того чтобы вынести свое окончательное суждение — да. Но для предположения иногда достаточно и первого взгляда.

— Все равно я не могу понять, как вы догадались.

— Это очень просто. Видите ли, ваш отец — человек, извините меня, вполне ординарный. Он мыслит категориями, доступными большинству. В нем есть природная тяга к справедливому устройству мира, но собственных убеждений по этому поводу он выработать не способен. Единственное, на что он способен,— это улавливать модные веяния. Когда крепостное

право существовало, оно казалось ему справедливым, он видел свое призвание в том, чтобы быть отцом своих неразумных крестьян, отцом строгим, но справедливым. При этом он был уверен, что таковая точка зрения есть результат его собственного убеждения. Теперь иные веяния. Все поголовно считают, что крепостное право — форма отжившая и совсем неуместная в наш век прогресса, и ваш отец не может отстать от времени и тоже так считает. Но он считает также, что теперешняя форма государственного управления есть правильная на все времена. И он готов сечь каждого, кто с его точкой зрения не согласен. Вам кажется, что я неправ?

— Не совсем,— сказала она, подумав.— В ваших словах есть доля истины. Но отец мой честный человек, даже в своих заблуждениях честный. Нас, своих детей, он всегда воспитывал в духе уважения к крестьянскому труду, не позволял никаких излишеств ни в еде, ни в одежде. Правда, он бывал иногда слишком строг, но... Алексей Викторович,— переменила она вдруг тему,— вы на меня не сердитесь?

— За что? — спросил я.

— Напрашиваясь на бал, я говорила с вами в ироническом тоне и выглядела, наверное, глупой и самоуверенной. На самом же деле, если сказать вам правду, я очень страдаю.

— Вы страдаете? Отчего? — спросил я взволнованно.

— Не знаю, как жить,— сказала она грустно.— Вот я окончила Родионовский институт. А что дальше? Доступ в высшие учебные заведения для женщины закрыт. Получить какую-нибудь профессию женщине невозможно. Я очень хотела бы приносить людям хоть какую-то пользу, но для этого надо было родиться мужчиной.

Я не знал, что ответить. Она была безусловно права. У нас не было такого поприща, на котором женщина могла бы проявить себя.

Глава шестая

На другой день, поднявшись поздно, я не застал моих постояльцев, они, как обычно, укатили к кому-то с визитом. На третий день я встал раньше их, уехал на службу, а вечер и почти всю ночь провел в купеческом клубе, играл в преферанс. Четвертый день опять на службе, а потом отсыпался.

То чувство, которое возникло у меня к Вере после бала, вспыхнуло, как спичка на ветру, и тут же угасло.

Что касается Лизы, то от нее во все эти дни не поступало никаких известий, а сам я не спешил объявляться, втайне надеясь, что наш роман так и закончится сам по себе. С отцом ее я как-то столкнулся в коридоре нашего ведомства, мы раскланились, без особой, впрочем, пылкости. Он ничего не сказал, хотя и посмотрел, как мне показалось, восторженно. Я подумал, что, может быть, он даже рад, что так все получилось, потому что он всегда относился ко мне со скрытой или открытой неприязнью, и если бы все было так, как я подумал, то в этом мне виделся наилучший исход.

Однако вернемся к тому дню, когда я, как уже было говорено выше, отсыпался. Придя со службы, я завалился в постель прямо в одежде, думая, что потом либо встану, либо разденусь, но не встал и не разделся. Проснулся я в полной темноте. Открыл глаза, ничего не мог понять. «Уже утро, — думал я, —

и пора на службу. Но почему же я так хочу спать?» Я вынул из кармана часы, прислушался, но они стояли. Решил подремать еще немного и опять заснул, но теперь спал плохо, потому что боролся со сном и боялся проспать. Потом я все же пересилил себя, спустил ноги на пол и стал дремать сидя. За дверью послышались шаркающие шаги, и под дверь скользнула бледная полоса света.

— Семен! — крикнул я.

Вошел Семен со свечой. Он был в нижнем белье, босой.

— Семен, который час? — спросил я.

— Да, должно, уже одиннадцать, — зевнул Семен, почесываясь плечом о притолоку.

Я сперва встрепелся, но тут же опомнился и посмотрел на Семена:

— Дурак, что ли?

— Может, и дурак, — флегматично согласился Семен, — да часы умные.

— А почему же темно?

— Барин, — посмотрел на меня с сочувствием Семен, — ночью всегда темно бывает.

— Ночью? — я потряс головой. — Стало быть, сейчас одиннадцать ночи?

— Ну?

— Так бы сразу и сказал, — проворчал я и с удовольствием завалился опять на постель. Семен не уходил.

— Ну, чего стоишь? — спросил я.

— Тут, барин, мальчик приходил, записку вам оставил.

— Завтра, — сказал я, но тут же передумал. — Ладно, давай.

Семен вышел и тут же вернулся с запиской, подал ее мне и поднес свечу. Я раскрыл записку и увидел

английский текст, который спросонья не мог разобрать. «Черт бы подрал этих англоманов,— думал я.— Как будто нельзя написать то, что хочешь, просто по-русски».

— Семен,— сказал я, окончательно проснувшись,— подай-ка словарь. Вон там на полке синяя книжка.

Со словарем я начал кое-как разбираться:

«Дорогой друг, если вам позволит время, я буду рада видеть вас между 5 и 7 часами вечера. Нам надо о многом поговорить. Я надеюсь, вы светский человек (man of the world, буквально — «человек мира») и не обидите отказом старую женщину».

Моей надежде на то, что все обойдется само по себе, видимо, не суждено было сбыться.

Я отпустил Семена, разделся и вскоре снова уснул.

Точно в назначенное время я был у Клемишевых. Швейцар сказал, что барыня у себя наверху и ждет меня. Я поднялся. Старуха сидела у окна с вязаньем. Она подала мне руку для поцелуя в своей обычной грубой манере, как подают руку лакеям.

— Sit down, please¹,— сказала она, кивком головы указав на кресло напротив.— Что нового?

Я пожал плечами:

— Да нового, пожалуй, ничего, не считая того, что надворный советник Барабанов побил вчера стекла в трактире «Соловей» и сидит теперь в полицейском участке.

— Я про это слышала,— сказала старуха.— Что ж, он был пьян или просто так?

— Был пьян и просто так.

— Друг мой — сказала она с подъемом.— Ты, я

¹ Садитесь, пожалуйста (англ.).

надеюсь, догадываешься, зачем я просила тебя прийти?

— Очень смутно.

— А я думала, у тебя есть более ясное представление об сем предмете. Однако же мне все-таки придется тебе сказать все, хотя разговор этот я не могу считать для себя особо приятным. Все дело в том, милостивый государь, что тема уж больно щекотлива.

«Уж для тебя-то щекотливых тем не бывает», — подумал я про себя.

Однако вслух сказал:

— Я слушаю вас внимательно, Авдотья Семеновна.

— Да что слушать-то! — неожиданно взорвалась она. — Ты сам на себя посмотри. Как ты себя ведешь? Что люди вокруг говорят? Это ж один срам!

— Да в чем дело-то, Авдотья Семеновна? — пытался я возразить.

— А то ты не понимаешь, в чем дело. Ох, ох, — передразнила она меня. — Экий несмышлениш! Коли не понимаешь, так я тебе объясню. Когда молодой человек ходит к молодой и приличной барышне с приличной репутацией и просиживает у нее целыми днями более года подряд, то, естественно, разные люди делают одни и те же предположения, ну и в общем... ты сам понимаешь... Мы с Иваном Пантелевичем противу этого не возражали, хотя, не скрою от тебя, Лиза имела и другие предложения. Полковник Зарецкий предлагал ей руку и сердце, однако мы ему отказали. Иван Пантелеевич сказал, что, хотя, конечно, ты и не обладаешь серьезным достатком, дело не в этом, а в том, что ты нравишься нашей дочери. Ты знаешь, Иван Пантелеевич для себя никогда ничего не сделает, все для других. Это, ко-

нечно, черта хорошая, благородная, но в нем она развита уж слишком сильно.

Я слушал с открытым ртом и пытался понять, про кого это все говорится. Про эту продувную бестию Ивана Пантелеевича, который только о том, кажется, и думает, где бы чего урвать? И жена его хорошо это знает. Так что же, притворяется она или верит в это? Вероятно, и то и другое. Ей действительно муж кажется наивным мальчиком, который ничего не может в жизни, потому что некоторые могут больше чем он. Эти люди готовы обмануть кого угодно, но искренне огорчаются, когда кто-то обманывает их. И тогда начинаются разговоры о человеческом неблагородстве.

— Мы почитали тебя за порядочного человека, однако твоя выходка на балу и дальнейшее поведение кажутся нам, не скрою, весьма странными. Это как-то не увязывается в нас с твоим обликом.

— А в чем все-таки дело? — спросил я, понимая, конечно, всю подоплеку.

— Алексей Викторович, — перешла она вдруг на «вы», — вы хорошо понимаете, о чем я говорю. Ваше поведение в течение последнего времени давало нам основание полагать, что у вас складываются вполне серьезные отношения с нашей дочерью. Не скрою, что я даже ожидала вашего предложения. И вдруг появляется эта девица — вы знаете, о ком я говорю, — и вы... Послушайте, да что вы в ней такого нашли?

— Я вас не понимаю, — сказал я на всякий случай.

— Понимаете. Очень даже хорошо понимаете. А я вас не понимаю. Обыкновенная провинциальная девушка с дурными манерами. Это же не серьезно. К тому же родители ее, я слышала, не так богаты, как кажется некоторым.

— Если вы имеете в виду Веру Николаевну Фигнер, — сказал я довольно резко, — то могу сказать вам совершенно определенно, что ее богатство меня совершенно не интересует. И вообще, я не понимаю, к чему вы ведете весь этот разговор. Разумеется, я не считаю себя обязанным отчитываться перед вами, но, если вам все же угодно вдаваться в такие подробности, могу сказать, что Вера Николаевна — моя гостья и никаких иных отношений, кроме тех, какие бывают между гостеприимным хозяином и гостей, у меня с ней нет. То же могу сказать и о своем поведении на балу, которое кажется вам столь возмутительным. Оно было продиктовано исключительно правилами гостеприимства.

Разумеется, то, что я говорил, было не совсем правдой. И все же в своем возмущении я был почти искренен и сам верил тому, что говорил.

— Ну, если так, — вздохнула она с наигранным облегчением, — тогда совсем другое дело. Ты, Алеша, уж извини меня, старую дуру, что лезу в твои дела, но я все-таки мать, и судьба дочери меня очень волнует. Впрочем, и твоя судьба тоже. Мы с Иваном Пантелеевичем к тебе привыкли, полюбили, и ты нам теперь как сын. А коли все так обстоит, как ты говоришь, то нечего тянуть. Делай предложение, сыграем свадьбу, да такую, чтоб все знали. А насчет приданого не волнуйся, уж мы свою единственную дочь никак не обидим.

— Авдотья Семеновна!

— Что, my dear ¹?

— Я не могу сейчас делать предложение вашей дочери, — разом выпалил я.

— Почему? — Кажется, она была искренне удивлена.

— Ну, потому, что я еще не считаю себя для этого подготовленным.

— Да неужто для этого нужно как-то особенно готовиться?

— Нет, не в этом дело. Я очень хорошо отношусь к вашей дочери, к вам и к Ивану Пантелеевичу (тут, конечно, я явно покривил душой), но я еще молод, мне надобно оглядеться.

— *Man will be man*¹, — вздохнула она. — Ничего себе молод. Двадцать шесть лет. Когда Иван Пантелеевич на мне женился, ему было двадцать один.

— Это, может быть, и так, но скажу вам по правде, хотя я и привык к вашей дочери и отношусь к ней как к своему самому близкому другу, однако я не могу сказать, что мое отношение к ней является тем самым чувством, в котором уверен, что это твердо и навсегда.

— О-о, это старая песня. Если эдак-то примериваться, то никогда и не примеришься и все тебе будут чем-то нехороши. Скажу тебе правду: все познается потом. И какой бы человек ни был, а поживешь с ним, попритрешься, и он тебе будет хорош. А наша дочь не урод какой-нибудь, и правила поведения знает, и умна, и музыкальна, так что мой тебе добрый совет — женись.

Я стал опять что-то мямлить о том, что не могу, что мне еще рано, что я еще не все обдумал. Она нахмурилась. С лица ее сползло выражение благодушия.

— Не понимаю, — сказала она серьезно. — Не понимаю, и все. Уж кажется, мы не подсовываем вам,

¹ Мужчила остается мужчиной (англ.).

что попало. Наша дочь красивая, воспитанная и образованная. Мы даем за ней одного приданого больше чем на двадцать тысяч. Каковы, однако ж, будут ваши условия?

И я вдруг понял: никакие лирические соображения ей недоступны.

— Шестьдесят тысяч,— сказал я и посмотрел ей прямо в глаза.

— Что? — спросила она с застывающим выражением лица.

— Я прошу за вашей дочерью шестьдесят тысяч приданого.

«Сейчас она позовет швейцара и прикажет спустить меня с лестницы»,— подумал я. Но этого не произошло. Она не возмутилась. Вернее, возмутилась, но совсем не тем:

— Но мы не сможем дать вам больше тридцати. Ну тридцать пять в крайнем случае.

— Шестьдесят, и ни копейки меньше.

— Милый мой, да ты эдак-то нас совсем хочешь разорить. Да ежели б мы продали оба дома, то и тогда не набрали, пожалуй, шестидесяти тысяч.

— А на меньшее я не согласен,— сказал я твердо.

Я чувствовал, что она меня ненавидит, хотя и не считает мои требования безнравственными.

Признаюсь, во мне пробудилось ужасное, граничащее со страстью любопытство: что она будет делать? Ну возмутись же! Ну плюнь мне в лицо!

Она отложила вязанье в сторону и внимательно посмотрела на меня сквозь очки.

— Ты болен, мой друг,— сказала она печально.— Тебе надо обратиться к доктору. Где мы возьмем такие деньги? Ладно, иди. Я поговорю с Иваном Пантелеевичем.

Я поднялся.

— Алексей Викторович, — остановила она меня уже у порога. — А что, неужели Фигнер дает за своей дочерью шестьдесят тысяч?

— Он дает восемьдесят, — сказал я. — Однако мое отношение к вашей дочери таково, что я готов терпеть убыток в двадцать тысяч.

На этом я раскланялся.

Глава седьмая

Спустя несколько дней, воротясь со службы, я застал Николая Александровича увязывающим чемоданы. Признаюсь, я был немало удивлен.

— Вы куда-то собираетесь? — спросил я.

— Домой, — сказал он. — Хватит, погуляли, пора и честь знать.

Мне показалось, что он был сердит.

— Ну, если у вас какое спешное дело, — сказал я. — А то бы погостили. Вы меня ничуть не стесняете и можете располагать моим домом сколько угодно.

— Да нет уж, спасибо! — пробормотал старик.

— Николай Александрович, — сказал я взволнованно. — По вашему тону я чувствую какую-то невысказанную обиду. Видит бог, что никогда ни в чем, питая к вам самые лучшие чувства, я не хотел вас обидеть. А ежели я, не зная того, поступил как-то оскорбительно по отношению к вашему самолюбию или вашей чести, то между интеллигентными людьми есть простая возможность объясниться и устранить недоразумение, коли таковое могло возникнуть.

— Никакого недоразумения нет, — сказал старик, уминая коленом огромный тюк. — Я очень благодарен вам за приют, однако в гостях хорошо, а дома

лучше. Так что не обессудьте.— Он подобрал концы двух веревок и стянул узлом.

Оставив Николая Александровича, я побежал наверх и застал Веру уже одетой. Она была грустна и, кажется, недавно плакала.

— Вера Николаевна,— спросил я ее,— я все же не понимаю, что произошло. Ваш отъезд скорее напоминает бегство.

— Я сама ничего не понимаю, Алексей Викторович,— сказала она со вздохом.— Я сидела дома, читала, когда пришел папенька и сказал, чтобы я быстро собиралась, лошади ждут у подъезда. Я спросила, почему мы уезжаем так быстро. Он сказал: «Так нужно». И больше ни слова. Я знаю, что спрашивать его бесполезно, и не стала.

— И вы действительно не догадываетесь о причине?

Она вдруг смутилась и опустила голову.

— Догадываюсь,— тихо сказала она.

— Так в чем же дело?

Вера кинула на меня быстрый взгляд исподлобья.

— Вы сами знаете,— сказала она, краснея, и вдруг вздохнула. На пороге стоял Николай Александрович.

— Ты готова?— спросил он у дочери.

— Готова,— тихо сказала она.

— Тогда спускайся, мне надо переговорить с Алексеем Викторовичем.

Вера вышла. Николай Александрович дождался покуда она спустится вниз, и прикрыл дверь.

— Алексей Викторович,— несколько волнуясь, сказал он.— Мы с Верой уезжаем. Причиной нашего быстрого отъезда являетесь вы. Я сперва не хотел вам говорить, но не в моих правилах держать камень за пазухой. До меня дошло, что вы распространяете

слух о том, что я якобы уговаривал вас жениться на моей дочери, обещав за ней какие-то миллионы. Подождите, не перебивайте меня. Должен вам сказать, что как отец я был бы рад Вериному счастью и, безусловно, не обидел бы ее по части приданого, но торговать своей дочерью на аукционе — кто больше даст, — извините великодушно, я не намерен. Мои понятия о чести человека и дворянина...

— Господи, Николай Александрович! — сказал я. — И охота вам обращать внимание на всякие сплетни.

— Сплетни? — удивился он. — Вы можете дать мне слово, что не говорили Авдотье Семеновне Клемишевой о том, что будто бы я обещал дать за Верой восемьдесят тысяч, но что вы при этом готовы терять двадцать тысяч, ежели...

— Николай Александрович! — закричал я, стгорая от стыда. — Вы же умный человек! Неужели вы не понимаете, что это была шутка?

— Шутка?

— Ну не шутка, а глупая выходка. Наглая выходка...

— Выходка, — повторил он и покачал головой. — Ничего себе выходка. Знаете, Алексей Викторович, мы с вашим батюшкой тоже были молоды и тоже иногда озоровали, но чтоб до такой степени... извините-с. Я на вас зла не держу. Более того, я очень благодарен вам за гостеприимство и, ежели попадете в наши края, рад буду ответить вам тем же, однако сейчас задерживаться здесь долее не намерен. Вели-те вашему Семену снести вещи.

С этими словами он вышел.

Я был совершенно убит. «Это же надо, — думал я. — И дернул черт меня за язык с этими тысячами». Я плюнул с досады; крикнув Семена, я велел ему

снести вещи. Самому мне было стыдно выходить на улицу, совестно смотреть в глаза Вере. Приоткнув угол занавески, я посмотрел во двор. Николай Александрович с Верой стояли у крыльца, наблюдая за Дуняшей и Семеном, укладывавшими вещи. Черная кибитка, черные лошади и черные люди на белом снегу сверху были похожи на стаю грачей. Когда вещи были уложены, я накинул пальто, но шапку не надел и вышел. Увидев меня, Вера улыбнулась:

— Алексей Викторович, куда вы без шапки? Застудите голову.

Она держала руки в темной котиковой муфте.

— Не извольте беспокоиться,— сказал я.— Моя голова столь бесполезный предмет, что не стоит вашего внимания.

Слова эти были сказаны не столько для нее, сколько для ее батюшки, который, услышав их, усмехнулся, но затем снова нахмурился и отвернулся.

— Вот,— сказала Вера.— Может, мы с вами больше никогда и не увидимся.

— Отчего же,— сказал я.— Ваше Никифорово не такой уж дальний свет. Да и в Казани у вас могут объявиться дела.

— Прощайте, Алексей Викторович,— сказала она, вынимая руку из муфточки.

— Прощайте,— сказал я и, поцеловав руку, задержал ее в своей.

— Долгое прощанье — лишние слезы,— по своему обыкновению хмуро заметил отец и, оттеснив дочь, подошел ко мне.

— Прощай, мой друг,— сказал он неожиданно на «ты». — Поклон и благодарность твоему батюшке, а ежели случится по надобности или без надобности проезжать мимо нашего захолустья, милости просим, всегда будем рады.

С этими словами он нырнул вслед за дочерью в кибитку и запахнул полог, больше не оглянувшись.

— Трогай! — донесся до меня его сильный голос.

Ямщик разобрал вожжи, гикнул, и лошади с места рванули рысью.

Признаюсь, мне было грустно смотреть им вслед. Но, вернувшись в дом, я почувствовал облегчение.

В прихожей стоял Семен. По его виду я сразу понял, что он чем-то не то удивлен, не то взволнован и хочет поделиться со мной, но видимо, не решается.

— Ты что, Семен? — спросил я.

— Да нет, я вообще-то ничего, — сказал он. — Я только хотел сказать, что Гришка целковый-то мне отдал.

— Неужели? — удивился я.

— Вот тебе крест святой, — перекрестился Семен и посмотрел на меня с видом победителя.

— А, — понял я его радость. — Ты хочешь сказать, что божья воля проявилась!

— А то как же, — кивнул головой Семен.

— Ну, стало быть, заработал где или украл, — сказал я. — Может, отдал просто по совести и без всякой господней воли.

— Нет уж, барин, — покачал головой Семен, — так он не отдал бы. Уж я этого Гришку знаю.

На третий день рождества я к девяти часам утра был обязан повесткою явиться в здание дворянского собрания, где прибывший из Петербурга сенатор должен был ознакомить нас с задачами нового суда.

После заседания я встретил в коридоре Костю Баулина, который, как оказалось, давно приехал и дожидался меня. Костя сказал мне, что труп Право-

торова эксгумирован и теперь находится в помещении анатомического театра, где я и могу произвести обследование вместе с медицинскими экспертами.

— Ну что,— спросил я по дороге.— Нашел что-нибудь интересное?

— Кажется,— усмехнулся Костя.

— Что именно?

— Приедешь — увидишь.

Анатомический театр представлял собой довольно большую залу с окнами, покрашенными до половины белой краской, на которой какие-то любители заборной литературы из студентов нацарапали свои имена и всяческие изречения. Посреди залы и у стен стояло несколько столов с тяжелыми мраморными крышками. На столах лежали трупы людей, обезображенные смертью и скальпелем студентов. Костя подвел меня к столу, на который я сначала не обратил никакого внимания. Там лежал скелет с палившими на нем остатками разложившихся мяса и кожи.

— Вон он, твой извозчик Правоторов,— сказал Костя.

Со смешанным чувством грусти и омерзения смотрел я на эти жалкие останки.

— Что-нибудь видишь? — спросил Костя.

— Ничего интересного,— буркнул я.

— Следовательно надо быть наблюдательней. Обрати-ка внимание на носовую кость.— И он протянул к носу скелета мизинец с длинным, остро отточенным ногтем.

Я глянул и ахнул. Носовая кость была сломана. Сейчас проявилось то, что не видно было при осмотре живого Правоторова и при осмотре его свежего трупа. Вот что значит эксгумация! Иногда она бывает гораздо полезнее осмотра свежего трупа.

— Ну хорошо,— сказал я.— Я вижу, что носовая кость сломана. А что нам дает это сведение?

— Видишь ли, перелом этой кости довольно часто ведет к воспалению мозга. Если кость была сломана в драке, то картина болезни, приведшей к летальному исходу, становится более очевидной. Не так ли?

— Да, но каким способом можно установить, что она сломана именно в драке?

— На таком утверждении я бы не решился настаивать, но что кость сломана за несколько дней до смерти, сомнений нет никаких.

— Почему ты так думаешь?

— Потому, что если бы она была сломана раньше, то здесь должны быть выраженные признаки сращения кости.

Это было весьма ценное сведение.

— Можно ли эту кость сломать кулаком?

— Вряд ли,— покачал головой Костя.— Для этого надо обладать нечеловеческой силой. В данном случае... вот посмотри... видно, что кость не только раздроблена, но даже как бы надрублена. Видишь эти следы?

Прямо из анатомического театра я отправился в участок на Ново-Комиссариатскую улицу.

— Очень хорошо, что вы пришли,— сказал уже знакомый мне пристав.— Перстенок ваш найден, он, действительно, оказался у столяра, чинившего мебель. Этот сукин сын хотел его продать, но, не найдя покупателя, отдал сынишке, и тот с ним играл.

С этими словами пристав открыл ящик стола и достал из него перстень, завернутый в кусок старой газеты. Это был большой чугунный перстень с приклепанным к нему чугунным же цветком с загнутыми лепестками. Может быть, именно следы этих

лепестков и остались на носовой кости Правоторова.

— Дать вам расписку в получении перстня? — спросил я, несколько волнуясь.

— На что она мне, — махнул рукой пристав. — Перстень этот оприходован не был, и мне без надобности. А вам он зачем?

— Как вы думаете, — спросил я, — ежели эту штуку надеть на палец и ударить человека в лицо, нос можно переломить?

— Да можно, пожалуй, не то что нос переломить, а и вовсе без головы человека оставить, — сказал пристав со знанием дела.

Следующий мой визит был к господину Анощенко. Мы сидели друг против друга в его кабинете. Он — за массивным столом, под большим, писанным маслом портретом государя, я — напротив, в кожаном кресле, настолько продавленном, что подбородок мой едва доставал до края стола. Все здесь меня подавляло. Большой кабинет, большой стул, большой портрет и обладатель всего этого тоже большой, грузный, возвышался над столом, как величественный монумент.

— Ну-с! — сказал он и вопросительно прищурил на меня свои и без того маленькие, заплывшие жиром глазки, в которых была настороженность и вместе с тем уверенность в том, что все сойдет ему с рук.

— Степан Петрович, — сказал я, — как вам уже известно, вдова избитого вами два года назад и вскоре умершего извозчика Правоторова возбудила против вас уголовное дело, следствие по которому поручено вести мне.

— Если не ошибаюсь, следствие по этому делу
64 уже было вскорости после происшествия, однако оно

не дало никаких результатов. Мало ли с кем я по-
вздорю, а потом этот человек умрет, так что ж, я дол-
жен за это отвечать?

— Если человек от вашего «вздора» помер, так
отчего бы вам не ответить?

— Однако первое следствие, которое велось по
этому делу, установило мою полную невиновность.

— Не совсем так, — поправил я. — Прежнее след-
ствие, не имея по прежним законам возможности
пользоваться косвенными уликами, не установило
вашу виновность и оставило вас в подозрении. По ны-
нешним же законам следствие может пользоваться
как прямыми уликами, так и косвенными.

Он внимательно посмотрел на меня, и в глазах
его первый раз промелькнуло серьезное беспокой-
ство.

— И что же, у вас есть новые улики? — спросил
он, помолчав.

Я вынул свою улику из кармана и показал Ано-
щенко:

— Этот перстень ваш?

— Нет, — ответил он быстро.

— Вы даже и взглянуть как следует не успели.

— А что мне на него смотреть, раз я вижу, что
вещь не моя.

— Стало быть, не ваша?

— Нет.

— И вы в этом уверены?

— Абсолютно.

— И все же я просил бы вас провести вместе со
мною небольшой опыт для того исключительно, чтобы
я мог убедиться в правоте ваших слов.

— Я не знаю, какой опыт вы имеете в виду...

— Очень просто. Не будете ли вы столь добры, —

65

сказал я,— надеть этот перстень на палец правой руки.

— Ежели это доставит вам удовольствие, пожалуйста.— Он пожал плечами.— Но пальцы мои слишком толсты, и боюсь, что опыт вам не удастся.

Он взял у меня перстень и попробовал надвинуть его на указательный палец правой руки.

— Нет, нет,— остановил я его.— Попробуйте надеть его на безымянный.

— Пожалуй,— равнодушно сказал он, но мне показалось, что на лице его отразилось легкое, почти мимолетное замешательство.

Он снял перстень с указательного пальца и попробовал надвинуть его на безымянный. Перстень легко прошел первую фалангу, но на второй застрял, хотя Анощенко двигал его с видимым усердием.

— Позвольте мне попробовать вам помочь,— предложил я.

— Попробуйте, раз это вам так уж необходимо.

Он протянул мне свою пухлую руку. Я двигал кольцо так и эдак — оно не двигалось с места.

— Ну, хватит,— сказал, наконец, Анощенко,— так вы мне, чего доброго, и вовсе палец сломаете. Вы же отлично видите, что перстень не мой.

Я чувствовал, что терплю полное фиаско, но пытался сохранить хорошую мину при плохой игре.

— Однако же на вашем пальце есть след от носимого раньше кольца.

— Да, есть,— согласился он.— Здесь я носил обручальное кольцо, которое впоследствии где-то обронил. Оно было слишком велико. В отличие от вашего перстня,— добавил он с неприкрытым злорадством.— И вообще, господин хороший,— он поднялся из-за стола,— как человек старший по возрасту и

посоветовать: оставьте вы это дело. Засадить меня в тюрьму вам вряд ли удастся, а себе можете нажать очень большие неприятности.

— Не извольте беспокоиться, милостивый государь,— сказал я.— Закон — не темная улица, и нахрапом тут не возьмешь.

Глава восьмая

Вернувшись домой в девятом часу вечера, я пребывал в настроении более чем отвратительном. Дело Анощенко у меня никак не двигалось с места. Уж, казалось, все говорило против него. Результаты эксгумации превзошли все ожидания. Было ясно, что смерть Правоторова наступила от перелома кости каким-то твердым предметом. Но Анощенко бил его кулаком. Перстень на его палец не налезает, да и никто из свидетелей ни разу не упомянул об этом перстне. Как же быть? Закрывать дело? Но ведь ясно, что совершено преступление. И тут я себя поймал на мысли: а не является ли вся моя деятельность направленной только на подтверждение моей версии? Не подгоняю ли я факты под свое предположение, которое в корне неправильно? Может быть, я действительно хочу доказать недоказуемое, чтобы подтвердить свое следовательское реноме? Я стал размышлять. Ведь в конце концов Правоторов мог сломать нос и несколько позже. Не исключено, что в момент драки он был пьян. На обратном пути он мог споткнуться, упасть, его могла ударить лошадь, мало ли как он мог сломать эту кость? К сожалению, Правоторова нет, и его не спросишь.

Я кликнул Семена и велел принести водки. Семен

посмотрел на меня удивленно: я никогда не пил один, но ничего не сказал и пошел исполнять приказание.

От выпитого легче не стало. «Да,— думал я, закусывая сыром.— Должно быть, я просто-напросто борюсь за честь мундира. И зачем мне нужно было со всем этим связываться? Ведь известно только то, что Анощенко избил Правоторова. Но он же не хотел его убить. И смерть от этого могла произойти, а могла и не произойти, и если произошла, то по чистой случайности. Надо бы отойти от этого дела, закрыть его. Но оно приобрело благодаря моим стараниям слишком широкую огласку, и прекратить его — значило бы не только пошатнуть, но просто начисто уничтожить свою репутацию, после чего единственным выходом из положения может быть только добровольный уход в отставку.

Мне вдруг стало как-то грустно и одиноко, сам себе я показался жалким, беспомощным ребенком. «Отчего я не женился? — думал я.— Сейчас бы рядом со мной был человек, которому я мог бы пожаловаться на свои неудачи».

— Семен! — неожиданно для самого себя крикнул я. И, когда Семен просунул голову в дверь, приказал: — Вели Филиппу закладывать санки. Да поживее!

— Не поздно ли, барин? — осторожно спросил Семен.

— Поживее, я тебе сказал.

Пятнадцать минут спустя я был у знакомого подъезда. Пулей взлетел я мимо растерянного швейцара на второй этаж. Без стука распахнул дверь. Лиза была одна. Несмотря на поздний час, она сидела за роялем и наигрывала что-то грустное. Увидев меня, она вздрогнула.

— Алексей Викторович? Что с вами?

— Какой я тебе, к черту, Алексей Викторович! Для тебя я Алеша. Прости меня, я был неправ, я люблю тебя.

Я попытался ее обнять, но она отстранилась и смотрела на меня со сдержанным любопытством.

— Скажите! — Она улыбнулась. — Что же, Вера Николаевна вам отказала? Или родители сбавили цену?

— Не напоминай мне об этом, — сказал я, от стыда не находя себе места. — Ни о какой цене не было речи. Это была просто идиотская выходка.

— Ах, мой друг, — сказала она, вертя на пальце колечко с камушком, — как я могу быть уверена, что не дождусь от вас такой же выходки и в другой раз? И вообще, я не уверена, что смогу вас простить. Вы ославили меня на весь город. Знакомые смотрят на меня с сочувствием...

Она продолжала в чем-то меня упрекать, но я не слушал. Я тупо смотрел, как она вертит на пальце колечко, то снимая, то надевая его. И вдруг меня осенило. Ведь я столько раз видел, как надевают тугие кольца! Их не наталкивают на палец, а как бы навинчивают.

— Если вы не можете меня простить... — начал я с плохо скрытым облегчением.

Она испугалась.

— Пожалуй, на первый раз я вас прощу, — сказала она торопливо. — Но вы мне дадите слово, что это никогда не повторится. Вы даете мне слово?

— Да, конечно, — сказал я не очень уверенно.

— Ну, ладно, мир, — улыбнулась она, протягивая мне руку для поцелуя. Я покорно поцеловал ее руку. Лиза тут же отвернулась к роялю.

— В знак примирения,— сказала она, опуская руки на клавиши.

«Боже мой, опять!» — подумал я почти с ужасом.

При первых звуках романса я схватился за голову. Потом отступил к двери. Она ничего не видела. Она была упоена музыкой и своим голосом. Второй куплет я слышал уже за дверью, поспешно, но осторожно спускаясь по лестнице.

Проснувшись следующим утром, я не стал завтракать и сразу поехал на службу. Там сначала написал прошение о переводе в Тетюши, затем вызвал судебного пристава и, вручив ему повестку, велел немедленно доставить в участок дворянина Анощенко.

Это дело можно было считать поконченным, и я отправился к Ивану Пантелеевичу, которого, к счастью, застал на месте и свободным от посетителей. Он сидел за своим столом и читал газету, которая всегда была его любимым чтением.

— Что пишут? — спросил я несколько развязно, садясь напротив него.

Он поднял голову и внимательно посмотрел на меня своими подслеповатыми глазами.

— Да вот, хвалят новый метод вставления зубов на каучуке,— сказал он, подумав.— Я полагаю, что если б некоторым головы ставили из того же материала...

— Иван Пантелеевич,— перебил я его,— ежели вы под некоторыми имеете в виду мою голову, то она у меня именно такая и есть.

— Какая-с? — опешил он.

— Из каучука-с,— в тон ему ответил я.— Однажды в детстве пришлось мне упасть со второго этажа и удариться головой об мостовую, так, пове-

рите ли, ничего не случилось, только подскочил, как мячик.

— Пустой человек,— не приняв моей шутки, покачал головой Иван Пантелеевич.— С чем пожаловал?

— Иван Пантелеевич,— сказал я.— Вы, помнится, предлагали мне место следователя в Тетюшах. Так вот, если вы не передумали...

На лице его отразилась работа мысли. Может быть, он хотел спросить меня, что значил мой вчерашний визит, может, он хотел упрекать меня или грозить. Но он не сделал ни того, ни другого, ни третьего. Он грузно поднялся со своего кресла и, заложив руки за спину, прошелся по кабинету, что-то обдумывая.

— Ну что же,— наконец вымолвил он негромко.— Я бы, пожалуй, не возражал противу вашего перевода, но в виду последнего вашего дела, с которым, вы, наделав немало шума, не сумели справиться, позволю вам дать отеческий совет: перемените профессию, пока не поздно. Вы еще молодой человек, можете сделать карьеру на другом поприще, попробуйте себя, к примеру, в адвокатуре, а судья, поверьте моему опыту, из вас не получится. У вас нет эдакой жилки, которая нам, старым служакам, помогает иногда раскусить человека с первого взгляда.

— Предпочитаю раскусывать хотя б со второго взгляда, но до конца,— ответил я дерзко и добавил: — Поскольку, Иван Пантелеевич, ввиду моей несменяемости по закону не в вашей власти прекратить мою судебную карьеру, я бы все же просил вас о переводе в Тетюши, где в деревенском уединении я и обдумую ваше предложение подробно.

— Ну что ж, ну что ж,— подумав, сказал он, снова переходя на «ты».— Не скрою от тебя, что твой 71

перевод не будет для меня огорчительным. Чем дальше мы будем находиться друг от друга, тем лучше. Подавай прошение...

— Прощение готово. Вот оно.— Я выложил свое сочинение на стол перед ним.

— Ну вот и хорошо,— удовлетворенно сказал он, бегло скользя глазами по тексту. Затем наложил резолюцию и вернул мне бумагу.— Теперь надобно утверждение председателя окружной палаты князя Шаховского, о чем я тоже буду его просить, и с богом.

— Вечный ваш должник, Иван Пантелеевич,— с чувством сказал я, приложив руку к груди.— Не знаю даже, как вас благодарить.

— Не стоит благодарности,— сказал он, снова уткнувшись в газету.

О Лизе не было сказано ни слова. Но ее тень витала над нами, придавая остроту разговору.

Углубившись в чтение, Иван Пантелеевич казалось, забыл про меня. Я кашлянул. Он поднял голову и удивился:

— Ты еще здесь?

— К сожалению,— сказал я.— Иван Пантелеевич, еще два слова по поводу дела Анощенко.

— Да что там за дело,— поморщился он.— Закрывать его надобно. Не получилось оно у тебя.

— Однако же, прежде чем закрыть, надо изложить, чего достигло следствие. На месте драки был найден большой перстень черного чугуна, неизвестно кому принадлежащий. При эксгумации трупа Правоторова было обнаружено, что носовая кость покойного была переломлена тяжелым предметом незадолго до смерти. При приложении к месту перелома означенного чугунного перстня установлено, что вмятины на околоносовых костях вполне соответствуют кон-

фигурации перстня. Таким образом, для получения более стройной картины осталось только установить, что этот перстень действительно принадлежал господину Анощенко, что я именно сейчас и намерен сделать. Поэтому я покорнейше просил бы вас проследовать в мой кабинет, чтобы присутствовать при последнем акте этой небольшой, если исходить из вселенских масштабов, трагедии... Впрочем, ежели вы не возражаете, место действия может быть перенесено и в ваш кабинет.

Анощенко встретил нас выражением крайнего недовольства: он-де занятой человек и не может по каждому нашему зову бегать на допросы.

— Не беспокойтесь, Степан Петрович,— попытался успокоить его Клемишев.— Следовательно у нас молодой, горячий, однако я думаю, все обойдется и устроится в лучшем виде.

— Вашими бы устами,— скорбно сказал Анощенко.— Если он такой молодой, так нельзя ли было передать мое дело кому постарше да поопытнее.

— Да вот, по нынешним законам, оказывается, и нельзя,— вздохнул Иван Пантелеевич.— Мы ведь теперь несменяемые. Какую бы глупость ни вытворили, окромя разве что уголовного преступления, все нам простится и сойдет как с гуся вода.

Я хотел ему сказать, что не гоже в присутствии подследственного язвить своего коллегу, да смолчал — бог с ним совсем. Тем более что сюрприз, мною приготовленный, был неотразим.

— Степан Петрович,— обратился я к Анощенко.— Дело, по которому я решил вас побеспокоить, может быть, и пустяковое, но необходимое. Сейчас мы с вами повторим наш вчерашний опыт, который или со всей красноречивостью докажет мою непригодность к судебной деятельности, или же...

— Или же? — повторил он.

— Позвольте еще раз вашу правую руку.

— Опять? — он снисходительно улыбнулся и посмотрел на Клемишева, который сидел в стороне, сцепив на коленях руки со скептическим выражением на лице.

— Опять,— вздохнул я с полным сочувствием.

— Извольте,— сказал он с вызовом,— но ежели вы и сейчас ничего не добьетесь, то учтите, я буду на вас жаловаться губернатору, а ежели губернатор не поможет, то и до самого царя дойду, но этого дела так не оставляю и не позволю постоянно измываться над столбовым дворянином.

— Разумеется, это ваше право,— согласился я, беря его руку в свою и внимательно разглядывая. Теперь я заметил, что след от носимого раньше кольца имеет ширину гораздо большую, чем обыкновенно имеют обручальные кольца.

— Ну что ж, Степан Петрович,— сказал я.— Рискнем.

Я достал из кармана перстень и быстрым движением попытался надеть его на протянутый палец. Конечно, перстень застрял у второй фаланги.

— Ну что? — с видимым сочувствием спросил Анощенко.— Не идет?

— Не идет,— сказал я печально.— Так не идет. А ежели сделать так...— подталкивая перстень, я повернул его в одну сторону...— а потом эдак...— я повернул перстень в другую сторону.

Анощенко побледнел и отдернул руку. Но было уже поздно: увесистый чугунный перстень красовался на безымянном пальце его правой руки.

Встрепенулся Клемишев. Его маленькие глазки перепрыгивали с меня на Анощенко и с Анощенко опять на меня. Он все понял и оценил. Человек он

был плохой, но неглупый. Кажется, сейчас он даже одобрял меня, хотя и сочувствовал Анощенко.

— Что это значит? — спросил он наконец, глотая слюну.

— К сожалению, это значит, — сказал я, — что я вынужден буду арестовать господина Анощенко.

— Вы не имеете никакого права! — закричал на меня Анощенко. — Это еще не доказательство!

— Зря шумишь, Степан Петрович, — тихо сказал Иван Пантелеевич. — Арестовать тебя он право имеет, так что защищайся каким-то другим способом. Поищи адвоката получше, попытайся воздействовать на милосердие присяжных.

— Но ведь то, что перстень налезает мне на палец, еще не доказывает ничего.

— Почему же. Кое-что доказывает, — устало сказал Клемишев. — Косвенная улика. По прежним законам можно было бы и оставить тебя в подозрении, по нынешним придется судить, а там уж как повернется.

С этими словами он вышел из кабинета.

Анощенко большим батистовым платком вытирал пот с лица. Я писал постановление об аресте.

— Господин следователь, — сказал вдруг Анощенко жалким голосом. — А что, если нам разойтись полюбовно? Уж я, слово дворянина, в долгу не останусь.

— Я взятку не беру, уважаемый Степан Петрович. — Перо было плохое и брызгало.

— Ну уж сразу — взятка, — оживился он. — Просто дружеское вспомоществование.

— И во вспомоществовании, получая жалованье и некоторый доход от имения, не нуждаюсь.

— И что же мне грозит? — спросил Анощенко. 75

— Сущие пустяки, — сказал я, открывая Уложение о наказаниях. — Во всяком случае, вы отделаетесь гораздо легче, чем ваша жертва, от которой уже не осталось ничего, кроме скелета. Вот статья 1464, она гласит: «Если вследствие нанесенных не по неосторожности, а с намерением, хотя и без умысла на убийство, побоев или иных насильственных действий причинится кому-либо смерть, то виновный в сем приговаривается, смотря по обстоятельствам дела: к заключению в тюрьме на время от восьми месяцев до двух лет с лишением некоторых, по статье 50 сего Уложения, особенных прав и преимуществ, или к заключению в тюрьме на время от четырех до восьми месяцев: сверх сего, если он христианин, то предается церковному покаянию по распоряжению своего начальства».

— Два года тюрьмы! — схватился за голову Анощенко. — Два года тюрьмы столбовому дворянину за какого-то извозчика!

— Могу вам дать совет в частном порядке, — сказал я. — Когда ваше дело будет слушаться в суде, не ссылайтесь на свое дворянство. Постарайтесь осознать свою вину не только внешне, но и внутренне, тогда вы произведете лучшее впечатление на присяжных, от которых будет зависеть ваша судьба.

Глава девятая

Свой перевод в Тетюши я прямо не связывал ни с какими иными соображениями, кроме служебных, однако не скрою, что желание вновь свидеться с Верой в числе побудительных мотивов занимало не последнее место.

76 Чем дальше, тем чаще вспоминалась мне она, озор-

ная и строгая, умная и легкомысленная одновременно. Кажется, на пасху отправил я ей письмо с поздравлениями, в котором между прочим писал о своем возможном переводе в Тетюши, объясняя его чисто служебной необходимостью.

Вскоре получил от Веры ответное письмо, в котором она благодарила за поздравление и затем в своей обычной шутиливой манере писала, что мой приезд в Тетюши непременно произведет в местных умах переворот, поскольку вся молодежь рвется из здешней глуши в Казань, Москву и Петербург.

«Я думаю,— писала Вера,— что, если вы выйдете в воскресенье на базарную площадь и объявите, что добровольно переехали сюда из Казани, соберется немало народу, чтобы на вас посмотреть. Что касается меня лично, то я, несмотря на всю нелепость вашего шага, буду вам всегда рада и уже сейчас потихоньку готовлюсь к предстоящей встрече. Чтобы произвести на вас хорошее впечатление, читаю умные книги, образ жизни веду самый неприхотливый: ношу платье из мешка, употребляю грубую пищу и сплю исключительно на гвоздях. Если приедете, закажу вам тоже топчан с гвоздями».

Письмо это я показал Косте, и мы вместе посмеялись.

Однако время шло, мой отъезд по разным причинам откладывался со дня на день, и в Тетюши я был только в июне.

Мой предшественник, как и следовало ожидать, оставил мне все дела в полнейшем беспорядке, так что в первую неделю пришлось копаться в бумагах, разбирать, что к чему. Но работы тут было на гораздо более долгое время, поэтому в ближайшую субботу я велел оседлать казенную лошадь и отправился в Никифорово.

День был хороший. Грело солнце, но легкий боковой ветерок не давал распалиться жаре, и я ехал не спеша, наслаждаясь видом окружающей природы и запахом полевых цветов.

Дорога шла краем соснового бора, потом заплеталась по чистой степи. Стояла особая степная звонкая тишина, нарушаемая только тревожным писком полевых мышей. Иногда из-под ног лошади с шумом выпархивали мелкие куропатки.

Под вечер я наконец въехал в Никифорово, чистенькую деревушку с крепкими, не запущенными крестьянскими избами, большинство из которых были крыты красною черепицей. Словоохотливая толстая девка указала мне, как проехать к барской усадьбе, да я мог бы ее и не спрашивать: барский дом, окруженный молодыми дубами, виден был издалека. Двухэтажный, с высоким крыльцом, дом этот стоял над небольшим, но чистым прудом, в котором плавали и кричали жирные утки. Белые гуси хлопотливо убрались с дороги, однако некоторые из них оборачивались и, вытягивая шеи, шипели на меня, отчего молодая лошадь вздрагивала и шарахалась в сторону, и мне пришлось натянуть поводья, чтобы ее удерживать. Повсюду раздавались давно не слышанные мной деревенские звуки: лай собак, пенье птиц и мычанье коров, возвращавшихся с пастбища. Красный шар солнца висел, запутавшись в ветвях отдаленных деревьев, и отражение его лучей тянулось через весь пруд широкой бронзовой полосой. Увиденная картина напомнила нашу родовую деревню Филипповку, напомнила годы детства, и сердце мое переполнилось неизъяснимым покоем и радостью. Я прищепил лошадь и вскоре оказался перед господским домом. Откуда-то из-за угла вывернулась черная мелкая собачонка и стала с отчаянным лаем

кидаться на лошадь, отчего та всхрапывала и норовила встать на дыбы. На лай собачонки выбежала на крыльцо худенькая старушка с вязаньем в руках и прикрикнула на собачонку, после чего та сразу завильяла хвостом.

— Кого тебе, барин, надобно? — обратилась затем ко мне старушка, в которой я сразу признал Верину пиянку Наталью Макарьевну, о которой Вера мне много рассказывала.

— Дома ли барин Николай Александрович? — спросил я.

— А где ж ему быть? — отвечала старуха. — И Николай Александрович и Екатерина Христофоровна, все дома.

— А вы, стало быть, Наталья Макарьевна? — спросил я.

— Она самая, — заулыбалась старуха. — А ты чей же будешь, чтой-то я никак не признаю.

— А я, бабушка, ничей, — пошутил я. — И признать ты меня не можешь, потому что мы не знакомы.

Я привязывал лошадь к крыльцу, когда дверь распахнулась и на крыльцо выбежала Вера.

— Алексей Викторович! — ахнула она и, сбежав по ступенькам, остановилась передо мной. — Я вам так рада!

Я сказал ей, что тоже очень рад и что с той самой поры, как она уехала из Казани, думал о ней постоянно.

— Так уж и постоянно? — не поверила она.

— Так уж и постоянно, — сказал я. — А где же ваш батюшка?

— А вон он, — сказала Вера.

И в самом деле, на крыльце появился Николай Александрович, как всегда, прямой и подтянутый. 79

Одет он был в красную косоворотку, подпоясанную шелковым ремешком, суконные брюки были заправлены в высокие сапоги.

— Кого бог принес? — спросил он своим уверенным и властным голосом. — Никак Алексей Викторович! Вот уж, как говорится, не ожидал. Надолго ли?

— Да как сказать. Пока что на денек, если не прогоните. А вообще, прислан к вам в уезд судебным следователем.

— Вот оно что, — сказал Николай Александрович. — Слышал я о том, что у нас новый следователь, исправник на днях сказал, да не знал, что вы. Говорили только, что следователь строгий, крутого характера.

— Ну уж и крутого, — смутился я. — Характера я самого обыкновенного, можно даже сказать, мягкого, но к делу своему пытаюсь относиться добросовестно.

— Да что ж это мы тут стоим? — вдруг спохватился Николай Александрович. — Пройдемте в дом. А ты, Наталья Макарьевна, — обратился он к старухе, — найди, будь добра, Порфирия, пусть лошадь сведет на конюшню, расседлает да даст овса. Овса, слышь, а не сена!

Мы сидим посреди сада в беседке, старательно расписанной доморощенным художником. Прямо передо мной — изображение пухлой девицы, грустящей у самовара, и надпись славянской вязью: «Не хочу чаю, хочу шампанского». Мне хорошо и покойно, но, не имея смелости сказать о своих чувствах, я продолжаю разговор, начатый еще у меня, в Казани. Я говорю о том же, но как много изменилось с тех пор!

Я вижу, Вере здесь тоскливо сидеть безо всякого занятия, но что делать, куда податься?

— Можно сколько угодно читать умные книжки, — говорит она, — можно проповедовать самые пе-

редовые убеждения, а судьба все равно одна: замужество, дети, семья. Женщина не может иметь какого-то своего дела.

Я пытаюсь ей возражать:

— Напрасно вы так думаете. Если вам так важно иметь свое дело, можно найти какой-то выход из положения. Между прочим, вы знаете, кто такая Суслова?

— Понятия не имею.

— Так вот, Надежда Прокофьевна Суслова — первая в России женщина, которая не захотела мириться со своим положением, поехала в Швейцарию, кончила университет и теперь служит хирургом.

— Женщина-хирург? У нас в России? — Вера смотрит на меня недоверчиво. — Разве это возможно?

— Выходит, возможно. Я читал о ней в журнале «Дело». Кажется, номер с этой статьей лежит у меня в Тетюшах. Прикажете доставить?

— Обязательно! — говорит Вера. — Что ж вы раньше молчали? Как только будете в Тетюшах, сразу найдите этот номер и если не сможете сами приехать, то пришлите с кем-нибудь.

После этого мы говорим о разных пустяках, по она снова и снова переводит разговор на Суслову. Кто она? Сколько ей лет? Откуда?

— Я вижу, мое сообщение сильно на вас подействовало.

— Я бы очень хотела стать врачом. Здесь меня все подозревают в желании праздно провести жизнь. Мой дядя Петр Христофорович постоянно подтрунивает: «А ну-ка, Верочка, давай подсчитаем, сколько пудов ржи висит у тебя на ушах в виде этих сережек?» Считает, и даже по самому неурожайному году получается пудов пятьдесят. «А сколько пудов овса облегает тебя в виде этой материи?»

А тетя Варя однажды сказала, что Лидинька, моя сестра, — человек глубокий, а Верочка как малиновый фонарик — снаружи хорош, но сторона, обращенная к стене, пустая. И для вас я такая же пустышка, как для тети Вари.

Я смутился и запротестовал:

— Что вы, Верочка, я с вами веду эти разговоры именно потому, что отношусь к вам серьезно, очень серьезно.

Уже совсем стемнело, и на террасу вынесли свечи.

— Вера! Алексей Викторович! — послышался голос Екатерины Христофоровны. — Идите чай пить!

Вера поднялась:

— Пойдемте, Алексей Викторович. А что касается статьи об этой вашей Сусловой, то, пожалуйста, не забудьте.

Глава десятая

Друг мой Костя!

Давно собирался тебе написать, да все как-то не получалось. И не оттого, что служба заела, а совсем от другой причины, которая состоит в том, что влюбился я, брат мой, по уши, так влюбился, что и не ожидал сам от себя. Вот ведь бывало и прежде, как будто тоже влюблялся, и казалось даже, что сильно, но теперь-то я вижу, что прежнее все было не то, не любовь, а в крайнем случае увлечения, но такого, как сейчас, чтоб все время только этим и жил, никогда не бывало. По долгу службы обязан я жить в Тетюхах, где мне дана казенная квартира, но в ней я почти не бываю. Как только выпадает свободное время, сажусь на лошадь и еду в Никифорово, и еду, надо сказать, каждый раз как на праздник. В доме Фигнеров я стал уже как бы своим человеком, они встречают меня с

неизменным радушием и гостеприимством, относясь ко мне, как к родному. Точно так же отношусь к ним и я, хотя и не закрываю глаза па отдельные недостатки отдельных представителей этого рода. Но попробую описать все семейство.

Николай Александрович — отец Веры. Это высокий, стройный, худощавый человек с темными, но уже подернутыми изрядной сединой волосами, темной же некурчавой бородой, с глазами бутылочного, как он сам говорит, цвета и с правильными чертами лица, которые он передал всем своим детям. Ходит уверенно, говорит громко, несколько истеричен и в спорах с крестьянами часто срывается на крик. Одевается просто: красная рубаха навыпуск, широкие шаровары и высокие сапоги. Детей держит в строгости. Вставай и ложись спать в определенное время, одевайся всегда одинаково, как бы в форменное платье, причесывайся так-то, не забывай здороваться с отцом и матерью по утрам и прощаться перед сном, крестись и благодари их после еды, никогда ничего не проси, не требуй ни прибавки, ни убавки, не отказывайся ни от чего, что тебе дают, доедай всякое кушанье без остатка, если даже тебя от него воротит, не привередничай, приучайся с детства быть неприхотливым ни в еде, ни в одежде, ни в бытовых условиях, спи на жесткой постели, довольствуйся молоком вместо чая и черным хлебом вместо белого. «Держи живот в голоде, голову в холоде, ноги в тепле. Избегай докторов и будешь здоров» — вот любимая его поговорка. Ни малейшего снисхождения к детским слабостям. Раньше чуть что — драл нещадно плетью-треххвосткой (Вера рассказывала, что ее, шестилетнюю, в свое время чуть не искалечил), но теперь стал немного либеральнее, плетью не пользуется, но уж зато так посмотрит своими «бутылочными» глазами,

что даже меня, взрослого и выдавшего вида человека, дрожь изнутри продирает. При всем том неглуп, начитан (в домашней библиотеке «Отечественные записки», «Слово», «Дело», впрочем, не пренебрегает и Понсон дю Террайлем), по-своему честен. Я говорю «по-своему», потому что сами мысли его не всегда кажутся мне достаточно честными, но следует он им безо всякой видимой корысти. На крестьян кричит часто, но только в тех случаях, когда они, по его мнению, не понимают своих же интересов, по отношению к начальству держится независимо. Отец мой отзывался о нем как о человеке щедром и великодушном. Прожектер, постоянно носится с какой-нибудь пустой затеей; то строит крупорушку, то требует топить печи исключительно гречневой шелухой, то устраивает в Никифорове базар, хотя некому там торговать, держит на Казанском тракте постоянный двор, не приносящий никакого дохода, разводил пчел, строил и не достроил кирпичный завод. Последняя его идея: использовать силу небольшого ручья, протекающего в саду, для точения деревянной посуды. Для завершения его портрета добавлю, что любит иногда перекинуться в картишки по мелочи, в чем я ему с удовольствием составляю компанию. В былые годы проигрывал сотни рублей, хотя сам себя за это не сек.

Екатерина Христофоровна — полная противоположность своему мужу. Красивой ее, пожалуй, не назовешь, но лицо у нее хорошее, привлекательное и всегда светится мягкой кроткой улыбкой. Выйдя замуж почти девочкой и народив с тех пор восемь детей (два первых мальчика умерли во младенчестве), она доныне сохранила неплохую фигуру, во всяком случае, Носов вполне мог бы еще за ней поволочиться. Она среднего роста, волосы черные, глаза карие, добрые. Кажется, она довольно религиозна, сентимен-

тальна, любит цветы и деревья, в литературе предпочитает беллетристику критике и публицистике. На детей никогда не повышает голоса, позволяет им делать все что им вздумается, надеясь на то, что природные добрые качества сами возьмут в них верх.

Сестра Лида всего на год моложе Веры. Только что окончила Родионовский институт. Внешностью и характером пошла, кажется, в отца. Резка, прямолинейна, любит говорить правду в глаза (не считаю это качество всегда безусловно положительным), книги читает только ученые, меня как будто недолюбливает по идейным соображениям, считая, что женщине, а стало быть и Вере, при нынешних представлениях о браке выходить замуж унизительно, ибо мужчины, что бы они ни говорили, всегда относятся к женщине не как к другу и товарищу, а как к рабыне, стремясь подавить ее волю и растворить в себе ее личность, сделав ее только своим отражением.

Далее следуют два разбойника-гимназиста, о которых ничего толком сказать не могу. Знаю, что оба терпеть не могут всякое ученье, один мечтает стать инженером, другой моряком, думаю же, что из них не получится ни того, ни другого, а что получится, знает только бог.

Затем еще две сестрички, но эти совсем еще малышки. Одной двенадцать лет, другой пять.

Особое место в этой семье занимает няня Наталья Макарьевна, маленькая подвижная старушопка в больших очках в медной оправе. Это странное существо является неотъемлемой частью всего семейства. Она вырастила три поколения. Несмотря на преклонные лета (на вопрос о возрасте она отвечает, что ей седьмой десяток, хотя Вера утверждает, что этот счет слышит с тех пор, как себя помнит), нянька с утра до ночи вертится по хозяйству: варит варенье, пастилу,

брагу, делает наливки, зацасает фрукты и ягоды, солит грибы, вяжет тончайшее кружево,— словом, мастерица на все руки. При всем том получает она от господ нищенское жалованье: полтора рубля серебром, четверть фунта чаю да три четверти фунта сахару в месяц. Все ее богатство содержится в сундуке, который представляет необыкновенный интерес и является предметом вожделения для всего младшего поколения дома. Чего здесь только нет! Какие-то старые, полусгнившие лоскуты материи, подаренной в разное время от всех поколений господ, табакерки, коробочки, пуговицы, булавки, шпильки, и историю каждой вещи старуха помнит и охотно рассказывает. Но нет для нее большего удовольствия, чем предложить нюхательного табаку, который держит она в серебряной табакерке. И если ты вместе с ней понюхаешь его да почишаешь вместе с ней от души, то она рада безумно, и старческие глаза ее светятся удовольствием.

Что сказать еще об обитателях дома? Приезжают иногда родственники: Петр Христофорович Куприянов, мировой судья, Верин дядя по материнской линии и тетка Елизавета Христофоровна с мужем, помещиком по фамилии Головня. Все это тоже весьма интересные люди и уж никак не ретрограды. Дядя вполне разбирается в литературе, поклонник Чернышевского и Писарева, так что с ним мы быстро нашли общий язык. Иногда (находя, разумеется, во мне полную поддержку) подтрунивает над Верой, питающей слабость к безделушкам.

Мечеслав Фелицианович Головня — поляк. Так же как мой и Верин отцы, был лесничим. Служил, ни в чем плохом замечен не был. Шесть лет тому вдруг накатили жандармы, перерыли весь дом, схватили хозяина, увезли в Казань, продержали три месяца в

крепости и выпустили, запретив заниматься государственной службой. В чем дело? Оказывается, его мать, брат и сестры, жившие в Варшаве, были замешаны в польском восстании. А он-то при чем? А при том! И весь сказ. Вот так-то. Вводим мы уставы, пытаемся соблюдать законность по мелочам, а как дело доходит до таких вещей — молчи. Политика! Сунешься — гляди и сам по шапке получишь. А уж если закон в одном деле не соблюдается, то нет к нему достаточного доверия и в другом. Так-то, брат.

Но я тебе все о второстепенных персонажах своего романа, а о главном действующем лице молчу. А что говорить? Люблю я ее, да и все. Каждый день с ней — счастливое мгновение, день без нее (приходится бывать и на службе) — пытка. Все собираюсь сделать предложение, да трушу ужасно. Вдруг откажет? Этого я, кажется, не переживу. При всем своем критическом уме, считаю ее совершенством. Ты будешь смеяться, но я вот временами смотрю на нее и думаю: «Ну какие же в ней недостатки?» И не нахожу никаких. Красива, ты и сам видел. Что лицо, что фигура — безупречны. Умна, остроумна, добра. Часто подсмеивается над моим высокопарным «штилем», но за иронией ее, я уверен, скрываются глубокий ум и высокие побуждения.

Смотрю на нее иной раз и думаю: «Вот то, что искал я всегда: гармоничное сочетание красоты, женственности и ума, плюс «души прекрасные порывы». Это ли не совершенство?

Иногда вспоминаю Лизу и думаю: «Неужели это я собирался жениться на этой курице, у которой на уме ничего, кроме замужества и своего гнездышка, за которое она вместе со своими mother and father¹ горло готова перегрызть любому, кто посягнет?»

¹ Отец и мать (англ.).

Вот, друг мой сердечный, какие дела. Пиши мне, и я тебе буду писать, если не помру к тому времени от счастья.

Обнимаю тебя. Твой Алексей.

Глава одиннадцатая

— Ну, вы прочли статью о Сусловой? — спросил я, налегая на весла. В том месте, в котором мы плыли, Волга делала крутой поворот, а на повороте течение, как известно, бывает быстрее, и надо приложить значительные усилия, чтобы плыть против него.

— Да, я прочла эту статью, — вздохнула Вера, — но, к сожалению, она не имеет ко мне никакого отношения. Батюшка, при всех его либеральных взглядах, по существу остался тем, кем был раньше, и за границу меня ни за что не отпустит.

— Для начала можно попробовать и в России, — сказал я, впрочем, не очень уверенно. Мне удалось одолеть поворот, и теперь лодка заметнее продвигалась вперед вдоль песчаного берега.

— Алексей Викторович, — сказала она с упреком, — не говорите заведомую глупость. Вы не хуже моего знаете, что в России женщину к высшему учебному заведению не подпускают на пушечный выстрел.

— Времена меняются, — сказал я, пожав плечами. — Официально женское обучение не поощряется, но неофициально... можно попробовать. У меня в Казани есть друг, да вы его знаете — Костя Баулин, он преподает в университете патологическую анатомию и мог бы вам посодействовать, если бы ваше желание было достаточно сильным.

— Вы знаете, что оно достаточно сильно,— сказала она с досадой.— Я ждала, пока Лидинька окончит институт, но теперь она его окончила, и мы обе готовы учиться дальше. Но что может для нас сделать ваш Костя?

— Многого не может, но в университете его уважают. Для первого раза вы могли бы довольствоваться ролью вольных слушательниц.

Я повернул лодку и уверенно повел ее на середину реки, ориентируясь на одинокую иву на том берегу.

— А почему вы так заботитесь о моем будущем? — спросила вдруг Вера.

— Потому, что я вас люблю,— неожиданно вырвалось у меня.

— Что? — оторопела Вера.

— Ничего,— рассердился я.— Вы очень хорошо сами знаете, для чего я постоянно приезжаю в ваше Никифорово, для чего постоянно за вами хожу.

Она посмотрела на меня внимательно и вдруг звонко расхохоталась. Она смеялась до слез, откинувшись на корму.

— Если вы будете так сильно смеяться,— хмуро заметил я,— вы можете свалиться за борт, а при том, что вы, насколько мне известно, плаваете не лучше утюга...

— А вы меня не смешите,— сказала она, вытирая платочком слезы.

— А я и не собираюсь вас смешить,— пробурчал я.

— Алеша,— она весело посмотрела на меня.— Как понять ваши слова? Значит ли это, что вы делаете мне предложение?

— Да, значит,— сказал я все так же хмуро, сердясь на самого себя за этот дурацкий тон.

Она опустила в воду правую руку и стала водить ею взад и вперед. Потом посмотрела на меня из-под соломенной шляпы и серьезно спросила:

— А почему вы делаете мне предложение таким странным тоном, как будто объясняетесь не в любви, а во вражде?

— По глушости,— сказал я, смутившись.— И потому, что боюсь отказа.

— А-а.

Она замолчала и не проронила больше ни слова, пока мы не доплыли до противоположного берега. Здесь, на перевозе, я вернул лодку хозяину, хмурого вида мужику, и дал ему рубль серебром. От перевоза до Никифорова было версты полторы, и мы пошли тропинкой, петляющей по редкому сосновому лесу. Было жарко, я спил сюртук и перекинул его через руку. Мы вышли на поляну, усыпанную ромашками.

— Устала,— сказала Вера и присела на сваленную сосну.

Я сел рядом. Она нагнулась, сорвала ромашку и стала молча отрывать лепестки, лукаво и многозначительно поглядывая на меня.

Я подвинулся к ней и положил руку на ее худенькое плечо.

— Алеша,— сказала она, пожившись.— А как же насчет женской эмансипации, образования и всего прочего?

— А разве нельзя учиться, будучи замужем?

— Может быть, можно, но...— она смутилась и покраснела.

— Но?

— Алеша,— она говорила с трудом.— Мы ведь взрослые люди, мы знаем...

— ...что от этого бывают дети?

— Да,— сказала она, краснея еще больше.

— Глупая, — сказал я, притягивая ее к себе и покрывая поцелуями теперь уже совсем родное лицо. — Ты совсем еще глупая.

В светлый осенний день 1870 года лысый попик Никодим обвенчал нас в никифоровской церквушке.

Родители мои и невесты хотели устроить веселую свадьбу, но мы объявили, что шумные торжества не соответствуют нашим желаниям. Поэтому была только ближайшая родня с обеих сторон, которой, однако, тоже набралось порядочно. Отец мой приехал в сюртуке, сшитом еще, если не ошибаюсь, до моего рождения и с тех пор почти не носимом. Сюртук был слегка побит молью, но выглядел еще довольно прилично. Приехав на свадьбу, отец сказал, что, если бы не такое событие, пожалуй, он сына еще несколько лет не увидел. Что касается матушки, то она была просто рада и ни в чем меня не упрекала.

Несмотря на всю скромность торжества, выпито и съедено было довольно много. Тосты произносились один за другим. Не обошлось и без курьеза. После того, как было выпито и за молодых и за старых, и за будущих детей, встала Лида.

— Я хочу сказать тост. — Глаза ее сверкали. — Вера, — сказала она взволнованно. — Пусть мне все простят. Простите, Алексей Викторович, но я хочу произнести этот тост за мою старшую сестру. Вера, я пью за тебя, я надеюсь, что замужество не превратит тебя в замужнюю женщину, в том смысле, в котором мы привыкли это видеть, в рабыню своего повелителя...

— Это, кажется, камень в мой огород, — улыбаясь, сказала Екатерина Христофоровна. — Да, я всегда была младшей в доме своего мужа, но я этого ни-

сколько не стыжусь и не считаю себя в чем-нибудь ущемленной.

— Мамочка,— посмотрела на нее с упреком Лида.— Вы же знаете, как я к вам отношусь, как мы все, ваши дети, к вам относимся. Но вы жили в другое время...

— Да, я жила в другое время, но женщина для того и создана, чтобы помогать мужчине, которому всегда труднее...

— Катя,— Петр Христофорович положил руку на плечо сестры.— Не мешай дочери, она дело говорит.

— Нет,— обиделась Лида,— я не хочу больше ничего говорить.— В глазах ее показались слезы, она поставила рюмку и села.

— Нет, ты уж договори,— мягко попросил Петр Христофорович.

— Просим! Просим! — закричал Мечеслав Фелицианович и захлопал в ладоши.

— Просим! — поддержала его Елизавета Христофоровна и тоже захлопала.

Лида снова поднялась.

— Я хотела сказать... я хотела сказать,— волнуясь и еле преодолевая желание заплакать, проговорила она,— я надеюсь, что после замужества ты не погрязнешь в ежедневной суете, которая называется семейной жизнью, и сохранишь в себе личность. Я очень уважаю Алексея Викторовича, но я не хотела бы, чтоб ты стала только его тенью, а чтоб ты была ему другом, и другом, равным во всех отношениях.

— Bravo! — крикнула Елизавета Христофоровна и снова захлопала в ладоши.

— Молодец, племянница,— поддержал и Петр Христофорович.

— Коля,— повернулся он к Николаю Александровичу,— дочь-то твоя дело говорит.

— Слишком остры все на язык,— хмуро заметил Николай Александрович.

— Новое поколение, Коля,— глубокомысленно заметил Петр Христофорович.— Как сказал поэт, «племя младое, незнакомое». А вы что скажете, Алексей Викторович? — обратился он ко мне.

— А я скажу то, что Лида права,— сказал я и, наполнив свою рюмку, встал.

— Браво! — опять захлопала в ладоши Елизавета Христофоровна.

— Так что, Екатерина Христофоровна,— повернулся я к матери своей молодой жены,— это камень не в ваш огород, а прямым попаданием в мой. Но я с Лидой полностью солидарен. И я вовсе не хочу, чтоб Вера была моей тенью или моей рабыней, я хочу, чтоб она была моим преданным и вполне равноценным другом.

— Бардзо добже! — закричал Мечеслав Фелицианович.— Горько!

— Горько! Горько! — закричали со всех концов стола.

Свадьба была как свадьба. Пили, кричали, спорили о политике. Мечеслав Фелицианович, захмелев раньше других, бил себя кулаком в грудь, плакал и жаловался на злых людей, которые сделали ему много вреда.

— За что? — выкрикивал он и лез ко мне через стол.

— Мечеслав,— тянула его за рукав Елизавета Христофоровна.— Не надо. Пойдем спать.

— Не хочу спать! — воздевая руки к потолку, кричал Мечеслав Фелицианович.— Я сплю! Вы спите! Мы спим! Пора проснуться! Откройте глаза!

Завтра же пошлю телеграмму царю. Я выскажу ему все, что думаю.

— Хорошо, хорошо,— ласково уговаривала мужа Елизавета Христофоровна.— Завтра пошлем телеграмму, а пока пора спать. Пойдем. Дай руку.— Она подставила свое шупленькое плечо, обвила его руку вокруг своей шеи. Бунтарь сразу притих и обмяк.

Глава двенадцатая

Через несколько недель умер Николай Александрович. Накануне вечером он был вполне здоров, сидел за столом, шутил с домашними. Утром все вышли к завтраку, его нет. Послали Наталью Макарьевну, не достучалась. Пошла Екатерина Христофоровна, стучала, не достучалась, кричала, не докричалась. Послали за конюхом Порфирием, тот, не долго думая, плечом вышиб дверь. Николай Александрович спал, повернувшись лицом к стене. Спал вечным сном.

Тот же плюгавый попик, по имени Никодим, который еще недавно надевал мне и Вере обручальные кольца, теперь махал кадилом, отпевая усопшего.

День был слякотный, и глина на кладбище плыла под ногами. Конюх Порфирий с бесчувственным лицом заколачивал гвозди. Екатерина Христофоровна кричала и рвалась к могиле. Ее держали за руки и совали в нос флакон с нюхательной солью. Вера стояла чуть в стороне, прямая, серьезная, и смотрела на происходящее пристально, как будто желая до конца убедиться, что так бывает. Гроб опустили. Вера нагнулась и бросила в могилу горсть глины. И опять стояла прямо.

Екатерину Христофоровну под руки повели с кладбища. Ушли Лида с Женей, ушли мальчишки Петя

и Николенька, ушла и Наталья Макарьевна. Вера стояла и смотрела на крест, на котором одинокой слезинкой выступила смола. Я подошел к Вере сзади и взял ее под локоть.

— Пойдем,— сказал я.— Опять дождь начинается.

Она послушно пошла по тропинке между могилами.

Ее одолевение пугало меня. Я пытался утешить ее, сказал, что теперь больше, чем раньше, хочу быть для нее опорой в жизни, хочу быть мужем, отцом и старшим товарищем.

— Алеша,— сказала она тихо.— Мы с Лидой решили ехать в Казань. Попробуем пробиться в университет. Ты не будешь против?

— Не только не буду против, но буду очень рад за тебя,— горячо поддержал я.

Хотя еще недавно я сам внушал Вере, что она должна непременно учиться, хотя сам побуждал ее отправиться в Казань, та легкость, с которой она меня оставила, несколько меня удивила и покорила. «Если она так легко уехала,— думал я,— значит, она не очень-то меня любит, значит я ей нужен не во всякое время». Однако я старался заглушить в себе этот легкий ропот недовольства, ловя себя на том, что и сам я несколько приустал от ежедневной любви и ежедневного счастья.

С Вериним отъездом я переехал в Тетюши и жил на своей казенной квартире с казенным столом, казенной кроватью и казенным цветком на подоконнике. У меня вдруг неожиданно оказалось много свободного времени, которое я не знал на что употребить. Как-то вечером побывал у мирового судьи, у кото-

рого собиралось почти все здешнее общество, но оно мне показалось еще более пустым и скучным, чем то, к которому я привык в Казани.

После этого вечера я избегал ходить по гостям, предпочитая проводить вечера в одиночестве. Пробовал заняться немецким языком, поставив себе нормой изучать в день по десять новых слов, но уже на третий день мне это наскучило, и я либо читал книги, либо просто лежал на спине, смотрел в потолок и думал о Вере. Однажды надумал я вести дневник, купил тетрадку в красном переплете, написал на обложке «Дневник». Затем, поставив на первой странице число, описал свой день подробно: когда встал, что ел, кого встретил в течение дня, о чем говорили, но, перечитавши все это, увидел, что ничего интересного в этой записи ни для потомства, ни для себя самого в будущем нет, и бросил. Потом я решил, что вместо дневника буду писать письма Вере. В день по письму. Так гораздо больше стимула, потому что дневник пишешь неизвестно кому и для чего, в письме же получается видимость двухстороннего разговора, кроме того, ей, наверное, будет приятно. Сначала я писал каждый день, потом через день, потом от случая к случаю. Сочиняя эти письма, я думал о том, что любовь дает человеку радость не только близости с любимым человеком, но и радость разлуки. Я думал о том, что вовсе не обязательно, чтобы любимый человек был всегда рядом, есть особое наслаждение думать о том, что он где-то вдалеке, занят своими делами и все же иногда думает о тебе, вспоминает тебя. Иногда мне казалось, что если я буду долго и сильно думать о Вере, то мысль моя о ней обязательно дойдет до нее и она тоже станет думать обо мне, и ее мысль вернется сюда, и мы будем как бы вместе.



Недели через две после отъезда Веры получил я от нее письмо, в котором она писала о своей жизни. Надежды на то, что им с Лидиной удастся поступить в университет, не оправдались. Профессор Марковников, к которому Костя по моей просьбе дал им рекомендательное письмо, принял их любезно и разрешил заниматься в своей лаборатории после занятий со студентами. Но этим его участие и ограничилось. Вера и Лидинька приходили по вечерам в лабораторию, смешивали в колбах какие-то реактивы, кипятили их, но, кажется, без всякого смысла. «Есть здесь,— писала Вера,— некий профессор Лесгафт, молодой ученый, говорят, восходящее светило в медицинской науке, он будто бы стоит за женское обучение; мы с Лидиной решили пробиться к нему, чтобы получить разрешение присутствовать на лекциях и посещать анатомический театр. В анатомический театр однажды даже заглянули. Там стоял такой запах, что с трудом выдержали. Во всем университете, кажется, только две женщины, все смотрят на нас как на какую-то диковину, но мы не обращаем внимания — пусть думают, что хотят». Письмо было написано в обычной ее сдержанной манере, без всяких уверений в любви, без междометий и восклицательных знаков, которыми я в своих письмах, может быть, даже злоупотреблял. Меня даже слегка обидела эта холодность, но потом я подумал, что это не холодность, а простая сдержанность, свойственная ее характеру.

Во втором письме Вера писала, что познакомилась с Лесгафтом, который оказался очень приятным и приветливым человеком. Он сразу же и без всяких условий разрешил им посещать его лекции вольными слушателями и наравне со студентами работать в анатомическом театре. Письмо было опять

деловое, без всякой лирики. Я ответил, что очень рад, что им удалось так хорошо устроиться в университете, что в конце концов важна не бумага, которую дают после обучения, а знания, что впоследствии, вероятно, университетское начальство, увидев, что у них не женский каприз, а серьезное стремление к знаниям, разрешит им перейти на положение настоящих студентов, что первые шаги на любом поприще всегда бывают трудными и находят сопротивление в среде людей, которые боятся всего нового. Изложив эти прописные истины, я написал, что очень по ней скучаю и мне кажется, что она за своими занятиями совсем забыла своего «провинциального родственника» и что в следующих ее письмах я хотел бы получить опровержение своим догадкам. На это письмо Вера ответила мне, что любит меня по-прежнему, но скучать некогда, очень много времени отнимают занятия. И что вообще считает излишние объяснения в любви вовсе ненужными, ибо настоящая любовь в словах не нуждается; что же касается занятий, то все идет пока хорошо, но против Лесгафта затевается какая-то интрига. Старые профессора считают, что он слишком либерален со студентами и держит себя с ними без всякого превосходства, на равной ноге, а это, по их мнению, недопустимо с точки зрения педагогической.

В ответном письме я написал, что наша жизнь на том и построена, что всякая бездарность как огня боится таланта и, как только заметит проявления его в любой области, сразу же, не дожидаясь губительных для себя последствий, начинает принимать меры; тут нельзя объяснить все одной завистью, а скорее могучим инстинктом самосохранения бездарности. Что же касается любви, то она, конечно, проявляется не в словах, но, когда люди находятся далеко друг от

друга, слова являются единственным способом подтверждения, что чувство не прошло и осталось прежним.

Глава тринадцатая

Мужичок попался тупой, но разумный по-своему. Он стоял перед моим столом, переступая с ноги на ногу, мял свой облезлый треух и смотрел на меня с досадой, как на дитя несмышленное, не понимающее самых простых вещей.

— Ну, хорошо,— сказал я.— Ты срубил в чужом лесу три сосны.

— Две.

— Допустим, две. Но ты знал, что лес не твой и сосны не твои?

— Знал, барин.

— Зачем же ты их рубил?

— Нужны были. Крыша течет. Балки менять надо.

— Что нужны были, я понимаю. Мне, может, нужна вот эта твоя шапка. Что ж я теперь, ее должен украсть у тебя?

Он молчит, смотрит на меня исподлобья.

— Ну, ладно,— говорю я.— Предположим, что у тебя вообще нет никакой совести и ты можешь у товарища стянуть последнюю рубаху. Но меня интересует: ты думал, когда сосны рубил, что тебя могут поймать?

— Думал, барин,— кивает он.

— И что же ты думал?

— Думал, барин, авось не пымают.

— Так вот же поймали. А теперь, что ж? В острог тебя придется посадить.

— Да уж не без этого,— соглашается он.

— И что же, тебе хочется садиться в острог?

— Нет, барин. Ужас как не хочется.

— Для чего же ты рубил эти сосны?

Он опять посмотрел на меня как на несмышле-
пыша и вздохнул:

— Так нужны ж были.

Приотворилась дверь, просунулась голова в пухо-
вом платке:

— Можно?

Я посмотрел и глазам своим не поверил:

— Вера!

Мужичонка стоял, переводя взгляд с меня на
Веру и с нее на меня.

— Сядь на лавку, посиди, я сейчас,— сказал я ему
и вышел за дверь.

Здесь мы обнялись и расцеловались.

— Господи, Вера! — сказал я. — Неужели это ты?

— Я.

За три месяца, которые мы не виделись, она стала
взрослее и строже.

— Я уж думал, что ты вообще забыла, что суще-
ствует где-то некий следователь Филиппов, состоя-
щий с тобой в родственных отношениях.

— Нет, я не забыла,— она улыбнулась спокойной
улыбкой.— Я об этом следователе всегда помнила. Но
тебя там ждут,— вдруг спохватилась она.

— Ничего,— сказал я,— подождет.

Улыбка сползла с ее губ и тут же вернулась на
место. Я смутился.

— Нет, понимаешь, я как раз хотел оставить его
одного, чтобы подумал. Упрямый мужик попался,
дальше некуда. И тупость невероятная.

— Разве он виноват в своей тупости?

Говорить на эту тему мне не хотелось.

— Ладно, радость моя,— сказал я,— мы с тобой об этом потом. Что у тебя?

— Видишь, вернулась.

— С Лидой?

— С Лидой.

— А что случилось?

— Что случилось? Ничего особенного, Алеша. Ты был прав. Ни один талантливый человек на своем месте удержаться не может. Лесгафта из университета выжили, студенты протестуют, другие профессора подают в отставку, и нам с Лидиной там тоже делать нечего.

Я огорчился:

— Как же быть дальше?

— Мы с Лидиной решили внять твоему совету и ехать в Цюрих. Поедешь с нами?

— Вопрос серьезный,— сказал я.— Так сразу его не решишь. Все-таки, понимаешь, у меня есть профессия, должность. Лишиться всего сразу.

— Алеша,— сказала она горячо.— Подумай, что у тебя за профессия. Наказывать этого мужика? За что? Что он такого сделал?

— Он рубил чужой лес.

— Но ведь это же все от невежества и от нищеты. Может быть, он даже не понимает, что этого нельзя было делать. Подумай о том, какую роль ты выполняешь. Ты на своей должности защищаешь сильных и казнишь слабых. Ведь если бы у этого мужика были деньги, разве он стал бы трогать чужое? Я тебя очень прошу, оставь ты это свое дело. Поедем в Цюрих, выучимся на врачей, построим больницу для бедных.

— А ты, я вижу, сильно переменилась за то время, которое мы не виделись,— сказал я.

Она улыбнулась:

— Нет, Алеша. Во мне кое-что было и раньше. До остального потом додумалась. Ну, поедем?

— Прямо сейчас?

— Чем раньше, тем лучше.

— Ну ладно. Ты меня подожди здесь, я закончу вопрос.

— Алеша! — остановила меня Вера. — У меня к тебе есть просьба. Дай слово, что исполнишь.

— Я должен сначала выслушать, о чем речь.

— Нет, ты дай мне слово. Даешь?

— Ну ладно, — сказал я. — Даю слово, потому что нет ничего такого, чего бы я не исполнил ради тебя.

— Алеша, — сказала она почти страстно, — я тебя очень прошу, отпусти этого человека. Ты ведь знаешь, это не он воровал, это нужда его воровала.

— Но он нарушил закон.

— Алеша, ты знаешь не хуже меня, что законы создаются людьми. Плохими людьми создаются плохие законы.

— Но лучше исполнять плохие законы, чем никакие.

— Алеша! — Она смотрела на меня глазами, полными слез.

— Ах, — махнул я рукой. — Ты меня толкаешь на должностное преступление.

Я открыл дверь в кабинет и застыл на пороге. Мужичонка, не видя меня, стоял перед пустым столом и, медленно жестикулируя, доказывал ему свою правоту.

— Оно-то конечно, ваше благородие господин следователь, дело вышло нехорошее. Потому что не поберегся. Надо было б мальчонку с собой взять, чтобы он поглядывал, не идет ли кто. А я один поехал. А топором когда тюкаешь, оно далеко слышно. У-ух как далеко! Ну, стало быть, и налетел этот управляющий.

Ну, виноват, попался.— Мужик широко развел руки в стороны.— Кабы мальчонку взял, так не попался б. А что до честности, ваше благородие, так ты кого хошь в нашей деревне спроси и тебе каждый скажет, что Фома, я то есть, человек самый честный.

— Если ты честный, зачем же ты чужой лес-то рубил? — спросил я.

— Да затем, говорю я тебе, что крыша текет! — мужик, осердясь, трахнул треухом по столу.

Он тут же вздрогнул, опомнился, перевел взгляд со стола на портрет государя, видно пытаюсь понять, кто задал ему вопрос — стол или государь. Потом оглянулся, увидел меня и насутился. Видимо, с пустым столом ему разговаривать было сподручнее.

— Ну вот что, Фома,— сказал я, садясь на свое место.— Хотел я тебя посадить в острог, да пожалел. Ребятишек твоих пожалел, а не тебя. Но в другой раз попадешься, смотри у меня.

— В другой раз, барин, не попадусь,— сказал он, глядя на меня честными глазами.

Глава четырнадцатая

И вот все. Мосты сожжены. Еще недавно был я солидным человеком. У меня была должность, с которой никто не имел права меня снять. Я сам отказался от нее. Я подал в отставку, и отставка принята. Кто же я теперь? Странствующий рыцарь, надеющийся стать студентом. Зачем? Допустим, я поступлю в университет, выучусь в нем, если не надоест, и стану доктором. Но доктором я стану не раньше, чем через пять лет. В самом лучшем случае. Причем заметьте, доктором начинающим. Мне двадцать восемь лет. При-

бавьте пять. В тридцать три года я смогу стать начинающим доктором. Правда, с этой специальностью в России я не пропаду. Но смогу ли я еще им быть? А впрочем, пожалуй, смогу. Меня уже не страшит ни вид крови, ни вид человеческих болезней. Я все это видел, будучи следователем. Но почему же я все-таки еду? Вовсе не потому, что мне захотелось менять профессию. А потому, что я люблю эту женщину с правильными чертами лица и одухотворенным взором. Я сам убедил ее, что женщина тоже должна узнать свое призвание и найти свое место в жизни.

И вот тройка с бубенцами, пароход, а теперь поезд, уносящий меня в тревожную неизвестность.

За окном мелькают привычные российские пейзажи. Лес, поле, крестьянин, лениво бредущий за сохой, которую тянет тощая лошаденка. Появляются и отходят назад бедные деревушки с курными избами, крытыми облезлой соломой, заплыванные деревянные вокзалы с пьяными и убогими, прикрытыми жалкими лохмотьями обрубками, безногими и безносыми — откуда их столько берется! — которые тянут к окнам кто руки, а кто культяпки:

— Пода-айте копе-е-ечку!

— Да зачем она тебе, эта копеечка?

— Погорельцы мы, барин, погорельцы. Изба сгорела, лошадь сдохла, детишек семеро, и все мал-маламеньше.

— Не слушайте их, ваше благородие. Погорельцы! Работать не хотят, вот и попрошайничают. А денег небось не меньше, чем у нас с вами. Трудиться надо, милая, бог труд уважает.

104 Меняются в вагоне соседи. Был купчишка не-
взрачный, первый раз ехал в поезде, удивлялся, как

он с этих железок не съезжает. Был лихой гвардейский поручик с грудным ребенком — молодая жена померла, оставила. Поручик вез потомка в деревню к родителям. Ребенок плакал, ходил под себя.

— Пардон, мадам! — поручик менял пеленки, безразлично топорщил усы.

Поручика сменил чиновник в вицмундире.

— Стало быть, учиться едете?

— Угу.

— Не поздно ли?

— Учиться, как жениться и повеситься, никогда не опоздается.

— Это верно. И на кого же, коли не секрет?

— На врача.

— Ну что ж, верное дело. Самая, можно сказать, выгодная профессия. Хотя ежели с умом, так на любом поприще можно отличиться. Возьмите, к примеру, меня. Я живу в Варшаве, служу делопроизводителем. Ну и что, живу! Не подмажешь, не поедешь. Придете вы ко мне какую бумагу оформить, я вам с улыбочкой: пожалуйста, рад стараться. А не подмажете, уж так расстараясь, что бумага ваша на одном месте пролежит без движения, покуда не пожелтеет. Вот так, а как же? Жить хочут все, а денег никому не хватает.

Был еще неопрятно одетый господин со щекой, раздутой чудовищным флюсом.

— А позвольте вас спросить, господин будущий доктор, кого и от чего лечить собираетесь?

— Да знаете, мы с женой решили, когда выучимся, построим в деревне бесплатную больницу для мужиков.

— Бесплатную больницу! А хлеба вы им бесплатного дадите? А может, вы мужика от труда его тяжкого разогнете? Тогда он и болеть не будет и боль-

ницы ему ваши не нужны будут совершенно. Не лечить мужика надо, а топор ему в руки дать, а уж дальше он сам полечится. Ну ничего, еще немного, еще годочков пять-шесть, а потом...

— Что потом?

— Ничего, господин будущий доктор. Вглядитесь внимательно в мое лицо. Вы еще увидите его на портретах.

От Москвы три станции проехал церемонный человек с сильно выпяченной грудью и выпученными глазами.

— Молодой человек, не угостите ли папироской,— подошел он ко мне.

Я угостил. Он закурил, поклонился:

— Благодарю вас, позвольте представиться. Литератор Скурлатский.

— Кандидат прав Филиппов,— отрекомендовался я.

— Далеко ли изволите ехать?

— В Швейцарию.

— На отдых?

— На отдых.— Мне наскучило вдаваться в подробности.

— Прекрасная страна,— мечтательно вздохнул Скурлатский.— Какие живописные виды. Между прочим, должен вам сказать, что из Женевы в Лозанну замечательнее всего путешествовать на велосипеде. Прекрасная дорога, прекрасный пейзаж, удовольствие необычайное. А какие люди! Совершенно другой дух. Свободные из поколения в поколение. Культура в самом последнем пастухе невероятная.

— Вы много раз бывали в Швейцарии?

— Бывал, как не бывать,— задумчиво сказал он,

пуская дым на оконное стекло.— Всю Европу объездил. Помнится, как-то с Николаем Васильевичем Гоголем поехали мы в Неаполь...

— Вы знали Гоголя? — заинтересовался я.

— Не только знал, но и был весьма дружен, — сказал он со сдержанным достоинством. — Особенно в последние годы, когда Николай Васильевич вообще сторонился людей, чуждых ему по духу. Он часто жаловался, что вокруг слишком мало людей, с которыми можно поговорить. «Для меня, — бывало говаривал он, — вообще уже никого не осталось. После смерти Пушкина только вы да еще два-три человека».

— А Пушкина вы тоже знали?

— Знавал и Пушкина, — вздохнул он. — Учились вместе в лицее.

— Позвольте, — не понял я. — Как это могло быть? Пушкину сейчас было бы за семьдесят, вам же на вид не более пятидесяти.

— Да, да, — покорно согласился Скурлатский. — Я просто раньше пошел учиться.

«Лет за двадцать до своего рождения», — отметил я про себя.

— А простите, какие же книги вы написали? Мне что-то ничего вашего не попадалось.

— Ничего удивительного, — скромно сказал Скурлатский. — Издавать книги — дело в наше время довольно трудное. Серьезные вещи не пропустит цензура, а писать что-нибудь на потеху нашей праздной публике — дело, извините меня, мало привлекательное.

— Но, однако, некоторые все же ухитряются говорить дельные вещи даже и через цензуру.

— В том-то и дело, что ухитряются. Но так можно и самого себя перехитрить. А если написать что-нибудь в полную силу, так где это напечатается? Разве

что в «Колоколе», а? — Он вдруг приложил руку к груди, выпучил еще большие глаза и засмеялся громким квакающим смехом.

Перестал он смеяться так же неожиданно, как начал.

— Да,— сказал он серьезно.— Литература — дело ответственное и тяжелое. Приходится иногда говорить нелिцеприятные вещи не только власти имущим, но и ближайшим друзьям. С Николаем Некрасовым два года не кланялся. Помните эту историю, когда он посвятил стихи Муравьеву, бывшему в то время председателем следственной комиссии по делу Караковского:

Бокал заздравный поднимая,
Еще раз выпить нам пора
Здоровье миротворца края...
Так много ж лет ему... ура!

Я тогда сказал: «Николай, я тебя понимаю, тебе нужно сохранить журнал, но даже ради такой цели называть палача миротворцем вряд ли стоит». А? Как вы считаете? После этого три года не разговаривали...

— Вы сказали — два.

— Я сказал: два года не кланялись. А не разговаривали три. И что вы думаете? Пошло ему на пользу. «Кому на Руси жить хорошо?» читали? Неплохая вещь, очень неплохая. С отдельными срывами, но неплохая. Кстати, не встречалась ли вам в «Сыне Отечества» моя статья об этом его сочинении?

— Нет, кажется, не попадалась,— смутился я.

— Жаль. За литературой надо следить. Впрочем, статейка у меня, кажется, случайно с собой... — Он полез в боковой карман и достал аккуратно сложенную, потертую по краям вырезку из газеты. — Да, вот она. С вашего позволения, я вам кусок зачитаю. Так.

109. Здесь я говорю сперва о рассказах Михаила (я имею

в виду Щедрина), а вот дальше... вот оно. «Что же затем касается до стихотворения г. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо?», то мы и продолжение его относим также к лучшим стихотворениям этого поэта, как и начало. Однако местами наш желчный поэт... Чувствуете определение: «желчный поэт»! ...наш желчный поэт стал уже пересаливать. Для примера возьмем описание ярмарки деревенской, когда в лавочку с книгами пришли офени. Юмор этой сцены, так сказать, деланный, неестественный, и остроумие тут натянутое. Она заканчивается несбыточным желанием:

Эх! эх! придет ли времечко,
Когда (приди желанное!...)
Дадут понять крестьянину,
Что розь портрет портретику,
Что книга книге розь?
Когда мужик не Блюхера
И не милорда глупого —
Белинского и Гоголя
С базара понесет?

Этого, конечно, я пропустить не смог и говорю: «Смело можно сказать, что такие времена вряд ли когда наступят, и мысль поэта о том, что когда-то наши крестьяне дойдут до того, что станут читать даже Белинского, напоминает собою те бредни, когда русский крестьянин представлялся неразлучным с «Илиадой» Гомера, читающим ее под ракиновым кустом и увлекающимся красотами этого, бесспорно, великого произведения». А? Каково?

Он снова выпучил глаза, перевел их с меня на Веру, с Веры на Лиду, приложил руку к груди и разразился таким громким квакающим смехом, что ребенок, которого женщина проносила на руках мимо нас, испугался и заплакал.

Глава пятнадцатая

Мы приехали в Цюрих серым апрельским утром. Моросил мелкий дождь. На привокзальной площади столпилось целая вереница фазтонов, фиакров, обшарпанных карет и открытых пролетов; извозчики понуро мокли на козлах в ожидании пассажиров. Не успели мы выйти из вагона и оглядеться, как к нам подошел маленький, невзрачного вида человек в котелке и пенсне.

— Молодые люди желают снять хорошие комнаты с видом на реку Лиммат? — спросил он по-немецки.

— Что он говорит? — спросила Вера.

Я перевел.

— Яволь,— сказала Вера.— Желаем, и даже очень.

— Вы русские? — насторожился человек.

— Да,— сказал я.— А что?

Он посмотрел на нас с сомнением и забормотал что-то нечленораздельное, из чего я понял, что жена его боится сдавать комнаты русским, потому что они занимаются политикой и за ними всегда ходят шпионы, присланные из России.

— Ну что ж,— сказал я.— Значит, вы не хотите нас брать?

— Нет, нет,— поспешно сказал он.— Я не против. А сколько комнат вам нужно?

— Три,— сказала Вера и показала на пальцах.

— Нет,— он покачал головой.— Три не годится. Возьмите пять.

— Но нам нужно только три,— сказал я.

— Может быть, вы возьмете четыре?

— Нет, три.

— Ну, ладно,— согласился он, хватаясь за самый большой чемодан.

Мы вышли на площадь.

— Битте! Битте! — закричал извозчик, сидевший на козлах роскошного фаэтона.

— Алеша,— сказала Вера,— давай найдем вон того, на пролетке. А то он сидит грустный, его никто не берет.

— Но ведь дождь,— сказал я.— Вы с Лидой промокнете. А зонтики, кажется, в этом тюке.

— Ничего,— сказала Лида,— не сахарные.

— И к тому же дождь, по-моему, кончается,— сказала Вера, выставляя вперед ладошку.

— Как хотите,— сказал я, и мы направились к пролетке.

Извозчик фаэтона, который терпеливо ожидал окончания наших переговоров, крикнул нашему будущему хозяину:

— Почему они хотят мокнуть под дождем?

— Они иностранцы,— объяснил хозяин.

— Тьфу — сплюнул извозчик на мостовую и закричал новым приближающимся клиентам: — Битте! Битте!

Хозяин пролетки так растерялся, что долго не мог поверить, что мы именно на его тарахтелке собираемся ехать. Поняв это, он поспешно, даже суетливо стал укладывать наши вещи. Ехать, как выяснилось, было недалеко, и мы пошли пешком за пролеткой. Дом, к которому привел нас человек в котелке, оказался, действительно, на самом берегу Лиммат. Это был довольно симпатичный двухэтажный особнячок со слегка облупившейся штукатуркой. На крутой деревянной лестнице нас встретила хозяйка, женщина могучего телосложения. Она держала в руках дымящуюся трубку и была похожа на морского разбой-

ника. Для полного сходства не хватало только усов и черной повязки на лице. Она стояла на ступеньке и смотрела на нас критически:

— Кого ты привел? — закричала она вдруг на своего невзрачного мужа, отчего тот съехался и стал еще невзрачнее.

— Это русские. Они будут учиться в университете, — сказал человечек робко.

— Мне все равно, где они будут учиться. Мне интересно, будут ли они платить вовремя деньги, — сказала хозяйка, затаившись и выпуская целое облако дыма.

Тогда вышел вперед я и сказал, что если комнаты окажутся подходящими...

— Для вас они вполне подойдут, — перебила меня хозяйка.

— Вот мы сначала и посмотрим. А если подойдут, то мы, пожалуй, можем заплатить вам вперед, — сказал я.

Хозяйка, ни слова не говоря, стала подниматься по лестнице. Мы, оставив вещи внизу, пошли за ней.

— Может быть, нам лучше устроиться где-нибудь в другом месте? — сказала Вера вполголоса. — Хозяйка, кажется, очень сердитая.

— Ничего, она только притворяется такой, — сказал я.

Мы поднялись на второй этаж. Хозяйка толкнула дубовую дверь и посторонилась, пропуская нас вперед. Мы вошли. За дверью была отдельная квартира из трех комнат с прихожей и кухней. Комнаты были большие, светлые.

— Ну как? — спросил я своих спутниц.

— Кажется, ничего, — сказала Вера.

— На первый раз сойдет, — кивнула Лида.

Хозяйка с видом полнейшего равнодушия, прислонившись к косяку двери, посасывала трубочку.

— Пожалуй, эта квартира нам подойдет, — сказал я ей, окончательно уяснив, что именно она и есть главное лицо в этом доме.

— Еще бы! — презрительно выпустила она клуб дыма.

О цене договорились быстро, и мы с хозяином стали перетаскивать вещи.

Весна была уже в полном разгаре. На горах еще кое-где лежал потемневший снег, а внизу стояла теплынь, и торговки на всех углах продавали нераспустившиеся тюльпаны.

На другой день после приезда мы все трое сразу пошли в университет, и ректор, пожилой человек в золотых очках, посмотрел бегло наши документы и принял нас без лишних формальностей. Я был рад, а Вера и Лида просто счастливы. Вечером купили бутылку шампанского и отметили начало новой жизни. Когда разлили шампанское по бокалам, я встал и спросил:

— Уважаемые дамы, рады ли вы, что черт занес вас вместе со мной в эту отвратительную горную страну, где цветут тюльпаны, а люди говорят на непонятном вам языке?

— Да, мы рады! — вместе ответили мои дамы.

— А кто первый подал идею, что вы должны ехать в эту отвратительную страну, где существам слабого пола не запрещают учиться с противоположными?

— Ты, — сказали они столь же дружно.

— Значит, за кого мы должны выпить?

— За тебя!

— Нет, мы должны выпить за тех, кто способен воспринимать идеи, какими бредовыми они ни казались бы с первого взгляда.

Лида, как самая экспансивная, трахнула бокал об пол, так что стекла разлетелись по всей комнате.

Вера хотела последовать примеру младшей сестры, но я ее удержал:

— Не следует злоупотреблять доверием нашей хозяйки. Может быть, это ее приданое, которым она в свое время соблазнила такого красавца, как наш хозяин.

В тот вечер мы много смеялись, а потом пели песни и угомонились только часу во втором, а по нашему, российскому, времени в четвертом.

В эту первую ночь в чужой стране я с еще большей остротой почувствовал, как люблю Веру. Ради нее я уехал из России, с ней одной были связаны теперь все мои надежды. «За что бог послал мне такое счастье? — думал я, глядя на нее. — И красива, и женственна, и умна...»

Глава шестнадцатая

Друг мой Костя!

Вот и забрался я за эти Кудыкины горы, оставив свой дом, свою профессию, для того, чтобы начать все сначала со студенческой скамьи. Да, я снова студент и сам не знаю, зачем мне это нужно. Изучаю медицину для того, чтобы на склоне лет стать доктором.

Условия здесь странные и совсем не похожи на те, которые мы привыкли наблюдать в нашей альма-матер. Народу здесь всякого много из всех стран, и занимаются в основном не ученьем, а разными революционными теориями. Кого ни спроси, каждый если

не лассальянец, то бакунист. В коридоре не дают прохода, то тащат тебя послушать какого-нибудь горлопана, то дерут с тебя деньги для испанской революции (что там за революция и для чего она нужна, никто толком не знает). То и дело подходят какие-то субъекты, предлагают подписывать всевозможные воззвания к народам и правительствам, требования и протесты. Я сперва подписывал, что давали, не глядя, потом надоело, и теперь не подписываю ничего, за что сразу был зачислен в ряды людей, презрительно называемых спокойно-либерально-буржуазными консерваторами, чем я, впрочем, вполне доволен. Кроме меня здесь есть еще несколько человек, зачисленных в ту же партию, с которыми я сошелся, но не очень близко, потому что они раздражают по-своему. Есть здесь такая пара Владыкиных, ей за сорок, а ему и того больше, да еще некая Щербачева, жена мирового судьи, они теперь составляют мою компанию. Нельзя сказать, чтобы время мы проводили особенно весело, вечерами играем в лото да ведем разговоры на общие темы, какие теперь ведут все российские интеллигенты, но, по моему теперешнему представлению, и в лото играть полезнее (хоть и мелкое, но все какое-то упражнение для ума), чем вдаваться во все эти революционистские теории, от которых только голова пухнет. Знаешь ли, я здесь о многом стал думать иначе. Я никогда не был ретроградом и сам еще недавно поклонялся тем же богам, но, видя, до каких крайностей доходят здесь мои однокашники, как перепуталось все в их бедных головах, поневоле становлюсь с каждым днем все умеренней, и на все, что тут происходит, смотрю печально. Все эти теории лишь с первого взгляда кажутся верными, и все кажутся неправильными со второго взгляда. Но на молодые головы они действуют самым одурачивающим образом, осо-

бенно на головы лиц прекрасного пола. Кружки растут как грибы. Молодежь взбудоражена. Коридоры университета оклеены всяческими воззваниями и прокламациями, которые служители не успевают сдирать. Вчера в вестибюле напротив дверей висел огромный плакат: «Позор!» Кому позор и за что, никто не знает, да это и неважно, важно что-нибудь провозгласить. Каждое крамольное слово действует, как электрический разряд. Когда повертишься среди студентов, так кажется, что завтра уже произойдет мировая революция. Все это было бы смешно, да, к сожалению, боюсь, как бы революция эта не разразилась в первую очередь в нашей семье. Верина сестра Лидинька завела себе подруг, которые ни о чем другом говорить не желают (и, что ужаснее, уже не могут), как только о равенстве. Равенство рас, равенство всех сословий, равенство мужчин и женщин. Я и сам, как тебе известно, сторонник равенства. Но можно взывать к нему в условиях нашей российской действительности или развивать его благородную идею перед молодой, неопытной душой и в то же время противостоять тому бешеному напору, который любую благородную идею может преувеличить до абсурда. Здесь нет противоречия, ибо равенство может быть только в пределах разумных. Сама природа определила границы, которые переступить невозможно.

Лидинька, кажется, уже начинает свихиваться. Вместо того чтоб читать учебники или хотя б романы, читает всяких социалистов, от Маркса до Кампанеллы, и все, без разбору, ей кажется чрезвычайно умным. Что до Маркса, то я его не читал, а Кампанеллу перелистал, заспорил: что тебе, говорю, этот Кампанелла? Неужели тебе такое устройство, которое он предлагает, нравится? Нравится, говорит. А вот, я

говорю, ты детей рожать не хочешь, а Кампанелла велит. Женщину, говорит, худую надо сочетать с мужчиной полным, полную с худым, высокую с низким, и наоборот. Ты б хотела, чтоб тебя так сочетали? Обиделась, надула губки.

Однако никакие здравые доводы ни на кого не действуют, иногда думаю, уж не я ли сам сошел с ума? В библиотеке попросишь какую-нибудь беллетристику или стихи, смотрят на тебя как на ненормального. Лассалья, пожалуйста, сколько угодно, «Колокол» в любом количестве, а ежели Пушкина начнут искать, то, пожалуй, и не найдут. (А я, признаюсь, именно здесь и вошел во вкус. Не знаю, не из чувства ли противоречия? А впрочем, нет, не стану возводить на себя напраслину. Здесь, далеко от дома, особенно чувствуешь обаяние этого истинно русского поэта; да и вообще начинаешь подходить к литературе совсем с другой стороны.) Еще здесь все читают сейчас «Бесов» Достоевского, и все ругают. Между прочим, Нечаев, про которого, говорят, написал Достоевский, по слухам, находится тоже в Цюрихе, скрывается от русской полиции, представленной здесь весьма широко.

Вот, мой друг, в каком клубке имею я удовольствие проживать в настоящее время. Чем дело кончится, не знаю, но чувствую, идет к нехорошему.

Хотелось бы мне очень увидеть тебя теперь и обсудить толково все, о чем пишу так длинно и смутно. А когда приведется?

Твой Алексей.

Глава семнадцатая

Михаил Николаевич Владыкин, пензенский помещик и бывший актер, приехал в Цюрих за своей женой, которая на старости лет, как он говорил, стала мучиться блажью, то есть решила посвятить себя медицине. В самом деле, Леониде Яковлевне было уже за сорок; рядом с девятнадцати-двадцатилетними студентами она, действительно, казалась если и не старухой, то женщиной весьма почтенного возраста. Супруги пытались держать себя со всеми на равной ноге, и я держался с ними на равных и гсворил Владыкину «ты», по для Веры и Лиды дистанция была непреодолимой. Тем не менее Владыкины часто бывали у нас, а мы у них, к нашей компании иногда присоединялась Щербачева, и вшестером мы коротали вечера, играя в лото или стуколку. Тот вечер был «лотошный». Леонида Яковлевна «кричала», то есть держала в одной руке парусиновый мешок, запускала в него другую руку, унизанную несколькими перстнями да еще браслетом черного серебра, доставала фишки или кости, уже не помню, как они называются, и выкрикивала номера. Мы сидели за круглым столом каждый перед своей карточкой и, кто монетой, кто спичкой, кто обрывком бумажки, закрывали совпавшие номера. Все шло тихо и мирно, пока Щербачева вдруг ни с того, ни с сего не высказалась в том духе, что, дескать, все студенты повально занимаются политикой, сами не учатся и мешают учиться другим. Разговор, естественно, пошел по этим рельсам, Лида сказала, что со своей подругой Варей Александровой видела недавно на улице Бакунина.

— У него такие сверкающие глаза и целая грива волос. Он похож на льва.

— Этих львов, кажись, нынче начали отлавливать,— сказала Леонида Яковлевна, запуская руку в мешок.

— Это в каком же смысле? — насторожилась Лида, почувствовав какой-то подвох.

— Говорят, швейцарская полиция арестовала Нечаева и собирается выдать русским властям. Тридцать четыре,— сказала она, посмотрев на очередную фишку.

— Не может быть! — в один голос сказали Лида и Вера.

— Почему же не может быть? — спросила Владыкина.

— Потому что... потому что... Я кажется выиграла,— сказала Лида.— Потому что швейцарское правительство революционеров не выдает.

— В том-то и дело,— Владыкина положила мешок на стол,— что его выдали не как революционера, а как уголовного.

— Разве можно его считать уголовником? — спросила Вера, посмотрев на меня.

— Видишь ли,— сказал я,— если даже убийство совершается по политическим мотивам, действие это все равно уголовное.

— И все-таки подло выдавать его как уголовного преступника,— сказала Лида.

— Не подлее, чем заманить своего товарища в темное место и там убить,— пожала плечами Владыкина.

— Мы про это ничего не знаем. Если и убил, то, значит, нужно было для дела.

Не думаю, чтобы эти Лидины слова можно было тогда принимать серьезно. Должно быть, оговорилась, не найдя подходящего довода в свою пользу. Но я помню, как переменилось тогда лицо Леониды Яков-

левны, с каким изумлением глянула она на свою юную оппонентку.

— Ну, милая моя,— сказала она с расстановкой,— эдак-то вы далеко пойдете. В чем же польза такого дела, ради которого человека нужно убить?

Лида и сама почувствовала, что перехватила в споре, но уже не могла сойти со своей позиции.

— В конце концов, у каждого человека могут быть ошибки.

— Ошибки? — взвилась Владыкина. — Заманить товарища в какой-то грот, душить его, стрелять из пистолета, а потом привязать к шее камень и утопить в пруду — это уж, извините меня, ошибка, которую совершали так обдуманно, долго и последовательно, что можно было бы и опомниться. Если вы хотите знать, кто ваш Нечаев, почитайте новую вещь Достоевского, «Бесы» называется, там все про это правильно сказано. Небось не читали?

— Буду я еще читать всякую дрянь,— обиделась Лида.

— Напрасно вы так отзываетесь,— улыбнулся Михаил Николаевич своей обычной виноватой улыбкой. — Очень занятная вещь. Я сам, поддавшись общему впечатлению, сначала плевался, а потом не мог оторваться, так здорово все накручено.

— Михаил Николаевич,— с упреком сказала Лида. — Вы тоже считаете Нечаева уголовником?

— Да я вам не про Нечаева, а про «Бесов».

— А я вас спрашиваю про Нечаева.

Не из беспринципности, а по доброте, не желая никого обидеть, Михаил Николаевич с ответом не спешил.

— Ну, не мнись! — прикрикнула на него жена. — Ты взрослый человек, тебя спрашивает молодая девушка, отвечай, как думаешь.

— Конечно, конечно, Ленечка,— заторопился Владыкин.— Мы, старшее поколение, должны прямо отвечать на вопросы. Видите ли, Лидинька, то, что сделал Нечаев, конечно, нельзя сказать, чтобы было хорошее дело... То есть я хотел сказать, что с нравственной стороны... А впрочем, вы же знаете, что мнение моей жены есть мое мнение.

Щербачева отвернулась. Я засмеялся. Владыкина рассердилась.

— Не строй из себя дурака! — закричала она.— Тебя спрашивают серьезно, так ты серьезно и отвечай. А впрочем, от тебя все равно серьезного ответа никогда не добьешься. Что же касается Достоевского,— повернулась она опять к Лидиньке,— то я считаю, что он совершенно прав: все эти ваши Нечаевы и прочие революционеры и есть настоящие бесы.— От Лидиньки она повернула лицо ко мне.— Вы со мной не согласны, Алексей Викторович?

— Нет,— сказал я твердо,— я с вами не согласен. Я по своим убеждениям не за революцию, а скорее за эволюцию, но я против того, чтобы судить какую-то категорию людей огулом. Я за то, чтобы каждого отдельного человека судить отдельно по совершаемым им лично делам.

— Ну конечно,— сказала она,— вы судья, это называется.

— Возможно,— согласился я, стараясь этот спор притушить.

Но тут вступила в разговор молчавшая до сих пор Щербачева.

— Милая Лидинька,— сказала она с материнскими нотками в голосе.— Зачем вы спорите? Для чего вам нужна революция? Вы хотите освободить народ? Да этот же ваш народ чуть что вас же первых на первой осине и вздернет.

— Нет, меня он не вздернет! Это он вас вздернет! Лицо Щербачевой перекопилось. Она развела руками.

— Ну, знаете ли, это уже слишком. Зачем же переходить на личности!

— Поскольку спор наш заходит в тупик,— сказал я, поднимаясь,— нам пора расходиться.

Происшедшее у Владыкиных было неприятно для всех. Вера и Лида долго шли молча, и только уже у самого дома Лида вдруг остановилась и спросила:

— Алеша, где можно достать пистолет?

— На что он тебе? — удивился я. — Уж не собираешься ли ты вызвать па дуэль Леониду Яковлевну?

— Нет. Я хочу напасть на полицию и отбить Нечаева.

— Что? — я просто опешил от ее слов. — Ты думаешь, что ты говоришь?

— Да, я думаю. Я хочу напасть на полицию и отбить Нечаева.

Вмешалась Вера.

— Лида,— строго сказала она,— если ты вздумаешь это делать, я пойду с тобой.

Она встала рядом с младшей сестрой. Даже в темноте было видно, что глаза у обеих сверкают решимостью. «Господи! — подумал я в ужасе. — Ох, и нахлебаюсь я еще с ними!»

Дня два еще Лидинька мучилась своей блаженной мыслью достать пистолет и напасть на полицию, потом как будто остыла. На какое-то время жизнь вошла в свою колею: лекции, библиотека, вечерние прогулки.

Как-то, задержавшись в библиотеке, я вернулся домой позже обычного. Еще поднимаясь по лестнице, я услышал оживленные голоса. Открыв дверь, я застал Веру и Лиду стоящими посреди комнаты. Видно,

они о чем-то спорили и при моем появлении замолчали. Обе они выглядели расстроенными, мне даже показалось, что глаза у Лиды заплаканы.

— В чем дело? — спросил я и заметил в углу у двери саквояж желтой кожи.

— Лида уходит от нас, — тихо сказала Вера.

— Уходит? — я ничего не понимал. — Куда?

— Да ну ее! — в сердцах сказала Лида. — Развела тут целую трагедию. Как будто я ухожу из жизни. А я ухожу всего-то на соседнюю улицу.

— Зачем? — спросил я.

— Ой! — капризно поморщилась она. — Надоело объяснять. Понимаешь, Алеша, ну что с того, что я живу с вами? Вы как-то вдвоем, у вас семья, а я — третий лишний.

Я пожал плечами.

— Не знаю, — сказал я. — Ты, конечно, вправе поступать, как тебе удобнее, но ни я, ни Вера, кажется, не давали тебе повода чувствовать себя лишней. Мы все время считали и себя и тебя одной семьей.

— Да, конечно. И это действительно так. Но все-таки вы муж и жена. У вас все вместе, общая жизнь, общие интересы, а я ни при чем.

— И куда же ты решила уйти?

— Меня подруги к себе зовут. Там у них как раз комната освободилась. — Она избегала встретиться со мной взглядом. — И вообще, какая разница, где я буду жить? Все равно мы в одном городе, в одном университете, все равно будем видеться каждый день. Алеша, ты ей скажи, чтобы она не расстраивалась. Так правда будет лучше.

— А что за подруги? — спросил я.

— Ты их не знаешь. А может, и встречал на лекциях. Соня Бардина, Бетя Каминская, Варя Александрова, еще кое-кто.

— Алеша,— сказала Вера.— Но ведь правда же это глупо. Мы все-таки свои, близкие люди, а она вдруг пойдет куда-то, к каким-то подругам. А что я маме напишу?

— А ты ей ничего не пиши. Алеша, ну скажи ей, что в этом нет ничего такого.

— Не знаю,— сказал я.— Решайте этот вопрос сами, а я умываю руки.

— Вот видишь,— обрадовалась Лида.— Он умывает руки, а я беру саквояж. Верочка, милая, не сердись, я буду вас навещать каждый день.

— Подожди,— сказал я.— Я тебя провожу.

— Нет, не надо. Саквояж легкий, я донесу сама.

Она поцеловала Веру, чмокнула в щеку меня и выпорхнула за дверь.

Теперь глаза Веры наполнились слезами. Я подошел, обнял ее.

— Ну что ты? — спросил я.

— Лиду жалко.

— Да чего ж тебе ее жалеть? Ей там с подругами будет веселее.

— В том-то и дело,— сказала она.— Ей с нами было плохо. Она с нами чувствовала себя, как чужая.

Что касается меня, то я в Лидином уходе не видел ничего ужасного, тем более что мы продолжали видеться постоянно в университете, в библиотеке, да и у нас она бывала почти ежедневно. В один прекрасный день она привела с собой рослую девушку с озорными глазами и ярким румянцем на пухлых щеках.

— Бардина,— протянула мне руку гостя.— Софья Илларионовна. Некоторые зовут меня Тетка. Так что как вам удобнее.

124 Чувствовала она себя в чужом доме свободно или, может быть, делала вид, что чувствует свободно.

Обошла всю квартиру, осмотрела все книги.

Впоследствии я заметил, что у большинства нигилистов есть привычка — входя в дом, обсматривать книги. Таким путем они, должно быть, составляют мнение о хозяине.

— Значит, вы здесь вдвоем занимаете три комнаты?

— Вы считаете, что это слишком много? — спросил я.

— Да, немало.

— А вы, что же, всегда ютились в убогих каморках?

— Нет, зачем же. Я ютилась в усадьбе родителей в Тамбовской губернии, а потом и в самом Тамбове в собственном каменном доме в три этажа. Но если сказать вам правду, я не считаю, что имела на это право.

Я попытался свести ее с этой тропы.

— Вы учитесь тоже на медицинском?

— Нет, я учусь на агрономическом.

— Вы хотите быть агрономом?

— Пожалуй, что нет.

— А почему же вы тогда выбрали именно агрономический?

— По глупости. Видите ли, я рассчитывала стать агрономом, чтобы помогать крестьянам грамотно вести земледелие.

— А теперь вы решили, что им помогать не нужно?

— Нет, почему же. Но всякая там агрономия и медицина — это только мелкие меры, в то время когда надо всю жизнь перевернуть.

— И вы думаете, что именно вы это и сделаете?

— Ну почему же так уж прямо и я! Таких, как я, многие тысячи. И если мы все поменьше будем 125

вести либеральные разговоры, а соединим свои усилия...

— Если все, то конечно. Но ведь так не бывает, чтоб сразу все. Ведь если разобраться поглубже, то и вы с вашими товарищами единомышленники только попервоначалу, а потом, когда дойдет до практического дела, то окажется, что каждый из вас вовсе не то видел, что другой. И начнете вы свой воз тащить, как лебедь, рак и щука, в разные стороны, и придете к тому, от чего шли, только уже без сил и без удовольствия.

— Возможно.— Она продолжала рассматривать книги.— Пушкина читаете?

— А вы его, конечно, не признаете?

— Нет, отчего же! Писать умеет, но это никому не нужно.

— Мне, например, нужно.

— И вам не нужно. Это вы себе просто внушили. «Так думал молодой повеса, летя в пыли на почтовых...» Какое мне дело до того, что думал какой-то повеса!

— Ну, конечно, вы поклонница Писарева.

— Да, а разве нельзя?

— А кроме Писарева вам кто-нибудь еще нравится?

— Кое-кто нравится. Могу перечислить. Хотите?

— Зачем? Я и сам могу. Писарев, Чернышевский, местами Добролюбов, Некрасов, из Тургенева «Отцы и дети» и «Рудин». Еще «Один в поле не воин» Шпильгагена...

— Это было, но прошло.

— Вместе с «Болезнью воли» Феофиста Толстого.

Она задумалась, улыбнулась и вдруг подмигнула мне не кокетливо, а озорно:

— А вы не дурак!

- Я рад, что вы это заметили.
- Нет, я вам серьезно говорю.
- А я серьезно соглашаюсь. Сам всем этим болел.
- Теперь выздоровели?
- Во всяком случае, потихоньку оправляюсь.

Раньше я, точно так же как вы сейчас, отвергал Пушкина и ставил сапоги выше Шекспира. Раньше я тоже считал ценной только литературу, которая открывает нам какие-то истины, но потом понял, что никакой отдельной истины нет, а истина — это вся жизнь со всем, что в ней есть хорошего и дурного, разумного и глупого.

— И все же я предпочитаю книги, которые вызывают в людях активный протест, показывают, как жить и против чего бороться. А ваш Пушкин, кроме двух-трех стихотворений и «Истории Пугачевского бунта», не написал ничего путного. Все только говорят: «Евгений Онегин», «Евгений Онегин», а я не верю, что есть хоть один человек, который прочел эту вещь до конца. Да и какая польза в «Онегине»?

— Что понимать под пользою. Если считать лес только запасом дров, то, может, и лучше каменный уголь. Но лес — это красота и богатство жизни, а уголь только мертвый камень, не дающий нам ничего, кроме жара.

Глава восемнадцатая

Сейчас, восстанавливая в памяти прошедшее, я пытаюсь понять: когда же я потерял Веру? Когда наступил тот перелом, который сделал нас чужими? Разумеется, в значительной степени этому способствовала сама атмосфера в университете и за его пределами, насыщенная до предела самыми крайними ниспровер-

гательскими идеями. Но ведь я тоже жил в той атмосфере. Почему же одни и те же влияния оказали на нас столь разное действие?

Все большую роль в Верной жизни занимала Бардина. Каждый раз после общения с нею Вера приходила домой задумчивая и всякий наш разговор переводила на политические темы. Я ей о том, что из дому денег давно не шлют и нечем платить за квартиру, а она мне о том, что мы и так проживаем слишком много денег, которых не заработали, которые добывает за нас своей непосильной работой русский мужик. Я ей, допустим, говорю, что устал, готовясь к экзамену, а она мне отвечает, чтобы я подумал, как устает мужик, который от зари до зари, не разгибаясь, идет за сохой, получая за это нищенскую плату.

Однажды, помнится, я рассердился.

— Да что ты,—говорю,—меня своим абстрактным мужиком укоряешь? Ведь кроме этого мужика, самодержавия, капитализма и социализма есть еще мы с тобой — два молодых человека, у которых своя жизнь, свои устремления. Мы с тобой все равно не сможем переделать всю жизнь в мировом масштабе, давай как-то построим ее между нами двумя.

Как всегда, она заспорила:

— Как же можно смотреть равнодушно на то, что мир устроен несправедливо?

— Конечно, несправедливости должны возмущать каждого, в ком есть совесть,—отвечал я.— Но для того, чтобы браться перекраивать мир, надо слишком хорошо о себе думать, надо верить в свои силы и в то, что ты имеешь право навязывать другим тот образ жизни, который считаешь правильным.

128 Страшное дело, когда я говорил с Верой, все мои доводы казались мне убедительными и даже бесспор-





ными, но наедине с самим собой я начинал сомневаться. Настолько ли я прав, как мне кажется? Вера — натура цельная. Если уж она исповедует какие-то убеждения, то непременно стремится проводить их в жизнь. А я? Может быть, я просто боюсь взглянуть правде в глаза и прячусь от нее за ширмой красивых слов?

Как сейчас, помню тот вечер, когда, вернувшись от Владыкиных, я не застал ее дома. Часов до восьми я был спокоен, к девяти начал волноваться, с десяти стал выбегать на улицу. В двенадцать я уже места себе не находил, к часу подумал, что надо обратиться в полицию, но решил подождать до двух и заснул, сидя за столом.

Проснулся я от какого-то шума на улице. Выглянув в окно, я увидел несколько фигур и разобрал отдельные слова, выкрикиваемые звонкими женскими голосами:

— Нормальный!

— Ненормальный!

— Тетка, спокойной ночи!

Последний голос был Верин.

Я прикрутил в лампе фитиль, быстро разделся и лег в постель. Услышав шаги на лестнице, отвернулся к стене и притворился спящим. Она вошла на цыпочках и остановилась, я почувствовал, посреди комнаты. Я лежал с закрытыми глазами.

— Э! — позвала она шепотом.

Я молчал, отвернувшись к стене.

— Алеша, не притворяйся, ты ведь не спишь.

— Да, я не сплю, — повернулся я, — потому что уже третий час, я не сплю, волнуюсь, не знаю, что подумать.

Она села на кровать рядом со мной:

— Ну не сердись.

— Я не сержусь,— сказал я,— но если ты собираешься ночевать где-то в другом месте, надо хотя бы предупредить.

— Да я не собиралась,— вздохнула она.— Понимаешь, встретила Тетку, она позвала меня на женский фереин.

— Что это еще за фереин?

— Да так, наши студентки решили организовать свою компанию, чтобы выступать друг перед другом с рефератами, обсуждать, спорить, потому что женщины при мужчинах чувствуют себя скованно. Я сначала не хотела, а потом думаю, отчего ж не послушать, что там говорят. Забежала домой, тебя нет, ну, думаю, посижу там немного, а потом вернусь, но там было так интересно. И вот приходим, большая комната, длинный, покрытый скатертью стол. Эмме садится во главе стола и спрашивает: «Господа, для начала мы должны избрать председателя. Какие будут предложения?» Все стали кричать «Эмме! Эмме!» Потом встает Роза и говорит: «Господа, мы учреждаем этот фереин для того, чтобы дать возможность женщинам научиться логически мыслить и говорить. Мне кажется, что будет лучше всего, если мы будем писать рефераты, читать их и обсуждать». Согласились. Теперь, говорит, мы должны решить, из кого должен состоять наш фереин. Из одних только женщин или можно приглашать мужчин? Сразу поднялся такой базар, все кричат, все ругаются. Одни говорят, что мужчины будут нас отвлекать. Другие говорят, если мы будем сейчас собираться без мужчин, то потом, когда придется выступать при мужчинах, мы все равно будем стесняться. Так раскричались, что у одной итальянки кровь из носа пошла.

— Ну и что решили?

— Решили все-таки собираться без мужчин.

— Революционный женский монастырь, — усмехнулся я. — Ну, и что было дальше?

— Дальше Роза прочла реферат о самоубийстве.

— О чем?

— Ну, она в своем реферате доказывает, что самоубийство может быть только результатом ненормальной психики.

— А с чего вдруг возникла такая тема?

— Не знаю, — растерялась Вера. — Просто так. А ты как считаешь: человек, лишаящий себя жизни, нормальный или нет?

— Я считаю ненормальными тех, кто до поздней ночи обсуждает такие глупости и не дает спать другим.

Собственно говоря, с этого женского, пропади он пропадом, ферейна пошла наша жизнь наперекося, хотя поначалу еще и не так заметно. Так, бывает, лошадь, запряженная в телегу, бежит под уклон, сперва просто быстро бежит, то есть обыкновенно быстро, и еще не страшно, а вот глядишь, уже разогналась и не может остановиться.

Однажды я застал Веру за чтением какой-то тетрадки. На мой вопрос она сказала, что подруга ее, Вера Александрова, просила прочитать к очередному ферейну ее реферат.

— Ну и как?

— Очень интересно, — сказала она. — Можешь почитать, если хочешь.

— Особого желания не испытываю, а впрочем, оставь. На сон грядущий отчего и не почитать.

Перед сном я действительно взял эту тетрадку и полистал. Кажется, сие сочинение называлось «Бунт Стеньки Разина» или что-то в этом духе. Сейчас я уже

не помню, что там, собственно, говорилось, но помню, что написано было шаблонными фразами и изобиловало междометиями. Разин, конечно, изображался, как могучий вождь народных масс. Бунтарь и разрушитель.

Утром за завтраком я уклонился от высказывания своей оценки, но, когда Вера все же не выдержала и спросила, что я думаю об этом труде, я сказал, как думал, что реферат показался мне малоинтересным, вернее, вовсе неинтересным, написан он языком дурным и бесцветным. А что касается деятеля, который здесь описан, то это скорее, пожалуй, кто-нибудь из нынешних революционеров, может быть Бакунин, только не Стенька Разин.

— Может быть, ты и прав,— сказала Вера, подумав,— но я не считаю это недостатком. Понятно, что исследователь, беря исторический факт, использует его для передачи своих современных мыслей.

— Все это справедливо,— сказал я,— но только до тех пор, пока исторические события не переиначиваются в угоду современным мыслям исследователя.

— Ну а как же исследователь может использовать исторические факты, если они не соответствуют его мыслям?

— Если исторические факты не соответствуют мыслям исследователя,— сказал я,— исследователь должен изменить мысли, а не факты.

Она опять замолчала. Мне казалось, что сказанное мной бесспорно, но я чувствовал, что она замолчала не потому, что согласилась, а потому, что опять сочла меня человеком с отсталыми взглядами, против которых нечего даже и возражать.

Реферат о Разине они опять обсуждали чуть ли не до утра. На этом, кажется, их фрейн и закончился. Но зато начался период «фричей». Некая Фрич была хозяйкой дома, где жила Бардина со своими подругами. По имени этой Фрич и стали называть всю компанию. Деятельность «фричей» вскоре стала весьма заметной. Основание новой библиотеки, покупка Русского дома (то есть дома для русских студентов) — все эти идеи исходили оттуда. Я, как закоснелый ретроград, и к тому же ретроград мужского пола, приглашен в эту компанию не был.

Глава девятнадцатая

Дорогой мой, далекий Костя! Извини, дружище, что долго не писал, было мало времени и много лени. Новостей у меня никаких нет. Не считая того, что я нахожусь фактически на грани развода со своей женой. Представляю себе твое удивление, твой немой вопрос, обращенный ко мне: как же так? А вот так. Всякому неженатому скажу: не женись никогда на девушке, одержимой высокими идеями, ни к чему хорошему это не приведет. Женись на простой девушке, чьи помыслы не идут дальше устройства семейного гнезда и рождения детей, так оно будет вернее. На свою беду, я эту истину осознал слишком поздно. Проклинаю тот день и час, когда я решил ехать за эти Кудыкинны горы. Обстановку, царящую здесь, я тебе уже обрисовывал. Но, правду сказать, не думал я, что все это коснется меня так непосредственно и станет причиной разрушения нашей семьи. Была у меня жена — молодая, красивая, а стала бакунистка или лассальянка, уже не знаю даже, кто именно. Послед-

нее время в семье у нас уже нет никаких других разговоров, кроме как о положении народа в России. Впрочем, семьи, в настоящем понимании этого слова, у нас уже нет. Жену свою я чаще вижу в университете, чем дома. Вечера, а то и все ночи, проводит она в обществе своих здешних подруг, о которых я тебе уже сообщал. Не знаю, произойдет ли в России когда-нибудь революция, у нас в семье она уже почти произошла. Чем больше мы здесь живем, тем холоднее и даже враждебнее становится ко мне моя Вера. Часто в душу мою закрадывается сомнение. Может быть, она права? Но путь, на который она становится, может выбрать для себя только сильный человек, а я в себе такой силы не чувствую. Она понимает это и, кажется, начинает испытывать ко мне просто презрение.

Еще зимою планировали мы поехать на весенние ваканы в Россию. Посетить в Петербурге Екатерину Христофоровну (после смерти Николая Александровича и нашего отъезда за границу она переехала в столицу вместе с младшими детьми), а затем податься в Казань присмотреть место и подыскать средства для устройства больницы. Однако недавно Вера объявила мне, что со своими подругами и сестрою едет отдыхать и осматривать красоты Швейцарии, а также заодно посетить Невшаталь, где есть секция какого-то Интернационала. На мой вопрос: «А почему бы нам не поехать вместе?» — она сказала, что едет с подругами, которые все не замужем, и мое присутствие будет им неприятно. Я, понятно, наговорил ей грубостей в том смысле, что она замуж выходила не за подруг, а за меня, и должна выполнять связанные с этим фактом обязанности. После этого она надулась и молчала два дня, а на третий высказала мысль, что муж и жена должны время от времени разъез-

жаться в разные стороны, чтобы не надоест друг другу. Из всего сказанного я заключил, и не без основания, что мне не грозит опасность надоест ей, потому что я ей уже надоел. Вчера они действительно уехали, и я проводил ее на вокзал. При этом она меня сторонилась и поглядывала на своих спутниц виновато, как бы давая понять, что я сам навязался. Когда же наступил момент прощанья и я обнял ее, желая все же расстаться по-хорошему, она, явно стесняясь своих подруг, торопливо поцеловала меня в щеку и тут же высвободилась из объятий, которые были ей неприятны, и побежала в вагон, из которого даже не выглянула.

Конечно, здравый рассудок подсказывает, что при таких обстоятельствах ничего не остается более делать, как разводиться, но я люблю ее, свою мисс Джек-Блек, и сердце мое разрывается от всего этого.

Вот, мой друг, какую грустную историю я тебе поведал. А теперь расскажу о своей встрече с самым загадочным человеком нашего времени.

Вчера я отправился в одно захудалое кафе, где мы договорились встретиться с моим здешним приятелем Владыкиным (о нем я тебе, кажется, писал прошлый раз).

На одном перекрестке я вдруг заметил странное оживление. Здесь толпились какие-то люди, в основном студенты. Было ясно, что они чего-то ждут. Тут из-за угла быстро выехала полицейская карета. Какой-то взлохмаченный молодой человек, нашедшийся внутри ее, обеими руками вцепившись в прутья решетки, кричал на всю улицу.

— Я революционер, а не уголовный преступник! Швейцарское правительство отдает меня в руки убийцам! Я требую свободы и гласного суда!

В это время карета остановилась, потому что кто-

то из студентов кинулся под ноги лошадям. Теперь лицо того, кто находился внутри, было мне хорошо видно. Длинные волосы, безумные темные злые глаза и тонкие губы. Сказать правду, лицо его показалось мне отталкивающим.

— Кто вы? — спросил я, хотя сам уже догадывался.

— Я Нечаев! — сказал он резко.

Готовый услышать именно этот ответ, я все же вздрогнул.

Он сразу уловил эту мою реакцию и заговорил быстро, страстно.

— Ага, знаешь меня! Знаешь и стоишь! Равнодушно смотришь, как везут на убийство русского революционера! Дай закурить! — попросил он все в том же истерическом тоне.

Я поспешно достал из кармана подаренный батюшкой серебряный портсигар, раскрыл, сунул ему в окошко, думая, что он возьмет одну или две папиросы. Но он жадно выхватил у меня весь портсигар и посмотрел на меня еще более злыми глазами.

— Тыфу, сволочь! — плюнул он в меня, но я увернулся. — Папиросами хочешь отделаться! Драться надо с самодержавием!

Тем временем препятствие устранили. Дюжий полицейский отшвырнул в сторону бунтующего студента, а сам вскочил на запятки быстро рванувшей с места кареты.

Вот как революция отобрала у меня сперва жену, а потом еще и портсигар. Впрочем, портсигара не жалко. На потерю его я смотрю как на плату за эту удивительную встречу на перекрестке.

Пиши мне пока по прежнему адресу, хотя, думаю, события моей жизни поворачиваются таким образом, что скоро мы увидимся лично. Слышал я, что

в Казани должно освободиться место секретаря окружного суда, будь добр, разузнай, не могу ли я претендовать на это место. Князь Шаховской когда-то относился ко мне с симпатией, авось (ежели он, конечно, состоит в прежней должности) и сейчас сможет оказать содействие в возвращении моем на прежнее поприще.

За сим позволь откланяться в вынужденной надежде на скорое свидание.

Твой Алексей.

Глава двадцатая

С окончанием весенних каникул Вера вернулась в Цюрих. Отношения между нами были по-прежнему натянуты. Но я еще не знал, что в местечке Лютри Вера вступила в тайное общество и дала обещание своей сестре Лидии порвать отношения с мужем, чтобы иметь возможность целиком посвятить себя революции и борьбе за благоденствие грядущих поколений. Теперь ей нужен был только случай, чтобы выполнить свое обещание, и случай этот вскоре представился. Вернее, я сам его поторопил. Когда очередной раз Вера вернулась после ночи, проведенной среди «фричей», я решил объясниться с ней безотлагательно. Я прямо спросил ее, любит она меня или нет.

Вера смутилась:

— Видишь ли, Алеша, я тебя очень люблю, но...

— Люблю, но не люблю,— прервал я.— Соломки мне подстилать не надо. Некоторое время назад я мог не вынести нашего разрыва, но теперь вынесу. Отвечай прямо, ты хочешь, чтобы мы разошлись?

— Алеша,— сказала она волнуясь.— Ты ведь сам все видишь. Я очень благодарна судьбе за то, что встретила тебя. Но обстоятельства...

— Вера,— снова прервал я.— Я все понимаю, мне не нужно никаких объяснений, мне нужен только твердый и определенный ответ: да или нет?

Я посмотрел ей прямо в глаза.

— Да, Алеша,— сказала она,— нам надо расстаться. У нас нет другого выхода.

Секунду назад я был полон решимости, но тут вдруг почувствовал в себе желание ухватиться за соломинку.

— Но для оформления нашего развода,— сказал я,— надо доказать, что один из супругов был уличен в прелюбодеянии. Я на себя такую напраслину возводить не желаю.

— Не беспокойся,— просто сказала она,— если будет нужно, я это возьму на себя.

Почему-то именно эти ее слова меня потрясли.

— И ты,— спросил я в некотором запале,— согласна ради вашего дела сказать, что ты изменила мужу?

— Если будет нужно, скажу,— ответила она твердо.

«Боже мой! Какой цинизм! — думал я, понимая, что наши отношения уже не наладятся.— Все разрушено, все кончено. Необходимо устраниваться. Но как? Неужели это действительно конец?»

Кажется, дня два спустя после нашего разговора дошел до Цюриха ставший впоследствии знаменитым номер «Правительственного вестника». В нем сообщалось: «В начале шестидесятых годов несколько русских девушек отправились за границу для слушания лекций в цюрихском университете.

Первоначально число их оставалось крайне ограниченным, но в последние два года начало быстро возрастать, и в настоящее время в цюрихском университете и тамошней политехнической школе считается более ста русских женщин. Между тем до правительства начали доходить все более и более неблагоприятные о них сведения. Одновременно с возрастанием числа русских студентов коноводы русской эмиграции избрали этот город центром революционной пропаганды и обратили все усилия на привлечение в свои ряды учащейся молодежи. Под их влиянием научные занятия бросались для бесплодной политической агитации. В среде русской молодежи обоего пола образовались различные политические партии самых крайних оттенков. Славянское социал-демократическое общество, центральный революционный славянский комитет, славянская и русская секции интернационального общества открылись в Цюрихе и считают в числе своих членов немало русских молодых людей и женщин. В русской библиотеке, в которую некоторые наши издатели доставляют бесплатно свои журналы и газеты, читаются лекции, имеющие исключительно революционный характер. «Пугачевский бунт», «Французская революция», — вот обычные темы лекторов. Посещение сходок рабочих сделалось обычным занятием девушек, даже таких, которые не понимают по-немецки и довольствуются изустными переводами своих подруг. Политическая агитация увлекает молодые неопытные головы и дает им фальшивое направление. Сходки, борьба партий довершают дело и сбивают с толку девушек, которые искусственное, бесплодное волнение принимают за действительную жизнь. Вовлеченные в политику девушки попадают под влияние вожakov эмиграции и становятся в их руках послушными ору-

диями. Иные по два, по три раза в год ездят из Цюриха в Россию и обратно, перевозят письма, поручения, прокламации и принимают живое участие в преступной пропаганде. Другие увлекаются коммунистическими теориями свободной любви и, под покровом фиктивного брака, доводят забвения основных начал нравственности и женского целомудрия до крайних пределов...

Правительство не может и не должно оставаться равнодушным зрителем нравственного растления, подтачивающего часть, хотя и незначительную, русской молодежи. Оно сознает свою непреложную обязанность бороться с возникающим злом и решилось употребить все зависящие от него меры, впрочем преимущественно предупредительные... Не одна жажда знания привлекает русских женщин в Цюрих. Если западноевропейские государства, значительно опередившие нас в образовании, между тем точно так же не допускающие женщин в высшие учебные заведения, доставляют цюрихскому университету самый ничтожный контингент слушательниц, составляющий в совокупности менее двадцати процентов числа одних русских студенток, то трудно не прийти к заключению, что большинство наших юных соотечественниц поступают в цюрихский университет под влияниями, не имеющими ничего общего с стремлением к образованию... Правительство не может допустить мысли, чтобы два-три докторских диплома могли искупить зло, происходящее от нравственного растления молодого поколения, и потому признает необходимым положить конец этому ненормальному движению.

Вследствие сего, правительство заблаговременно предупреждает всех русских женщин, посещающих цюрихский университет и политехникум, что те из

них, которые после 1 января будущего 1874 года будут продолжать слушание лекций в этих заведениях, по возвращении в Россию не будут допускаемы ни к каким занятиям, разрешение или дозволение которых зависит от правительства, а также к каким бы то ни было экзаменам или в какое-либо русское учебное заведение.

Правительство надеется, что такое заблаговременное заявление избавит его от печальной необходимости подвергать кого-либо означенным ограничениям».

В связи с этим сообщением среди нашей колонии поднялся переполох. Обсудить возникшее положение собрались в Русском доме. Мы, консерваторы, ретрограды, сидели отдельной маленькой группкой возле дверей. Большинство было не с нами.

— Господа! — зывала с трибуны Варя Александрова. — Правительство нанесло нам жестокое оскорбление. Я считаю, что на это оскорбление мы должны ответить протестом через печать, и чем резче, тем лучше.

— Правильно! — закричала Вера и захлопала в ладоши. Вслед за ней захлопали и другие. Я посмотрел на нее с осуждением, она перехватила мой взгляд и самолюбиво улыбнулась.

— Правильно! — закричала она опять, на этот раз уже из упрямства.

На трибуну выкатилась коротышка Щербачева.

— Протест, — кричала она, стуча маленьким кулачком по трибуне, — вы писать не будете! Хватит, дописались! Докатались до того, что нас теперь всех из Цюриха гонят, как, извините, публичных женщин. Если приехали учиться, так учитесь, а если

желаете делать революцию, так поезжайте и делайте, а нас в эти свои дела не втягивайте!

Кто-то из нашей группы кричал: «Браво!» Кто-то из крайних кричал: «Долой!»

Щербачеву на трибуне смешила Владыкина. Спокойным голосом она сказала:

— Щербачева, может быть, погорячилась, но по существу дела она права. Писать какие-либо протесты бессмысленно, они не утихомирят правительство, а только разозлят, и будет еще хуже.

— Если вы хотите, чтобы вам плевали в физиономию, — сказала Бардина, — можете позволять и утираться. А мы этого не позволим, во всяком случае по отношению к себе, и напишем протест.

— Ну и пишите! — снова вскочила Щербачева. — А мы напишем протест против вашего протеста и напишем, что мы к вашему протесту никакого отношения не пмеем.

Обсуждение, если это можно было назвать обсуждением, затянулось. Когда вышли на улицу, было уже светло. Из-за гор уже тянулись первые лучи солнца, и туман клубился над озером.

Расходились кучно и шумно. Вера отделилась от меня и шла со своими «фричами». Кто-то, кажется, Вара Александрова первая затянула:

Вперед! без страха и сомненья
На подвиг доблестный, друзья!..

Вера шла вместе с Лидинькой и сестрами Любатович и в такт песне размахивала кулаком.

Не сотворим себе кумира
Ни на земле, ни в небесах,
За все дары и блага мира
Мы не падем пред ним во прах!

Сыпались по плечам льняные волосы Вари Александровой, ярче обычного пылал румянец на щеках Сони Бардиной, как всегда, печальны были глаза Бети Каминской. В памяти многое перепуталось, но иногда мне кажется, что в этот момент я со всей отчетливостью провидел их жестокий удел. Пройдут годы, и в состоянии душевного смятения отравится спичками Бетя Каминская, после побега из ссылки, сломленная общими и личными неудачами, застрелится в Женеве Соня Бардина, Тетка, добровольно уйдут из жизни Женя Завадская, Саша Хоржевская, Катя Гребницкая... Пройдут годы... А пока...

Провозглашать любви ученье
Мы будем нищим, богачам...

Я стоял на тротуаре и смотрел вслед этой малюсенькой группке воздушных созданий, вообразивших, что они ухватились за тот самый рычаг, с помощью которого можно перевернуть всю землю. Они удалялись, уводя за собой Веру, мою Веру, мою мисс Джек-Блек, ступившую на путь, с которого нет возврата. Сердце мое рвалось на куски. Я готов был бежать за ней, упасть на колени, целовать ее ноги — только бы остановить. Но это было уже невозможно.

Я стоял, прислонившись к столбу газового фонаря, и остывший за ночь металл охлаждал мой затылок.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава первая

В театре давали «Севильского цирюльника». Партию Фигаро исполнял новый баритон, о котором в последнее время говорили, как о восходящей звезде. Но Екатерина Христофоровна его совершенно не слышала, хотя и сидела в четвертом ряду со своими дочерьми Женей и Оленькой. Она любила эту оперу и давно хотела послушать модного певца, но мысли ее, тревожные и непослушные, все время уводили ее в сторону, и она никак не могла сосредоточиться.

Ах господи, наверное, он пел хорошо! Может быть, он даже замечательно пел. Но в то время, как он с неиссякаемой энергией бегаёт по сцене, надрывая голосовые связки (Фигаро — здесь, Фигаро — там!), в то время, как толстая немолодая Розинна не менее энергично уверяет публику: «...и непременно все будет так, как я хочу!», дочь Екатерины Христофоровны, ее девочка Лида, сидит в тюрьме. И если суд признает ее виновной, ей грозит каторга или по меньшей мере бессрочная ссылка. И главное, никакой надежды на снисхождение. Если ты кого-нибудь убил или ограбил, тут еще можно как-то защищаться, можно на что-то рассчитывать, можно кого-то взять слезами или взяткой, но когда речь идет о том, что

один человек дал другому человеку почитать книжку запрещенного содержания, то тут уже не поможешь ничем, лица чиновников становятся неприступными, ибо чтение запрещенной книжонки расценивается как особо опасное государственное преступление. Товарищ обер-прокурора уголовного кассационного департамента Жуков сказал Екатерине Христофоровне: «Ваша дочь упорствует в своих заблуждениях, и дело для нее может кончиться очень плохо». Нет, Екатерина Христофоровна не разделяла убеждений своей дочери, считала, что они — плод незрелого пылкого ума, заблуждения возраста. Но, боже мой, почему же заблуждение считается преступлением? «Судьба вашей дочери в ее руках, — сказал тот же Жуков. — Употребите свое влияние, помогите ей осознать свои ошибки, пусть она будет искренней с нами, и тогда суд, я вам ручаюсь, отнесется к ней снисходительно». Быть искренней — значит выдать товарищей. Лида на это не пойдет, да и у нее, у матери, никогда не повернется язык просить об этом.

«Фигаро — здесь, Фигаро — там», — метался по сцене актер. Счастливый человек. Любимое дело, успех и, должно быть, единственная забота — как бы не простудить горло. Лидинька здесь, Верочка там. Там, слава богу, еще не так все плохо, хотя и не скажешь, что хорошо. Правда, Вера пока учится, но развелась с мужем. Почему? Алексей Викторович, может быть, и мягковат характером, но в общем-то человек неплохой. Совсем неплохой. И состоятелен, и воспитан, и к Вере хорошо относился (так, во всяком случае, казалось со стороны). И вдруг разошлись. Что за напасть?

В позапрошлом году Алексей Викторович останавливался в Петербурге, рассказывал, как все случилось. Взрослый мужчина, он чуть не плакал:

«Поверьте, Екатерина Христофоровна, я очень любил Веру, да и сейчас, наверное, люблю, но я ничего не мог сделать».

Может, и не все было так, как рассказывал Алексей Викторович, но многое в его словах походило на правду. Взять хоть Лиду, хоть Веру — у обеих характер жесткий, отцовский. Покойный Николай Александрович тоже, бывало, если уж решит что-нибудь, так хоть стреляй в него, ни за что не отступится. Крутого нрава был человек. Но во многом оказался прав. Прав был, когда противился желанию старших дочерей обучаться в заграничных университетах.

На улице после спектакля казалось холодно. Ветер крутил под ногами поземку и швырял горсти снега в лицо. Она шла и думала о своих старших дочерях, в то время как две младшие обсуждали сегодняшней спектакль. Женя сказала, что модный баритон понравился ей не очень, то есть голос хороший, но при этом артистичности нет совсем, даже жесты иногда не соответствуют тому, что он поет.

В подъезде было темно: дворник экономил керосин. Поднимались ощупью. Возле самых дверей в сильном свете, сочившемся из маленького оконца, возникла тоненькая фигурка.

— Кто это? — испуганно спросила Екатерина Христофоровна.

— Это я, мамочка, — из темноты ответила Вера.

У Екатерины Христофоровны подкосились ноги. Вот уж, что называется, не ожидала.

Она с трудом нашла замочную скважину, отворила дверь. Потом долго не могла зажечь лампу.

Вера совсем не изменилась. Она была такая же худенькая в этом легком заграничном пальтишке, которое годится, может быть, для климата Швейцарии,

но не для нашей зимы. Она растерянно улыбалась. Сестры смотрели на нее с обожанием.

— Верочка, ты ведь на вакалы приехала? — спросила мать и посмотрела на дочь с надеждой.

— Нет, мамочка, — тихо сказала Вера, — я приехала насовсем.

— Насовсем? — Собственно говоря, этого нужно было ожидать. Она думала, что этим может кончиться, но отгоняла тревожные мысли, уговаривала себя: нет, Вера старше и серьезнее Лидиньки, она так легкомысленно не поступит.

— Ты, наверное, сдала экзамены раньше времени? Ведь там это, кажется, разрешают.

— Нет, мамочка, я не сдала экзаменов.

— Может быть, у тебя что-нибудь случилось?

— Нет, у меня ничего не случилось.

— Зачем же ты приехала?

Она посмотрела матери в глаза:

— Вы знаете, мамочка, зачем я приехала. Я приехала, потому что, так же как Лида, не могла больше быть в стороне, в то время как другие работают, отдают все силы народу. Кстати, как она себя чувствует?

— Плохо, — сорвалась мать. — В тюрьме сидит, ты же знаешь.

— Мамочка! — Вера обхватила руками голову матери. — Не упрекайте меня, ладно? Я все решила, я взрослая, и с этого пути не сверну. Мамочка, не сердитесь. Ну посмотрите мне в глаза, ну улыбнитесь, ну скажите же, что вы не сердитесь.

Мать уложила Веру в свою постель, а сама села в ногах и слушала. Младшие дочери спали в соседней комнате, свет газового уличного фонаря сочился сквозь тонкие занавески и расплывался неясным узором по серому потолку.

— Вы знаете, мамочка, если я ставлю перед собой какую-нибудь цель, то я ее добиваюсь. Во всяком случае, стараюсь добиться. И вот вышел этот правительственный указ. Мы тогда все думали: что делать? Остаться в Цюрихе бессмысленно — потом наши дипломы все равно будут считаться в России недействительными. Но оставалась лазейка. В указе упоминался только Цюрих, поэтому мы решили разъехаться в другие города. И вот Лида, Соня Бардина, сестры Субботины, Варя Александрова отправились в Париж, а я с Бетей Каминской и обеими Любатович — в Берн. Я готова была отдать все силы служению народу, но менять свои планы в ближайшее время не собиралась. И я училась, мамочка, честно училась. Каждое утро лекции, потом надо идти в клинику, участвовать в обходах, присутствовать на операциях. У нас был такой замечательный хирург — профессор Кохер. Присутствовать на его операциях было наслаждением. Конечно, я уставала, и даже очень. Но находила время, чтобы заниматься и социальными науками. Но главная моя цель была окончить университет, защитить диссертацию и получить диплом врача. Когда подруги стали звать меня в Россию, я отказалась, понимаете, отказалась. Сестры Любатович и Бетя Каминская поехали, а я осталась. Вы не представляете, как трудно мне было отказаться. Ведь я клялась быть вместе с ними, а тут, когда пришлось отвечать за свои слова делом, и не пошла на это. Хотите знать почему? Я вам объясню. Во-первых, я очень хотела стать врачом. Во-вторых, я знала, что наше возвращение будет для вас большим ударом. В-третьих, я не могла не думать о противниках женского образования. Ведь наше возвращение для них такой козырь. Они скажут, что вот, дескать, позволили женщинам учиться, а что из этого

вышло? Мне было стыдно, ужасно стыдно перед Лидой и всеми остальными, и все-таки я осталась и продолжала учиться. Я жила в отеле и почти ни с кем не общалась, кроме Доротей Аптекман, была у нас такая студентка. Но на вакалы я ездила в Женеву. И уж там каких только людей, мамочка, я не встречала! Иванчин-Писарев, доктор Веймар, Клеменц, Кравчинский, Саблин, Морозов. Какие это замечательные люди, мамочка! Умные, смелые, благородные. Почти за каждым аресты, ссылки, побег. Мы встречались в кафе Грессо. Грессо — это такой толстый швейцарский дядя, русских обожает и дает в долг. Народу у него всегда битком, пьют вино, спорят, кричат. Там был один полковник Фалецкий.

— Полковник и тоже нигилист? — спросила мать недоверчиво.

— Ах, мамочка, сейчас все нигилисты. Дело не в этом. Вы только послушайте. Этот полковник приехал в Швейцарию, чтобы организовать кассу для помощи эмигрантам. Но был при этом ужасный трус. По улице идет, все оглядывается, всюду ему мерещатся шпионы. А когда пришел срок возвращаться ему в Россию, он и вовсе перепугался. Бывало, встретишь его в кафе, он пьяненький, глаза вытаращит: «Вы знаете, говорит, Верочка, до меня дошли слухи, что правительство пронюхало о моем предприятии. Если меня арестуют, это будет ужасно». Я ему говорю: «Здесь много людей, которые подвергаются не меньшей опасности, чем вы, почему же они так за себя не боятся?» «Ах, Верочка,— говорит,— вы все молодые, у вас все впереди, а у меня две взрослые дочери. Вы себе представляете, полковник, тридцать пять лет непорочной службы — и вдруг революционер. Вас по молодости лет могут простить. А меня сотрут в порошок. И ведь самое обидное, что до пен-

сии осталось всего лишь четыре месяца». И вот однажды я решила подшутить над полковником и написала ему записку. Точно не помню, но содержание примерно такое: «Милостивый государь! Я не знаю вас, а вы не знаете меня, но я должна предупредить вас: вам грозит опасность. На русской границе вы будете задержаны, обысканы и арестованы. Приходите сегодня в восемь часов вечера на остров Жан-Жак Руссо. На скамейке под деревом вы увидите даму под зеленой вуалью; от нее узнаете все подробности». И подпись: «Благожелательная незнакомка». И что вы думаете? Приходит этот полковник в назначенное место, там его ждет таинственная незнакомка. Она говорит, что один ее знакомый, который служит в здешней полиции, получил точные сведения о том, что полковником интересуется русская полиция. Представляете, что с ним было! Когда я его увидела, на нем лица не было. «Что мне, Верочка, делать? В Россию ехать нельзя — арестуют. Неужели остаться навсегда в чужой стране без куска хлеба, навсегда забыть о семье?»

Вспомнив Фалецкого, Вера засмеялась и посмотрела на мать. Екатерина Христофоровна даже не улыбнулась.

— Эта таинственная незнакомка,— спросила мать,— была ты?

— Нет, это была Като, сестра литератора Николадзе.

— И тебе эта проделка кажется очень смешной?

— Мамоchка,— смутилась Вера.— Но ведь это же была только шутка.

— Это была злая и нехорошая шутка,— упрямо повторила Екатерина Христофоровна.

— Я знаю, мамочка. Я ему во всем призналась и извинилась, но он такой смешной...

— Допустим. Остальные твои друзья были не такие смешные?

— Ну, там были всякие. Например, Коля Саблин. Он поэт. Он написал поэму «Малюта Скуратов». Поэма замечательная, такой хороший слог. Но лучше всего он пишет эпиграммы и в них всегда высмеивает Колю Морозова.

— А этот Коля Морозов тоже поэт?

— Он и поэт, и герой. Он хочет бороться за счастье народа по способу Вильгельма Телля. Если вы хотите спросить меня, кто такой Вильгельм Телль...

— Я знаю, кто такой Вильгельм Телль. Я тоже читала Шиллера, и, насколько мне помнится, способ Вильгельма Телля заключался в убийствах.

Ах, как сверкнули глаза у дочери! Как яростно и как непримиримо!

— Мамоchка,— сказала она, и в этом «мамоchка» появилось железо,— слово «убийство» само по себе ничего не значит. Убийство кого и за что — вот что важно. Вильгельм Телль боролся против несправедливости. Он мстил угнетателям за угнетенных.

— Но доченька,— стусевалась Екатерина Христофоровна,— ведь эти, как ты их называешь, угнетатели, они тоже люди, пусть плохие, но люди, люди!

Вера потемнела лицом, но спорить не стала:

— Ладно, мамочка, не будем об этом. Тем более что я собираюсь заниматься совсем другим делом. Я хочу говорить с простыми людьми, открывать им глаза на несправедливость устройства нашей жизни и объяснять, как нужно переделать мир по закону справедливости. И пожалуйста, не спорьте со мной, это все равно ни к чему не приведет. Я взрослый человек, выбрала этот путь сознательно и никогда с него не сверну. Вы слышите: никогда.

Екатерина Христофоровна пожала плечами:

— Дело, конечно, твое. Я не вмешиваюсь. Но все же мне кажется, что тебе надо было закончить начатое, а потом уже решать, как быть дальше.

— Ах, мамочка, я и сама хотела доучиться. Да так получилось. Давайте спать. Вы устали и я тоже.

— Да, конечно.

Екатерина Христофоровна ушла и постелила себе на узком диванчике в прихожей.

«Так получилось», — сказала Вера. Разумеется, она не могла посвящать мать в подробности того, что именно получилось. А получилось то, что, вернувшись из-за границы, «фричи» слились с другими кружками и образовали всероссийскую социально-революционную организацию, которая действовала в Москве, Туле, Иваново-Вознесенске и других городах среди фабричных рабочих, в большинстве своем бывших крестьян. Вести о деятельности организации доходили до Веры. С каждым днем ей все труднее было оставаться в Швейцарии, но она твердо решила, что вернется в Россию не иначе как с дипломом врача. И весной, провожая в Россию Саблина и Морозова, который был в нее, кажется, немножко влюблен, она им сказала:

— Встретимся через год!

Откуда ж ей было знать, что все сложится совсем не так, как она предполагала? Морозов и Саблин арестованы при переходе границы, а она...

Осенним дождливым вечером в ее маленький номер в отеле «Zum Bären» явился респектабельный господин с окладистой бородой, в золотых очках, в калошах и с зонтиком.

— Я Натансон, — сказал он просто.

152 Если бы он сказал, что он архангел Гавриил, Ве-

ра вряд ли была бы потрясена больше. Марк Андреевич Натансон, известнейший революционер, собственной персоной стоял перед ней, улыбаясь одними глазами. Потом они сидели за самоваром, и Натансон, расспросив Веру о ее планах на будущее, сказал, что ей необходимо немедленно вернуться в Россию.

— Мы задыхаемся, — объяснил он категоричность своей просьбы. — По существу, вся наша организация разгромлена. Ваша сестра, Бардина, Каминская, Александрова, все три сестры Субботины, обе Любатович арестованы. Мы собираем сейчас всех наших людей в России и за границей. Необходимо собрать все силы, иначе дело может заглухнуть.

Как ей не хотелось ехать! Она просила отсрочки. Она приводила все доводы в пользу того, что ей нельзя раньше, чем хотя бы через полгода, покинуть Швейцарию. Но Натансон был непреклонен, и, обещая ему подумать, Вера знала, что она уже сдалась.

И теперь, лежа в материнской постели, она думала, что, наверное, все-таки зря согласилась вернуться прежде времени. Что может произойти за эти полгода? Ничего абсолютно.

«Разве что меня, как Лиду, посадят в тюрьму, — подумала она, засыпая. — Впрочем, для того чтоб сидеть в тюрьме, иметь диплом врача, пожалуй, не обязательно. Примут и без диплома», — улыбнулась она сама себе.

Глава вторая

В конце концов, сколько можно? «Пусть нам носят цп ж п ццм и фыс шуунщ влны а чнх ес йр, а наши ыунчъз будут получать щбъфтс дяп и вкта щ й дще уф бгчпм...»

В московской квартире на Сивцевом Вражке привычная картина. Вера сидит за расшифровкой записок из тюрем, Василий Грязнов лежит на диване, Антон Таксис расхаживает по комнате, заложив руки за спину.

В соседней комнате, как обычно, галдеж, который не прекращается ни на минуту. Кого здесь только не бывает! Николай Саблин, недавно выпущенный на поруки, длинный человек по фамилии Армфельд, некий молчаливый чудак без имени и фамилии, по прозвищу Борода, рабочие, студенты, бездельники. Спорят, дымят табаком, одни уходят, другие приходят — двери настежь для всех. И это называется революционеры, подпольщики. Не зря квартиру называют Толкучкой. Толкучка самая настоящая. Да стоит полиции только на секунду проявить любопытство, и тут же все будут накрыты. К счастью, в России и полиция так же нерасторопна, как все прочие учреждения.

Таксис бросает на Веру несколько нетерпеливых взглядов, потом все-таки не выдерживает:

— Ну, что пишут?

— Что пишут? А то и пишут: цепежецепедем эффы...

— Верочка, — морщится Таксис, — перестаньте валять дурака. Неужели вам не надоело?

— Надоело, и даже очень. Сидишь целыми днями над всеми этими бырмыртырпыр. Для чего? Мы платим очень много денег всяким проходимцам за то, что они доставляют нам эти послания. Что мы из посланий узнаем? Вот я расшифровала эту записку: «Пусть нам носят конфеты в коробках с двойным дном, а наши ответы будут получать изо рта или за шей...» Объясните мне, Антоша, для чего нам нужны эти ответы, за которые мы платим по рублю, а содер-

жания получаем на ломаный грош? И понимаю, что это нужно для поддержания товарищей, но неужели этого не мог бы сделать кто-нибудь другой? Для чего я бросила университет и приехала из-за границы? Я хотела работать в народе. А пока я никакого народа вокруг себя не вижу. Если не считать, конечно, Василия, который весь день лежит на диване.

Василий лежит на животе, задрав кверху ноги в стоптанных грязных ботинках и уткнув глаза в книгу. Он делает вид, будто не слышит, что о нем говорят.

— Василий! — обращается Вера прямо к нему. — Вы ведь, кажется, сегодня собирались искать работу.

— Так ведь никуда не берут, — Василий неохотно отрывается от книги и смотрит на Веру выжидающе.

— Если будете лежать на диване, так вас никуда и не возьмут. Идите, идите, поищите что-нибудь.

— Книга больно интересная, — вздыхает Грязнов. Он загибает страницу, с сожалением кладет книгу на диван, идет к вешалке, снимает драный армяк, напяливает на голову какой-то невероятный малахай и с надеждой смотрит на Веру — не остановит ли?

— Подите, подите, — безжалостно поощряет Вера. — Авось что-нибудь и подыщете. А если нет, так хоть подышите свежим воздухом. Тоже иногда полезно.

Помяввшись у порога, Василий выходит.

— Вот, видали! — вслед ему кивает Вера. — «Нигде ничего нет, никуда не принимают». Ему поручено заводить связи на заводах и фабриках. Видите, как он их заводит. Сейчас дойдет до угла, померзнет и вернется обратно. «Нигде ничего нет, никуда не берут». Антоша, пайдите мне замену, а я пойду в деревню.

— И что вы там будете делать?

— Фельдшером устроюсь и буду вести пропаганду.

— Легко сказать,— скептически качает головой Таксис.— Во-первых, никаким фельдшером со своими швейцарскими документами не устроитесь, об этом нечего даже и говорить. Во-вторых, что касается хождения в народ, то вам к этому надо серьезно подготовиться. Многие люди ходили — и я в том числе — и были разочарованы. Вы там, в Швейцарии, вообразили себе, что русский народ сам по себе уже социалист, и, как только вы придете к нему, он тут же развесит уши и пойдет за вами. А это, Верочка, далеко не так. Русский народ хочет только, чтоб не было хуже и чтоб его оставили в покое. А что до революции, то он даже не знает, что это такое и с чем ее едят. Пойдете в народ, будете служить фельдшерницей, будете пичкать крестьян своими мазями и порошками, кому-то от ваших мазей и порошков, может, и полегчает. И это все, что вы сможете сделать для народа. Впрочем, я не против того, чтобы вы это испытали на себе, хотя бы для того, чтоб убедиться, что это пустое. Но потерпите еще немного. Найдем вам замену, и отправляйтесь с богом.

Вот уже не первый раз слышит Вера такие разговоры от тех, кто ходил в народ. Отчего же такое разочарование? Не оттого ли, что некоторые народники внушают крестьянину непонятные ему идеи, вместо того чтобы исходить в своей деятельности из его нужд, требований и стремлений в том виде, в каком они выработаны им в ходе истории?

Нет, надо испытать это самой, самой попытаться найти ключ к темной крестьянской душе.

После ухода Таксиса она снова склоняется над столом и пишет ответы в тюрьмы.

Вечером приходит Вера Шатилова. Она некрасива, но есть в ней что-то притягивающее. Всегда в движении, деятельная, она берется за любую работу, никогда не хнычет, всегда всем довольна, общение с ней всегда успокаивает. Сняв пальто, она сразу же усаживается за работу.

— Верочка, ты меня сменишь? — спрашивает Фигнер.

— Конечно, Верочка.

— А я пойду к своему телеграфисту.

— Бог в помощь, Верочка. Ц р к м н о...

Пропади он пропадом, этот телеграфист.

Вечерет.

Она стоит на углу Арбата и Староконюшенного переулка. Стелется по булыжнику поземка, ветер пробирается сквозь легкое пальтишко. В сумочке несколько клочков бумаги — шифрованные записки для передачи арестованным. По тротуару прямо к ней идет городской. Может быть, он идет, чтобы арестовать ее. Но не бежать же! Она стоит. Холодно. Городской медленно приближается. Осталось пять шагов, три. Скользнув по ней равнодушным взглядом, городской проходит мимо. Начинают мерзнуть ноги. Она растирает колени руками. Но вот из-за угла выныривает долговязая фигура. Шинель с поднятым воротником, на голове лохматая шапка. Это телеграфист. У него связи с жандармами, через него можно передать записки.

Телеграфист оглядывается по сторонам, так что сразу можно догадаться, что замыслил он что-то нехорошее.

— Зайдемте в трактир, — бросает он на ходу, проходя мимо Веры.

В трактире грязно, накурено, но хоть можно погреться.

— Пару чая,— небрежно бросает телеграфист половому и устремляет на Веру печальные свои глаза.

— Трудно, барышня, жить, очень трудно. Все больно опасаются, а платите вы мало. Музыкант у меня есть знакомый, связан с жандармами, так он меньше трех рублей не берет. И то, говорит, я за вечер, говорит, три рубли смычком заработаю. А ему ведь из этих трех рупь надо жандарму отдать. Да и мне надо хотя б рупь заработать, семья все ж таки, двое детишек малых, леденцов хотят и риск большой.

— Ну вот вам за все, за музыканта, за детишек и за риск, пять рублей хватит.

— Пять рублей — это еще по-божески,— бормочет телеграфист.— За пять рублей, может, и удастся чего сделать.

Вера возвращается к себе на Толкучку. Все эти телеграфисты, жандармы, тюремные надзиратели и музыканты обдирают ее как липку.

Василий Грязнов лежит по-прежнему на диване, читает «Хитрую механику» и хохочет до слез, как маленький. Смешно.

Ткача Якова нашла Вера Шатилова. Яков, хотя и неграмотный, хотя только что из деревни, оказался мужичком сообразительным. Он сразу все понял: и насчет тяжелых условий труда, и насчет равенства и неравенства. Слушал, головой кивал, соглашался. И согласился даже помочь организовать кружок среди знакомых рабочих.

— Только где собираться-то будем? Нешто у вас?

— Да нет, у нас не очень удобно.

— А у нас и подавно. В рабочих казармах нельзя, там у хозяина глаза и уши всегда найдутся. А вот думка у меня одна есть, да сумлеваюсь больно.

— А вы не сомневайтесь, вы говорите.

— Да вот домик я тут один присмотрел. Домик, хотя и захудалый, но все ж, если б его занять, ну, допустим, на мое имя, так можно было б там сходки эти собирать, книжки читать всякие.

Вера видела, что хитрит этот Яков. Да и как было не видеть, когда на лице у того написано, что плут. И все же заглушила в себе эти сомнения. Вместе с Шатиловой обсудили предложение, собрали у разных людей немалую сумму и сунули Якову.

Яков поселился в новом доме, семью из деревни вывез.

Когда обе Веры явились к нему, он сидел на зава-
линке, «козью ножку» крутил. Гости с ним поздоровались, он посмотрел на них, как будто первый раз видел. Не встал даже. Но ответил приветливо:

— Здравствуйте, барышни.

Веры переглянулись, но хамства еще не отметили. Что ж с того, что он не встает перед ними? Светским манерам не обучен. Да и устал на работе, намаялся, не то что они, физическим трудом себя не обременяющие.

— Ну, как вам в новом доме? — спросила Вера Фигнер.

— А чего? Дом как дом. С клопами.— Он раскурил наконец свою «козью ножку» и выплюнул перед собой клуб сизого дыма.

— Ну что ж,— сказала Вера.— В воскресенье приводите ваших товарищей, поговорим.

— Книжки читаем,— добавила Шатилова.

— Каки таки книжки? — Яков смотрел на них с любопытством.

— Интересные,— почувствовав подвох, смешалась Шатилова.

Во двор вышла жена Якова, толстая баба с ребенком.

— Чего сидишь-то! — закричала она визгливым голосом. — Дрова-то не колоты. Что ж я, цельные бревна в печку пихать буду?

— Погоди ты со своими дровами, — отмахнулся Яков. — Тут вот барышни пришли, говорить хотят. Книжки хотят читать.

— Каки ишо книжки? — опять прокричала баба.

— Вот я и пытаю каки. А они говорят интересные. А что ж в их может быть интересного? Ну что? — он поднялся на ноги, бросил недокуренную самокрутку, раздавил сапогом с остервенением, как клопа. — Вот так-то, барышни. Мы ваших книжек отродясь не читали и, слава тебе господи, — перекрестился, — до сей поры живы. Авось и ишо проживем немножко.

— Яков, — сказала Вера Шатилова, — как вам не стыдно? Ведь у вас должна быть рабочая совесть.

— Ну и что? — спросил Яков.

— Да как же «что»? — волновалась Шатилова. — Ведь этот дом куплен на наши деньги.

— Вот что, барышни, — с угрозой сказал Яков. — Ступайте-ка вы отсюдова, покуда я околоточного не позвал.

— Подлец! — с ненавистью бросила Фигнер.

— Эх, барышня, — необидчиво усмехнулся Яков. — Грамотная, ученые слова говорите, а жить не умеете.

Баба с ребенком, слушавшая весь разговор, вдруг выбежала за калитку и завизжала:

— Ну, чего пристали! Сказано вам: ступайте. Женатый он, с ребенком! У-у, шалавы! — завизжала она на всю улицу.

Из соседних дворов высунулись любопытные. Вдалеке показалась величественная фигура околоточного.

— Идем, идем, — Шатилова схватила Фигнер за рукав. — Ну их к черту.

Они свернули в ближайший проулок и там уже кинулись бежать со всех ног. Не от околоточного. От стыда друг перед другом.

Глава третья

Лето 1876 года. Ярославль. Серый каменный дом, дверь с медной табличкой: «Доктор медицины Никита Саввич Пирожков». Доктор Пирожков встретил Веру на пороге своей квартиры. Доктор был маленького роста, широкоплечий и бритоголовый.

— Стало быть, вас рекомендовала Ширмер? — сказал он, разглядывая Верины бумаги. — Это почти хорошо, даже почти прекрасно. А вы эту Ширмер откуда знаете?

— Я училась вместе с ней в Цюрихе. — Вера была несколько озадачена таким приемом.

— Вы учились вместе с ней в Цюрихе? Это почти меняет дело. Это почти замечательно! Это было бы замечательно без «почти», если бы я имел хоть малейшее представление о том, кто такая эта самая Ширмер.

— Как же так? — совсем растерялась Вера. — Она говорила...

— Она могла говорить что угодно. Варвара! — рявкнул он вдруг командирским голосом.

В прихожей появилась молодая женщина, по-видимому жена Пирожкова.

— Варвара, — грозно сказал Пирожков, — напрягись и подумай, известна ли тебе фамилия Ширмер?

— Известна, — сказала Варвара. — Ширмер — это моя девичья фамилия.

— Это почти превосходно! — радостно воскликнул

нул доктор. — Теперь многое становится почти ясным. Неясно только одно: как ты сумела, будучи моей женой и живя почти безвыездно в этом почти медвежьем углу, одновременно учиться в Цюрихе?

— Никита, — снисходительно сказала госпожа Пирожкова, — не надо дурить. Ты хорошо знаешь, что в Цюрихе училась моя племянница Настя, дочь моего брата Петра.

— Твоя племянница — почти моя племянница, — пробормотал Пирожков, разглядывая другие Верины документы. — Значит, вы учились в Цюрихе, а затем в Берне и закончили почти четырехгодичный курс?

— Да.

— В Москве вы кому-нибудь показывали эти документы?

— Не только в Москве, но и в Петербурге.

— И какова была реакция? — хитро сощурился Пирожков.

— Мне везде отказывали.

— Вот! — обрадовался доктор. — В Москве и Петербурге вы получили отказ и поэтому поехали в Ярославль. Но я вам должен сказать почти по секрету, что Ярославль находится в том же самом государстве и порядки у нас почти такие же. Может, немножко хуже. Поэтому эти ваши бумаги я вам советую вставить в рамку и повесить у себя дома, только так, чтоб никто не видел.

— Доктор, — вспыхнула Вера. — Я приехала к вам за триста верст...

— Почти за триста, — поправил доктор.

— ...вовсе не для того, чтобы вы надо мной издевались. Если вы не хотите мне помочь...

Доктор посмотрел на Веру грустными глазами.

— Да, да, я понимаю, — забормотал он. — Я про-

извожу впечатление почти жестокого человека, который никому не хочет помочь. И это почти так и есть, но вам, пожалуй, все-таки помогу. Вот этот ваш документ выглядит почти как настоящий. Доктор Глаголев свидетельствует, что вы под его руководством два года проходили в частном порядке фельдшерский курс. Теперь вам надо пройти практику, для чего вы ко мне и явились. Прекрасно! Правда, из Берна вы вернулись только в декабре прошлого года, и это почти несовпадение. Но если мы никому не будем показывать бумаги, то таким образом почти ни у кого не возникнет сомнения, что вы могли два года учиться у доктора Глаголева. Варвара, как ты считаешь? — покосился он на жену.

— Никита,— строго сказала жена.— Перестань морочить барышние голову. Вы,— повернулась она к Вере,— на его выходки не обращайтесь внимания. Он всегда строит из себя идиота.

— Почти всегда, почти идиота,— поправил доктор.

— Всегда облюбует какое-то слово и начинает его вставлять к месту и не к месту. Еще неделю назад он измучил всех словом «якобы».

— Ну что ж,— кончив тем временем разглядывать бумаги, сказал доктор как бы самому себе.— Мне почти все понятно. Пойдемте в гостиную, поговорим, подумаем, примем окончательное решение. Или,— он первый раз улыбнулся,— почти окончательное.

На другой день Вера получила разрешение проходить фельдшерскую практику при губернской земской больнице. Кроме того, доктор Пирожков устроил ее на квартиру с пансионом и нашел гимназиста, который стал заниматься с ней порядком подзабытой латынью.

И опять началась жизнь, похожая на жизнь в Цюрихе или в Берне. Днем практика в больнице, вечером зубрежка медицинских премудростей по учебникам.

Земская больница была плохо оборудована. Не хватало помещений, лекарств и бинтов. Но особенные страдания доставлял практикантке главный врач, самолично делавший операции. Во время операций он суетился, нервничал и заставлял нервничать своих ассистентов. Каждый раз под рукой не оказывалось того или иного инструмента. Врач кипятился, кричал на своих помощников, те в страхе разбегались в разные стороны, производя еще большую суматоху. Сколько раз вспоминала здесь Вера бернского профессора Кохера. Сколько раз ей хотелось вмешаться и показать хирургу, как надо делать ту или иную операцию. Да разве можно? Разве можно показать, что ты знаешь больше, чем положено знать будущей фельдшерице?

— А у вас гостя,— сказала однажды хозяйка, когда Вера вечером вернулась от Пирожковых.— Говорит, что она ваша сестра, и я пустила ее к вам в комнату.

— Сестра? — Вера удивилась, но виду не подала. Какая может быть сестра? Лида в тюрьме, Женья и Оля вместе с матерью за границей. Вера толкнула дверь и увидела маленькую худенькую девушку, которая стремительно поднялась ей навстречу.

— Бетя? — Вера зажмурилась и снова открыла глаза.— Этого не может быть, это не ты.

— Это я,— сказала Бетя Каминская и обняла ее.

— Да откуда ты взялась? Какими судьбами?

— Да, я шла по одному делу с Лидией, Соней Бардипой и прочими.

— Ты бежала?

— Да, но не сразу.— Бетя пахмурилась.— Меня признали психически ненормальной, и, кроме того, отец дал жандармам пять тысяч рублей. Меня отиравили домой, под надзор родителей, от них я убежала. В Москве мне дали твой адрес, и вот я здесь.

— Бетя, милая,— ласково сказала Вера.— Очень хорошо, что ты приехала. Комната у меня большая, хозяйка, я думаю, возьмет нас обеих на пансион.

— Спасибо, Верочка, но ничего этого не нужно,— сказала Бетя.— Я приехала к тебе, чтоб отсюда отправиться в народ.

За прошедшие после Берна два года Бетя несколько не изменилась. Все тот же нежный румянец на щеках, та же затаенная грусть в больших серых глазах.

— И с кем ты собираешься идти? — осторожно спросила Вера.

— Одна.

— Но это невозможно! Одной тебе это будет не под силу.

Спустя полчаса они сидели за столом, покрытым вышитой скатертью, перед уютно посапывающим самоваром.

— Ты говоришь, что одной идти в народ невозможно. Я с тобой совершенно согласна. Но я...— Бетя окунула кусок сахара в чай и откусила немного,— я решилась на все.

— Что значит — на все?

— Видишь ли, со мной многие не соглашаются, считают, что я безумная, может быть, это так и есть, я и в самом деле больна и знаю это. Но я знаю и то, что настоящий революционер должен жертвовать

собой. Он должен стремиться к гибели. Помнишь, в Цюрихе на женском фереине мы спорили, нормальный или ненормальный человек самоубийца. Так вот, я считаю, что просто самоубийство — вещь глупая, но самоубийство для дела...

— Бетенька, милая! Какое может быть самоубийство для дела? Бог с тобой. Надо жить для того, чтобы бороться, и бороться для того, чтобы жить.

— Нет, — непреклонно сказала Бетя. — Революционер должен стремиться к гибели для того, чтобы открыть глаза другим. Ты пойми, сейчас любая революционная деятельность обречена на провал. Мы боремся за счастье народа, но народ нашей борьбы не понимает. Ему кажется, что если он и живет недостаточно хорошо, то мы не улучшаем его жизнь, а еще более ухудшаем. Только гибель, только самопожертвование революционера подадут всем нравственный пример, показывают великомученика, который идет умирать за народ. Поэтому каждый провал есть замечательный пропагандистский ход. Стоит арестовать на заводе или на фабрике одного человека, как тысячи людей начнут интересоваться тем, за что, почему его арестовали. Вместе с интересом в них пробудится и мысль о том, что общество устроено несправедливо, если таких людей арестовывают и сажают в тюрьму, а капиталист и чиновник, обдирающие народ, процветают. Поэтому если это и будет самоубийством, то самоубийством, полезным народу.

«Что с ней?» — с тревогой подумала Вера. И тут ей вспомнилась психиатрическая клиника в Берне, печальные глаза больных и уверенный голос профессора, называвший характерные признаки меланхолии: мрачное восприятие жизни, бредовые идеи самообвинения, мысли о самоубийстве.

— Выкинь это все из головы! — сказала Вера. —

Ты забываешь о том, что революционеру и так ежедневно грозит опасность провала. Так зачем же к нему стремиться? Его надо оттягивать как можно дольше, чтобы как можно больше успеть.

— Один провал является гораздо большей пропагандой, чем вся деятельность революционера до провала. Я давно так решила, и не надо со мной спорить, Верочка. Помоги мне завтра же купить крестьянскую одежду и сапоги, и я пойду по деревням.

— Ты нигде не пойдешь, — возразила Вера.

— Пойду, — упрямо сказала Бетя.

— Ведь это безумие! — всплеснула руками Вера. — Ты такая слабенькая, одинокая, куда ты пойдешь? Ведь ты не знаешь ни местности, ни расстояний между селами. Ты можешь заблудиться, попасть в какой-нибудь лес или запоздаешь в пути и останешься ночью одна, вдали от всякого жилья. Что тогда будет с тобой? Ведь ты — женщина. Какой-нибудь негодяй пристанет к тебе по дороге, ты не сможешь себя отстоять. Я ни за что не пущу тебя. Выбери что-нибудь более подходящее. Или подожди, я сдам экзамен, и тогда пойдем вместе.

— Когда экзамен?

— Через месяц.

Бетя покачала головой:

— Нет. Я столько не выдержу. Мне надо немедленно чем-то заняться.

Вера посмотрела на нее и поняла, что спорить бесполезно.

На другой день отправились на рынок. Юбку и блузку нашли без труда. Нашли пестрый деревенский платок. Достать сапоги оказалось труднее. Для Бетиной маленькой ножки трудно было подобрать что-нибудь подходящее. Наконец догадались примерять

сапожки детские. Нашлись как раз впору. Теперь все было в порядке. Можно было трогаться в путь.

Последний день вдвоем с Бетей был для Веры пыткой. Бетя слонялась из угла в угол, подолгу смотрела в окно или ложилась на кушетку вверх лицом и, подложив руки под голову, безотрывно смотрела в потолок остановившимся взглядом. «Господи! — думала Вера. — Хоть бы скорее наступил завтрашний день». Было стыдно собственных мыслей, но думать иначе она не могла. Бетя нагнетала тоску. Проснувшись, Вера увидела ее стоящей перед зеркалом в своем крестьянском наряде, который сидел на ней так нелепо, что, глядя на нее, хотелось плакать. Бетя перехватила Верин взгляд и все поняла.

— Ты знаешь, я, пожалуй, выйду от тебя в своем платье, чтобы не обращать на себя внимание любопытных. А потом где-нибудь в лесу переоденусь.

Вера проводила подругу до окраины города и долго смотрела ей вслед. Бетя уходила, перекинув через плечо котомку, в которой, кроме крестьянской одежды, были кусок хлеба, кусок колбасы и несколько экземпляров прокламации «Чтой-то, братцы...»

«Чтой-то, братцы, как тяжело живется нашему брату на Русской земле!..»

Это была прокламация, которую распространяли «фричи» по приезде в Россию. В ней описывалось тяжелое положение народа и предлагалась программа действий:

«Пока нами управлять будут цари, бояре да чиновники, не будет у нас ни земли, ни воли, ни хлеба... Мы потребуем, чтобы у всех у них, что теперь над нами распоряжаются, была отнята власть всякая. Мы из себя самих людей умных и честных повыберем и от кажинной волости пошлем на вели-

кий сход своего выборного, и пускай управляют они на том сходе крестьянском и выборном, нашими делами распоряжаются, и будет тогда у нас воля, земля да хлебушко. Свой-то брат, мужик, не станет разорять крестьянина, не будет давать потачки помещикам. А кто пойдет против нас, того мы посмеем сейчас и пошлем нового. И поделят те мужики выборные всю землю-матушку так, чтобы каждому досталось поровну, а не так, как теперь: помещику — тысячу, а крестьянину — четыре десятины на душу. И сравниют они всех нас дочиста, так, чтоб не было ни крестьян, ни помещиков, а все будут тогда люди русские — люди свободные, и у всех нас будут одни права, одни обязанности... Вот тогда-то, други родимые, заживем мы дружно, мирно и весело и не будет у нас ни воров, ни убийц, ни грабителей; у всех будет свое — воровать, убивать не для чего! Скоро, братцы, придет это времечко. Со всех сторон поднимается сила крестьянская, взволновалась Русь-матушка, зашумела, как море великое. А поднимется да расправится, так не будет с ней тогда ни сладу, ни удержу. Только будемте дружно, как братья родные, стоять за наше дело великое. Вместе-то мы сила могучая, а порознь нас задавят враги наши лютые!»

После ухода Бети настроение совершенно испортилось. Вечером Вера пошла к Пирожковым.

— Очень хорошо, что вы пришли, — шумно приветствовал ее Пирожков. — Это в некотором роде превосходно. Имею в некотором роде ценные сведения. Моя агентура доносит, что дело вашей сестры с товарищами будет слушаться в Особом присутствии правительствующего Сената. Председателем будет сенатор Петерс. Вам это интересно?

— Доктор,— сказала Вера,— вы об этом говорите, как будто сообщаете приятную новость.

— В некотором роде приятную,— согласился доктор.— По моим сведениям, процесс будет открытым. Правительство желает показать публике истинное лицо революционеров и то, какую опасность они собой представляют. Но в открытом процессе доказать недоказуемое почти невозможно, и я, в некотором роде считая себя пророком, предрекаю: ваша сестра будет оправдана.

Сделав это заявление, доктор сел к роялю и громко сыграл «Марсельезу».

Несмотря на оптимистические прогнозы Пирожкова, тревожное настроение, вызванное прощанием с Бетей, не уходило. К нему присоединилось уже хорошо знакомое в последнее время неприятное чувство оторванности от самого главного. Там, в Москве и Петербурге, происходят важные события, а она в ожидании диплома сидит здесь, в стороне от них.

От Пирожковых она пошла на вокзал и в этот же вечер уехала в Москву.

Через два дня, вернувшись из Москвы, Вера перед больницей зашла к себе и не поверила своим глазам. На подоконнике сидела Бетя и уныло смотрела во двор.

— Бетя, неужели ты?

— Я,— меланхолично ответила Бетя.

— Господи, я-то переживала, места себе не могла найти. Что случилось?

— Понимаешь,— сказала Бетя.— Я в первый же день сбилась с дороги и заблудилась. Ночь провела в поле, намерзлась, утром вышла к какой-то речке и пошла вдоль берега. Я не знала куда иду — вверх

или вниз по течению. А в самом деле, Верочка, как узнать, куда течет река?

Вера не удержалась и принялась хохотать.

— Да что ты смеешься? — обиделась Бетя.

— Ну как же мне не смеяться, если смешно. Неужели ты сама не могла догадаться? Надо взять щепку и бросить в воду, куда щепка поплывет, в ту сторону и река течет.

— А где бы я взяла щепку? — спросила Бетя.

— Не обязательно щепку. Возьми какую-нибудь палку, соломинку...

— Так просто? — удивилась Бетя. — А я не сообразила.

Еще пару дней она прожила в Ярославле. О том, что надо идти в народ, больше не говорила. Видимо, ночь, проведенная в поле, убедила ее, что такая работа ей не под силу.

После отъезда Бети Вера долго о ней ничего не слыхала.

Примерно через год после суда над ее подругами («процесс 50-ти») Бетя Каминская, желая разделить участь товарищей, отравилась спичками.

Летом 1876 года в Ярославской врачебной управе Вера сдала экзамен на звание фельдшера. Экзаменаторы были удивлены обстоятельностью ее знаний и в один голос заявили, что она отвечала, «как студент». Получив нужные свидетельства, она поехала в Казань, чтобы оформить развод. Осенью после долгих хлопот развод состоялся: Вера Николаевна Филиппова стала снова Верой Николаевной Фигнер.

Той же осенью в Петербурге она сдала еще один экзамен на звание акушерки.

«К ноябрю 1876 года, — напишет она потом, — все мои житейские расчеты были кончены. Над прошлым был бесповоротно поставлен крест. И с 24 лет

моя жизнь связана исключительно с судьбами русской революционной партии».

Глава четвертая

В понедельник 6 декабря 1876 года благонамеренный господин Абрамов, в длиннополом пальто и мерлушковой шапке, подходя к Казанскому собору, заметил на паперти толпу молодежи, по виду студентов, которые стояли там и сям отдельными группами и тихо переговаривались между собой, как бы ожидая чего-то. Обратившись к городовому Есипенко, господин Абрамов почтительно осведомился, по какому случаю такая толпа, уж не ожидается ли прибытие на молебен царской фамилии.

— Дура! — отозвался на это городской Есипенко и, не поленившись поднять руку, покрутил у виска пальцем. — Да кабы ты соображал своей мозгой хотя немного, ты б должен понимать, что к прибытию царской фамилии ступени красным ковром устилают.

Смущенный словами городского (ведь действительно мог сам сообразить), господин Абрамов снял шапку, поднялся по ступеням, отряхнул рукавицей с валенок снег и, осеня себя крестным знамением, двинулся в раскрытые двери собора. А в храме бог знает что творится. Народу скопилось, словно на пасху, но народ не обычный, а те же студенты. И видно, что не богу молиться пришли, а с каким-то другим неведомым побуждением. Вроде молебен как молебен, но все что-то не так.

Служба к концу подходила, когда блондин, замеченный господином Абрамовым с самого начала, сказал какому-то мальчонке в нагольном тулупчике:

«Пора!» И тут же среди студентов зашелестело: «Пора! Пора!» — и все толпой кинулись к выходу. А господина Абрамова в проходе так к стенке прижали, что он не сразу сумел выбраться. А когда вышел на улицу, тут уж безобразие по всей форме происходило. Блондин посреди толпы размахивал шапкой и дерзостные слова произносил: «Наше знамя — их знамя! На нем написано: «Земля и воля крестьянину и работнику!»». А две девицы в серых шапочках рядом стояли, в ладошки шлепали и кричали «браво!».

«Господи боже мой! — мысленно ахнул Абрамов. — Да что же это такое творится? Да их всех тут же хватать надо и в кутузку». Так нет. Городовой; вместо того чтобы меры срочные принимать, стоит в сторонке и хоть бы что, только сигарку свою вонючую тянет. «Да что ж ты не свистишь в свой свисток, который на цепке висит? На кой же он тебе даден?» А тут прямо как молния полыхнула — кто-то из толпы тряпку красную кверху подкинул, а на тряпке слова написаны, из которых Абрамов разобрал слово «земля», а потом, когда другой раз вверх тряпка взлетела, и второе слово разобрал — «воля». «Земля и воля», стало быть, вот чего. Затем, когда тряпку мальчонка в нагольном тулупчике подхватил, стали и его вместе с тряпкой подкидывать, а он ее на лету разворачивал и всему народу показывал. И неизвестно чем бы дело кончилось, когда б проходящий мимо чин полиции (не чета Есипенке) сразу в толпу не врезался, тряпку чтобы отобрать. Тут уж и господин Абрамов не выдержал, закричал:

— Хватай перво-наперво белобрысого!

Но тут и вовсе не поймешь чего приключилось. Чина свалили с ног. Городовой бросил свою сигарку, кинулся чина выручать, сам на земле очутился. Тут

господин Абрамов задумался, как быть дальше. Кричать «караул» — так, глядишь, самого пришибут (господин Абрамов был не прочь пострадать за отечество, но не сильно). Но, слава богу, без него обошлось. Набежали городовые, свистят, бегут кучи, шорники, извозчики, на ходу рукава засучивают, а студенты, двигаясь со своей стороны к памятнику Кутузову, кричат: «Братцы, идите плотнее! Кто подойдет, тот уйдет без головы!» Тут-то вся катавасия и началась. Как сбились все в кучу, так началось такое побоище, что любо-дорого посмотреть. Кому голову пробили, кому в ребро двинули, а уж что касается оторванных воротников или пуговиц, то об этом и говорить нечего.

В самый разгар схватки с полицией парнишка в нагольном полущубке, сунув в штаны оставшийся при нем красный флаг, стал выбираться наружу. Тут столкнулся он с двумя барышнями в серых шапочках, которые смотрели на него улыбаясь. Парнишка остановился и посмотрел на барышень подозрительно.

— Ты чей? — вдруг спросила одна из них, вроде бы младшая.

— Я-то?

— Ты-то, — кивнула головой младшая.

Что-то в барышнях привлекало парнишку, но что-то и настораживало.

— А вы откуда такие? — спросил он, подумав.

— А мы свои, — сказала старшая. — Меня Верой зовут, а ее Женей.

— Сестры? — спросил парнишка.

— Сестры, — охотно кивнула младшая.

— Ишь ты! Похожи!

Сделанное открытие почему-то убедило парнишку, что барышням можно довериться.

— Потапов Яков,— представился он солидно и сунул руку сперва одной барышне, а потом другой, по старшинству.

— К нам обедать пойдешь?

— А далеко?

— Да нет, тут рядом.

— А, пошли,— тряхнул головой парнишка.

Вышли на Невский. По дороге Вера расспрашивала:

— Ты сам-то откуда будешь?

— Тверской губернии Старицкого уезда деревня Казнаково,— охотно отвечал Яков.— Не слышали?

— Нет, не слыхала. Большая деревня?

— У-у! — прогудел Потапов.— Большая. Ну, правда, с Питером не сравнить.

— А тебе сколь годов-то будет? — пыталась Евгения подделаться под народный язык.

— Семнадцать.

— А ты смелый,— одобрительно сказала Вера.— Знамя не побоялся поднять?

— А чего мне бояться? Меня в Киеве рестокали — убег. В деревню отправили — убег и оттеда. Еще рестуют, еще убегу.

Благонамеренный господин Абрамов, в длинном пальто и мерлушковой шапке, шел за ними, несколько приотстав. Честолюбивая мечта принести посильную пользу отечеству и заслужить похвальное слово участкового пристава еще на Казанской площади подсказала ему, что надо делать. Однако, опасаясь получить по уху, он сдерживал до поры свой гражданский порыв и в драку не влез. Теперь было дело иное. Ежели сзади налететь и скрутить руки за спину, рассуждал он сам с собою, то, может, и ничего страшного. Эти две девицы вполне субтильны, но, с другой стороны, как бы не стали царапаться. А что

как в сумочках у их револьверы? В буйном воображении господина Абрамова картина триумфа (господин пристав путем личного рукопожатия приносит ему благодарность за усердие) сменилась картиной печального поражения (молодой труп, остывающий на размякшем снегу). К счастью господина Абрамова, на углу Невского и Михайловской попался ему городской, который сразу понял все с полуслова и согласился разделить лавры. Они налетели сзади и сразу повалили Якова на тротуар. Покуда городской держал его за руки, тот сапогом ухитрился все же попасть в подбородок господина Абрамова. Едва оправившись от боли, господин Абрамов набросился на свою жертву. Городовой, уступив Потапова Абрамову, кинулся задерживать барышень, но те уже сиделись на лихача. Городовой поднес к губам свисток, но шарик, создающий полицейскую трель, от сильного мороза примерз там внутри, и вместо трели получилось пустое движение воздуха. А лихач заворачивал уже преспокойно на Большую Садовую.

Вера и Евгения оставили извозчика на Бассейной, прошли еще два квартала пешком и юркнули в подъезд серого дома. На третьем этаже Вера постучала условным образом. Дверь открыл Марк Андреевич Натансон.

— А, сестрички — серые шапочки! Слава богу, целы. А я уж, грешным делом, забеспокоился, что вас схватили.

В большой гостиной сидели люди, большинство из которых были Вере уже знакомы. Киевский бунтарь Валериан Осинский, деятельный, но малоразговорчивый Александр Баранников, предприимчивый Аарон Зунделевич, Александр Иванович Ивановичи-Писарев, Иосиф Иванович Каблиц. Ольга, жена

Натансона, разносила чай. Пили, держа в руках чашки с блюдцами. Жорж Плеханов, герой дня, произнесший сегодня речь там, у Казанского собора, сейчас тихий и неприметный сидел в красном углу под иконами. Все были радостно возбуждены. Все, кроме Иванчина-Писарева, который брюзжал:

— Как хотите, господа, а на мой взгляд, это не демонстрация, а просто глупость. Глупость, с одной стороны, и провокация — с другой. Нет, вы сами подумайте, — обращался он преимущественно к Жоржу, — что произошло?

— Первое массовое выступление передовых рабочих и землевольцев, — сказал Плеханов.

— Массовое выступление? — язвительно переспросил Писарев. — А я вам повторяю: глупость, а не массовое выступление. Пришли студенты, сами не зная зачем, устроили свалку, сбежались дворники и мясники, побили студентов и многих утащили в полицию. Твоя речь, Жорж, не спорю, была смелая и благородная, но сидеть в каталажке за это будешь не ты.

— Я рисковал не меньше других, — вспыхнул Плеханов. — А что касается значения демонстрации, то уверяю вас, мы его недооцениваем. Вот ты говоришь, пришли студенты, устроили свалку. Теперь попробуй взглянуть другими глазами: первый раз после декабристов в столице России вышли люди, которые открыто провозгласили свои идеалы и цели. Свалка? Ничего себе «свалка»! А отчего же так перепугалась полиция? Нет, брат, в истории России эта самая, как ты говоришь, «свалка» станет очень заметным событием. Новая организация «Земля и воля» начала действовать!

Незнакомый молодой человек с рыжеватой бородкой сидел на диванчике рядом с Верой и переводил с

одного спорщика на другого глаза, в которых светилось любопытство.

— Вы т-тоже т-там были, на п-площади? — слегка заикаясь, наклонился он к Вере.

— Была,— гордо сказала Вера.

— И не побоялись?

— Я вообще никогда ничего не боюсь! — вспыхнула Вера.

— Да? — удивился молодой человек. — А я иногда к-кой-чего п-побаиваюсь.

Вечером, когда все стали расходиться, молодой человек вышел на улицу вместе с Верой и Евгенией. Пушил над городом легкий снежок, шла по тротуарам праздная публика, по проезжей части, шурша полозьями, катили роскошные экипажи, и Вера, подумав, что могла бы уже сегодня сидеть где-нибудь в полицейском участке, невольно поехала.

— Вы д-давно в Петербурге? — спросил молодой человек.

— Я второй месяц, а она, — Вера кивнула на Евгению, — только что из Швейцарии. А вы?

— Я здесь учился, правда недолго. В прошлом году был выслан за беспорядки на родину.

— А где ваша родина?

— Там, где плакала Ярославна. Помните?

— В Путивле?

— Да.

— А Ярославна там действительно плакала?

— Возможно. Я этим, знаете ли, как-то мало инт-тересовался. Вы, вероятно, хорошо учились?

— Неплохо.

— А я с-с-с-средне. Я больше не науками, а всякой н-нелегальщиной ув-влекался.

— А теперь чем занимаетесь?

— П-присматриваюсь.

- К чему?
- К ж-жизни.
- Ну и как?

— Мы ведем с-слишком много пустых разгово-
ров. Одни говорят, надо учить народ, другие гово-
рят, надо учиться у народа, третьи выдумывают что-
то насчет мешков с динамитом, а все это ч-чистая ма-
ниловщина. Надо собраться всем вместе, решить
твердо, что надо делать, и действовать всем заодно.
Тогда, может, что-нибудь и п-получится.

— В первую очередь,— вмешалась Евгения,—
для революции нужно много смелых, отважных лю-
дей. Тогда все получится.

— С-смелых людей,— сказал молодой человек,—
в России хватает. Ум-мных мало.

— Странный вы какой-то,— сказала Вера.— Как
вас зовут?

— Друзья н-называют меня Д-дворником,— ус-
мехнулся он.

Вера переглянулась с сестрой, а когда захотела
опять сказать что-то спутнику, вдруг обнаружила,
что его нет.

— Куда же он делся? — удивилась Вера.

— Не знаю,— в испуге прошептала Евгения.—
Только что был.

— Какой-то странный тип.

— Черт, наверно,— почти убежденно сказала
Евгения.

Глава пятая

Год 1877-й. Волна политиче-
ских процессов. «Дело о пре-
ступной демонстрации, бывшей на Казанской пло-
щади...». «Дело о разных лицах, обвиняемых в госу-
дарственном преступлении по составлению противо-

законного сообщества и распространению преступных сочинений» или «процесс 50-ти», «процесс 193-х». За мирную пропаганду идей, за чтение запрещенных книг, за присутствие во время демонстрации на Казанской площади, за недонесение молодые, только что вступающие в жизнь люди отправляются на каторгу (откуда многие уже никогда не вернутся), в ссылку, заточаются в монастыри. К следствию привлекаются тысячи людей всех сословий и возрастов. От двенадцатилетнего мальчика до восьмидесятичетырехлетней неграмотной крестьянки. Многие годами ожидают суда в невыносимых тюремных условиях. Многие не выдерживают, сходят с ума, кончают жизнь самоубийством. Восемнадцатилетний юноша после двух лет одиночного заключения вскрывает себе вены осколком разбитой кружки. У него находят письмо отцу: «Добрый папа! Прости навеки! Я верил в Святое Евангелие, благодарю за это бога и тех, кто наставил меня. Здоровье очень плохо. Водянка и цинга. Я страдаю и многим в тягость — теперь и в будущем. Спешу избавиться от лишнего бремени других, спешу покончить с жизнью. Бог да простит мне не по делам моим, а по милосердию своему. Прости и ты, папа, за то неповиновение, которое я иногда оказывал тебе. Целую крепко тебя, братьев... Простите все. Нет в мире виновного, но много несчастных. Со святыми меня упокой, господи...»

Известный юрист Кони пишет в письме наследнику престола, будущему Александру III:

«Будущий историк в грустном раздумьи остановится перед этими данными. Он увидит в них, быть может, одну из причин незаметного по внешности, но почти ежедневно чувствуемого внутреннего разлада между правительством и обществом...»

Для Веры Фигнер год 1877-й не история, а суровая действительность. На «процессе 50-ти» судят ее сестру Лидию, судят ее подруг по Цюриху — Софью Бардину, Варвару Александрову, Александру Хоржевскую, Ольгу и Веру Любатович, Евгению, Надежду и Марию Субботинных. А вместе с ними на скамье подсудимых — рабочий Петр Алексеев. Тот самый, который скажет: «...подымется мускулистая рука миллионов рабочего люда — и ярмо деспотизма, огражденное солдатскими штыками, разлетится в прах!».

Не меньшее впечатление произвело выступление Софьи Бардиной, которое она закончила такими словами:

«Я убеждена... в том, что наступит день, когда даже и наше сонное и ленивое общество проснется и стыдно ему станет, что оно так долго позволяло безнаказанно топтать себя ногами, вырывать у себя своих братьев, сестер и дочерей и губить их за одну только свободную исповедь своих убеждений! И тогда оно отомстит за нашу гибель... Преследуйте нас — за вами пока материальная сила, господа, но за нами сила нравственная, сила исторического прогресса, сила идеи, а идеи — увы! — на штыки не улавливаются!..»

14 марта 1877 года. Закончено трехнедельное разбирательство на «процессе 50-ти». Обвиняемым вынесен приговор. Бардина и Ольга Любатович получили по девять лет каторги, Вера Любатович — шесть, Лидия Фигнер, Варвара Александровна и Александра Хоржевская — по пять (впоследствии приговор будет смягчен и каторгу для женщин заменят ссылкой). Сенаторы покинули свои места за судейскими креслами. Конвой увел осужденных. Публика

хлынула в открытые двери. Последними выходит родственники осужденных. Среди них Екатерина Христофоровна, Вера и Евгения Фигнер. Екатерина Христофоровна прикладывает к глазам батистовый платочек.

— Мамочка, вы не должны плакать,— говорит Вера.— Лидинька вела себя как герой.

— Да, я все понимаю,— кивает Екатерина Христофоровна.

Она все понимает. Но и ее можно понять. Одна дочь уходит на каторгу, а две другие готовятся пойти по ее стопам. «Откровенно говоря, на скамье подсудимых должна была бы сидеть ваша дочь Вера, а не Лидия»,— доверительно сказал ей на днях прокурор Жуков.

Они выходят на улицу. Их встречает небольшая группка посиневших от холода молодых людей. Подносят цветы, ведут к извозчику. Какие юные, какие благородные лица!

— Мамочка, вы езжайте,— Вера торопливо целует мать,— а я приду вечером.

— Ты разве сейчас не едешь с нами?

— Нет, мамочка, мне еще надо забежать в один дом по делу,— Вера прячет глаза.

В какой дом, по какому делу? Слова прокурора Жукова — не пустые слова. Конечно, у полиции нет никаких улик против Веры. Но стоит проследить за тем, куда она ходит... Среди публики распространяются отпечатанные в тайной типографии листки с подробным описанием судебных заседаний, речи Бардиной и Алексеева. Екатерина Христофоровна не задает старшей дочери лишних вопросов, но она знает точно: это и ее рук дело. Не зря, сидя на суде, Вера подробно записывает все, что там происходит.

— Поберегись! — кричит извозчик.

Сани круто разворачиваются и скрываются за углом. Вера идет в обратную сторону. Сейчас ей надо в подпольную типографию Аверкиева. Там ее ждут с известиями о приговоре. Но прежде чем попасть в типографию, необходимо оторваться от «хвоста». «Хвост» этот, плохо одетый замерзший детина с сизым носом на постном лице, уныло плетется за своим «объектом», даже не пытаясь особенно скрыть факт своего присутствия. Да и то сказать, дело трудное. Отстанешь — потеряешь из виду. И тогда получишь нагоняй в Третьем отделении от господина Кириллова. И несчастный тащится за Верой шагах в шестисеми. Вера переходит на другую сторону улицы — филер за ней, Вера снова пересекает улицу — пересекает улицу и он. Зашла в булочную, он остановился возле театральной афиши. Милый ты мой, зачем же тебе эта афиша, ты небось и в театре-то отродясь не бывал. Вера выходит из булочной, идет дальше — филер за ней. Она останавливается, смотрит в маленькое зеркальце: стоит филер, стоит, делает вид, что закуривает, ломает спички. Вера неожиданно срывается с места и идет быстро, почти бежит. Филер, уже совсем не таясь, тоже торопливо переставляет ногами...

— Здравствуйте!

Вера вздрагивает. Рядом с ней идет молодой человек с рыжеватой бородкой. Тот самый, который провозжал ее и Евгению от Натансона.

— В-вы меня узнаете?

— Господи, откуда вы свалились?

— А я видел вас на суде, а потом смотрю, за вами филер увязался, д-думаю, надо спасать. Я п-по этому делу специалист. Давайте пока свернем в переулок. Мы идем рядом и непринужденно беседуем. Теперь входим в этот подъезд...

— Зачем?

— Потом объясню.

Как только вошли в подъезд, молодой человек сразу преобразился.

— Теперь быстро за мной! — скомандовал он.

Он быстро пошел вперед. Вера за ним. Вышли в какой-то двор с развешанным между деревьями бельем, с этого двора попали в другой, прошли мимо мусорного ящика и очутились в безлюдном переулке.

— Н-ну вот и все, — удовлетворенно сказал молодой человек. — Мне ужасно хотелось помочь вам отделаться от этого типа.

— Вы знаете все проходные дворы? — с любопытством спросила Вера.

— В центре все, а на окраинах многих пока не знаю. П-проходные дворы — это мой конек. Я считаю, что революционер обязан их знать, чтобы уметь вовремя скрыться. Поэтому, между прочим, меня и зовут Дворником.

— А моя сестра назвала вас чертом, — сказала Вера. — Помните, когда вы от нас так ловко скрылись.

— К сожалению, ваша сестра ошиблась, — улыбнулся Дворник. — Мне до черта пока еще далеко.

Помолчали. «Какой странный и симпатичный человек этот Дворник», — думала Вера, поглядывая на своего спутника.

— Значит, вы были на суде? — спросила она. — Как вам удалось туда попасть? У вас был билет?

— Б-был, конечно, — улыбнулся Дворник. — Правда, ф-фальшивый.

— И какое у вас впечатление?

— Огромное. Все подсудимые мне ужасно понравились, а в вашу сестру я п-просто, извините, влюбился. Но все-таки так пельзя.

— Как?

— Видите ли, главный недостаток в работе вашей сестры и других состоит в том, что они слишком быстро попались. Мы действуем слишком открыто, пренебрегая требованиями к конспирации. По принципу «бог не выдаст, свинья не съест». Среди наших товарищей надо вести самую упорную борьбу против широкой русской натуры. Только тогда мы сможем создать настоящую сплоченную и дисциплинированную организацию. Нет, вы не спорьте, — сказал он, зажигаясь, хотя Вера и не спорила. — Перед нами очень грозный и организованный противник, у которого армия, полиция и тысячи шпионов. Мы этого противника должны превзойти если не количеством, так качеством. Каждый революционер должен быть не только смелым, но осторожным и расчетливым. Все должны действовать по общему плану. Кстати, вы чем собираетесь заняться в ближайшее время? — спросил он без всякого перехода.

— Думаю вести пропаганду в народе, — просто сказала Вера. — Но очень трудно устроиться. Пока рассылаю в разные губернии письма с предложением услуг. Я ведь фельдшерица.

— Александра Первого знаете? — спросил Дворник.

— Царя? — удивилась Вера.

— Нет, — улыбнулся Дворник. — Наш один. Саша Квятковский. Найдите его через Натансона, и он вам поможет устроиться.

— А через вас я его найти не могу?

— К сожалению, нет. Я уезжаю из Петербурга.

— Далеко?

— Б-богу молиться.

— Вы всегда говорите загадками, — сказала Вера.

— Чтобы не обременять чужую память лишни-

ми сведениями,— опять необходимо улыбнулся Дворник.— Ну, мне сюда.— Он остановился перед каким-то парадным.— П-прощайте.

— Прощайте,— сказала Вера.

Но Дворник не уходил. Он стоял и смотрел на Веру своими серыми смущающими глазами.

— Вы знаете,— сказал он вдруг волнуясь.— Мне к-кажется, что мы с в-вами еще ч-часто будем встречаться и п-подружиться.

К своему удивлению, Вера заметила, что Дворник вдруг густо покраснел.

— Прощайте,— сказал он еще раз, видимо пытаясь скрыть смущение.

И тут же исчез за облупленной дверью.

Глава шестая

В апреле началась война с Турцией. Вера переменяла решение: не в деревню она поедет, а на фронт. Фельдшером или сестрой милосердия. Солдаты тоже народ, а фронт не худшее место для пропаганды. Поехала в Москву. Остановилась у Юрия Николаевича Богдановича, который вместе с Иванчиным-Писаревым снимал нелегальную квартиру, где вынашивались планы освобождения Бардиной и Ольги Любатович, содержащихся перед отправкой на этап в разных полицейских частях Москвы.

Генерал, ведавший отправкой на фронт врачей и сестер милосердия, принял Веру не очень приветливо. Мельком взглянул на ее документы и подвинул их к краю стола:

— Нет, не нужно. Мы завалены предложениями.

Пришлось возвращаться ни с чем. У Богдановича

встретила Прасковью Георгиевскую, брат и сестра которой проходили по процессу «пятидесяти» и теперь тоже сидели в полицейской части. Георгиевская собиралась их навестить.

— Между прочим,— сказала она,— там же находится и один ваш знакомый, поэт Саблин.

— Николай? — удивилась Вера. — Что за невезучий человек! Опять попался. Вы сейчас же туда идете?

— Да, сейчас же туда иду,— улыбнулась Георгиевская.

— Я с вами. Если вы, конечно, не против.

— Что вы! Буду только рада.

По дороге купили фрукты. Пришли. Полуграмотный сторож долго водил по списку корявым пальцем. Несколько раз переспросил фамилию. Бормотал: «Саблин, Саблин... Что-то такого не помню». Наконец нашел.

— Хорошо, передам. Оставьте свой пакет.

— А вы не перепутаете?

— Отродясь еще не путал,— обиделся сторож.

Оставили фрукты, записку. Но вместо того, чтоб сразу отправляться домой, остановились посреди двора, стали перекрикиваться с заключенными. Вышедший на шум жандарм арестовал обоих. В жандармском управлении допрашивал прокурор с постным лицом и с рыбьим бесцветным взглядом,

— Ваше имя и местожительство?

— Не скажу.

— Почему?

— Не скажу, и все.

— Дело ваше. Запишем бродягой, не помнящим родства.— Прокурор вызвал дежурного.— Отправить барышню в тюремный замок и держать, покуда не вспомнит, кто она и откуда.

И вот Вера в Пугачевской башне Бутырской тюрьмы. Тесная камера с железной койкой, маленьким столиком и расшатанным стулом. В углу параша. В камере сыро, холодно, а на Вере ничего, кроме черного платья и шляпки с розами. Ни пальто, ни накидки, ни смены белья. А что происходит вокруг? В дверях камеры незапертая форточка. Вера откидывает ее, в форточке противоположной камеры видит знакомое лицо. Телеграфист. Тот самый, с которым она встречалась в трактире, через которого передавала записки товарищам. «Ну все,— мелькнула ясная мысль.— Теперь этот тип меня тут же выдаст жандармам. Правда, имени он не знает, но того, что он знает о передававшихся ежедневно записках, достаточно».

— Здравствуйте,— говорит телеграфист, и его плоское испитое лицо расплывается в улыбке.

— Здравствуйте,— говорит Вера.— Как вы сюда попали?

— Музыкант продал,— грустно сообщает телеграфист.— Теперь вот не знаю, как быть: то ли от всего отказываться, то ли, наоборот, признаться. Прокурор говорит: если не признаешься, загоним туда, куда Макар телят не гонял, признаешься во всем — выпустим.

— Прокурору не верьте, обманет. Молчите, как рыба. Если признаетесь, вас припутают к политическому делу, и тогда Сибири не миновать. Сидите смирно. Знать ничего не знаю, ведать не ведаю. В крайнем случае сошлют в Архангельскую губернию, а телеграфистом можно работать и там.

— Оно-то, конечно, так,— колеблется телеграфист,— но с другой стороны, если сразу все рассказать...

— Смотрите,— говорит Вера.— Дело ваше. Но если попадете в Сибирь, песяйте на себя.

— Ладно, буду молчать. Только мне хотелось бы для своей специальности подучить французский язык. Тогда нам жалованье платят больше. Вы не можете?

— Охотно. Если хотите, давайте прямо сейчас и приступим.

Спустя несколько дней ее вызвали в жандармское управление. За столом — знакомый прокурор.

— Вы по-прежнему отказываетесь назвать свое имя?

— Отказываюсь.

— И совершенно напрасно. Нам все известно.

— Неужели?

— Сейчас вы в этом убедитесь. Ваша мать приехала из Петербурга и теперь сидит в соседней комнате. Так как ваше имя?

Вера лихорадочно думает, оценивая обстановку. Может быть, прокурор расставляет ловушку. Но мать, Петербург...

— Пишите: Филиппова.

— Кто ваш муж?

— Секретарь Казанского окружного суда.

Прокурор заглянул в какую-то книжечку, сопоставил Верин ответ со своими сведениями.

— Где вы оставили свои вещи?

— Я приехала без вещей.

— Ну, барышня, такие сказки только в подготовительном классе проходят. Никто не ездит из Петербурга в Москву без чемодана или на худой конец саквояжа.

— Я ехала курьерским поездом и думала им же вернуться обратно.

Прокурор смотрит на нее недоверчиво:

— В таком наряде наносят визит или выходят пройтись по Невскому, но никак не садятся в поезд. Пока вы не скажете, где оставили вещи, мы вас не выпустим.

Новая задача. Вещи у Богдановича на конспиративной квартире. Но у Георгиевской обыск, конечно, уже сделан, едва ли жандармы захотят повторять его.

— Ну хорошо, вещи я оставила у Георгиевской.

— Почему же вы сразу этого не сказали?

— Я боялась себя скомпрометировать,— сказала Вера первое, что пришло в голову.

— Ну ладно,— устало согласился прокурор.— Предположим, что я вам поверил. Извольте дать подписку о невыезде из Петербурга.— Он придвинул к ней лист бумаги.— А теперь идите. Там вас ждет ваша матушка. Советую, если вам своей жизни не жалко, поберегите хотя бы ее.

Весь остаток дня до самого отъезда Екатерина Христофоровна провела в волнении. Слава богу, на этот раз обошлось. Удалось ей уговорить прокурора. «Господин прокурор, Христом-богом молю. Ведь у вас тоже есть мать». — «Да, у меня есть мать. Но она меня воспитывала в духе уважения к закону и любви к отечеству». И только когда стала перед ним на колени, он испугался. «Что вы, что вы, не нужно-с».

Все же и у прокурора есть сердце. Потом Екатерина Христофоровна хотела сразу ехать на вокзал, но Вера сказала, что ей надо забрать вещи, которые она оставила у друзей.

— Хорошо,— сказала Екатерина Христофоровна,— я еду с тобой.

душе, и все же поехала. До Разгуляя доехали на извозчике, потом петляли какими-то переулками, наконец, остановились у подворотни трехэтажного дома.

— Мамочка, дальше вам нельзя,— сказала Вера решительно.

— Почему же мне нельзя? Ведь я твоя мать.

— И матери нельзя,— сказала она довольно резко.

— Доченька,— сказала Екатерина Христофоровна со слезами на глазах.— Даже прокурор со мной разговаривал мягче.

— Мамочка, если б можно было. Но ведь правда нельзя. Эта квартира такая, куда я не имею права вас приглашать.

— Да что ж это за такая квартира?

— Нелегальная квартира! — вспыхнула дочь.

При слове «нелегальная» мать вдруг присмирела и сдалась.

— Ладно, иди, я подожду.

— И посмотрите, чтоб за мной «хвост» не увязался.

— Хвост? — удивилась Екатерина Христофоровна.— Ах, да, это, кажется, на вашем языке шпионов так называют. Ладно.— И вдруг испугалась.— Вера!

— Что?

— Ты ведь от меня не сбежишь, а, доченька?

— Нет, мамочка,— улыбнулась Вера,— не сбегу.

— Ты мне правду говоришь, ты меня не обманываешь?

— Мамочка! — снова повысила голос Вера.— Вы же меня хорошо знаете. Если я сказала «нет», значит, нет.

Это была правда. Она всегда делала так, как говорила. И Екатерина Христофоровна отпустила ее. А сама стояла в подворотне и в каждого прохожего внимательно вглядывалась: не шпион ли? А потом,

когда Вера вышла с саквояжем, Екатерина Христофоровна сказала ей с упреком и облегчением:

— Вот ты уже и из меня нигилистку сделала.

До самого отправления поезда она сидела как на иголках. А вдруг Веру выпустили только, чтоб проследить, куда пойдет и поедет? Вдруг арестуют на вокзале? Но вот, слава богу, поезд тронулся. Екатерина Христофоровна облегченно вздохнула.

Глава седьмая

— Верочка, скажу вам начистоту, я положительно не знаю, что делать с нашим Морозиком. — Иванчин-Писарев крупными шагами расхаживал по комнате. — Вы имеете на него влияние, и вы должны с ним поговорить.

— О чем? — спросила Вера.

— Как будто вы не знаете о чем. В последнее время он совершенно отбилсЯ от рук и вытворяет бог знает что. Я понимаю: надоело. Болтались в Тамбове, не устроились, приехали сюда, в Саратов, то же самое. Мест нет. Сидим, бьем баклуши, я изображаю из себя капитана какого-то мифического парохода «Надежда», вы моя жена, а остальные и вовсе непонятно кто — то ли матросы, то ли бедные родственники. Да, скучно. Сидеть в этой дыре, в то время как в Петербурге происходят важные события — оправдание Веры Засулич и прочее. Но ведь никто никого насильно сюда не тянул. Я понимаю, что он поехал сюда вовсе не потому, что ему улыбалась работа в народе, а совсем по другой причине. Не краснейте, пожалуйста, Верочка, в том, что он в вас влюблен, нет ничего зазорного. Во всяком случае, вы в этом совер-



шенно не виноваты. Богданович и Соловьев тоже в вас влюблены, хотя и умеют скрывать свои чувства. Николай горяч, экспансивен, но всему ведь есть предел. Мы же договорились! Нас в городе нет, никто не должен нас видеть, а потому без особой нужды на людях не появляться. А что делает наш дорогой Морозик? Целыми днями торчит в библиотеке, якшается со здешними начинающими поэтами, слушает их стихи, читает свои, которые напечатал в сборнике «Из-за решетки». А вчера таскался с какими-то гимназистами за Волгу и там палил из какого-то дурацкого револьвера, который стреляет одновременно всеми шестью зарядами. Да это гусар, честное слово, а не революционер-подпольщик! Верочка, вы одна можете укротить этого зверя. Я вас очень прошу, повлияйте на него как-нибудь мягко, по-женски, как вы умеете.

Она не стала ему возражать. Она понимала, что в какой-то степени ответственность за поведение Морозова лежит и на ней. Она сама звала его сюда, сама рисовала идиллические картины. Писарев, Богданович и Соловьев будут работать волостными писарями, она фельдшерницей, а он народным учителем. Однако время идет, а они до сих пор не могут устроиться.

Что касается «идиллических картинок», то она, правду сказать, на них насмотрелась. Досыта. Как-никак три месяца пробыла в селе Студенцы Самарской губернии. И насмотрелась и наплакалась. По тридцать — сорок человек в день принимала. И каких только больных там не было! Калеки и убогие, старые и молодые, женщины и дети. Вокруг грязь, нищета, голод. Боже мой, да она для пропаганды и рта не раскрывала. Какая тут пропаганда! А пока была там, узнала из газет: в Петербурге Вера Засулич стреляла в градоначальника Трепова. В того самого, который

велел высечь в Доме предварительного заключения Боголюбова, осужденного за участие в казанской демонстрации. Боголюбов, видите ли, не снял перед градоначальником шапку. Тогда в Петербурге много говорили о том, что Трепову надо отомстить. Говорили, говорили и забыли. А Засулич не забыла. И вот теперь, пока они здесь, в Саратове, ожидают работы, присяжные в столице оправдывают Засулич. На улицах Петербурга происходят демонстрации студентов. А они сидят здесь и ждут у моря погоды.

Она сказала Писареву «хорошо» и вернулась в соседнюю комнату, где Богданович с Соловьевым готовили ужин. Соловьев щипал лучину для самовара, Богданович чистил картошку над закопченным чугуном.

— Не бросай очистки на пол,— сказала она и, взяв нож, села рядом.

— Ну что? — спросил Богданович. — Предводитель (так называли они между собой Иванчина-Писарева) опять сетовал на нашего вольного стрелка?

— Да.

Помолчали. Соловьев загнал в ладонь занозу и теперь пытался вытащить ее зубами.

— А может быть, он и прав,— задумчиво сказал Богданович.

— Кто? — спросил Соловьев.

— Воробей, конечно — (Воробей была кличка Морозова). — Торчим здесь столько времени и делаем вид, что нас нет, хотя весь город, кроме, пожалуй, полиции, знает, что мы здесь. Сбесишься со скуки. Как считаешь, Саша?

— Может быть,— флегматично пожал плечами Соловьев.

— Может быть, может быть,— передразнил Богданович. — У тебя когда-нибудь бывает свое мнение?

— Иногда бывает.

— Разговорился,— усмехнулся Богданович.— Целых два слова подряд. Ты бы рассказал Вере, за что тебя в последний раз в кутузку тащили.

— Да ну! — смутился Соловьев.

— Нет, право, расскажи, это очень смешно,— просил Богданович.

— И ничего смешного,— сказал Соловьев.

— Очень даже смешно. Понимаешь, Верочка, возвращается однажды наш Саша с какой-то сходки к себе на нелегальную квартиру. И, как это бывает только с ним, забыл собственный адрес. Помнит только, что где-то на Васильевском острове. А уже ночь, деваться некуда, блукает от одного дома к другому, вдруг навстречу городской. «Кто идет?». «Черт!» — отвечает Саша...

Хлопнула входная дверь. Богданович смолк, не договорив. Пришел Морозов, и все стали вслушиваться, что будет в соседней комнате. Соловьев все еще пытался ухватить зубами занозу.

— Дай-ка руку.— Вера отколола от воротничка булавку и начала ковырять ладонь Соловьева.

В соседней комнате слышались голоса — спокойный Морозова и возбужденный Иванчина-Писарева, но разобрать слова за дверью было невозможно.

— Вот и все.— Вера вытащила занозу и повернулась к Богдановичу.— Ну, и что дальше?

— Что дальше? — Богданович вслушивался в то, что происходит за дверью, и не понял вопроса.

— Городовой спрашивает: «Кто идет?», а Шура отвечает «Черт», — напомнила Вера.

— Да бог с ним, с чертом, это пусть он тебе сам расскажет. Тут есть кое-что поинтереснее. Пошел я сегодня в лавку за колбасой, смотрю, навстречу двое запряженных парами саен. Два мужика с вожжами

в руках идут сбоку. Смазные сапоги, тулупы нарасташку, под тулупами длинные пиджаки, часы с цепочками, красные рубахи без галстуков. Смотрю — знакомые лица. «Здравствуйте,— говорю,— господа купцы! Откуда и куда путь держите?» — «Торгуем, барин, помаленьку, скупаем яйца и крупы, продаем всякий деревенский товар: сапоги, полushалки, деготь, свечи, подковные гвозди». Шапки сняли, кланяются, стрижены в скобку, волосы постным маслом помазаны. «Ах вы,— говорю,— чертовы сыны, а есть ли у вас свидетельство на право торговли?».— «Есть, ваше благородие, аж цельных два». — «А уж не липовые ли у вас эти свидетельства?».— «Так точно-с, ваше благородие, липовые, и даже очень-с». — «А не занимаетесь ли вы кроме торговли чем-нибудь незаконным?».— «Занимаемся, господин хороший, еще как занимаемся. Пропаганду ведем середь мужичков-с, начальство местное обличаем-с, выискиваем всяческих недовольных».

— Да кто ж это такие были? — не выдержала Вера.

— Небось кто-нибудь из наших,— сказал Соловьев.

— Точно, угадал. Попов и Харизоменов. Оказывается, тут ими кишмя кишит вся губерния. Александр Первый ходит коробейником по деревням, Саша Михайлов живет у раскольников, вместе с ними расшибает лоб, хочет повернуть раскол лицом к революции.

— Кто этот Саша Михайлов? — спросила Вера.

— Ты разве с ним не знакома? — удивился Богданович. — Дворник говорил, что знает тебя.

— Так он и есть Дворник? — почему-то обрадовалась Вера. — Тот, который заикается немногого?

Отворилась дверь в соседнюю комнату, и влетел красный как рак Морозов. Следом за ним вошел Иванчин-Писарев.

— Слыхали, что этот деятель придумал? — спросил он, кивая на Морозова.

— Расскажи, услышим, — сказал Богданович.

— Авантюрист, — кипятился Писарев. — Решил вместе со здешними гимназистами ухлопать какого-то пристава.

— Не решил, а советуюсь, — поправил Морозов.

— И советовать нечего. Своя голова есть. Ну ладно эти гимназисты, они еще желторотые. Но ты... Ты что, забыл, для чего ты здесь? Забыл о главной нашей задаче? Считаешь себя революционером, и опытным, в тюрьме сидел! Зачем тебе этот пристав понадобился?

— Этот пристав, между прочим, уже упек несколько человек ни за что ни про что в Сибирь и на этом останавливаться не желает.

— Все равно его трогать нельзя. Да стоит сделать даже пустую попытку, как немедленно сюда слетится Третье отделение в полном составе, перевернут вверх дном всю губернию, арестуют каждого мало-мальски подозрительного человека.

Морозов насупился:

— Когда Засулич стреляла в Трепова, мы приветствовали ее. Почему же мы должны помешать местной молодежи совершить то же самое?

— Потому, что мы предпринимаем дело более прочное и серьезное, — строго сказал Писарев. — И чтобы не провалить это дело, нужно быть очень осторожными. Завтра же скажи своим друзьям, пусть не вздумают ничего такого предпринимать.

— Ладно, — примирительно буркнул Морозов, — скажу.

Помолчали. Соловьев, не принимавший участия в разговоре и даже, казалось, не проявлявший к нему никакого интереса, поджег в самоваре щепки и стал раздувать огонь при помощи старого сапога. Богданович собрал очистки и высыпал в ведро, стоявшее в углу комнаты.

— Пойду пройдуся,— сказал Морозов и пошел к дверям.

— Возьмешь меня с собой? — спросила Вера.

— Пойдем.— Он сказал вроде бы равнодушно, но она видела, как радостно блеснули за стеклами очков его глаза.

На дворе было звездно, морозно, и снег, подтаявший за день, покрылся хрустящей коркой. Откуда-то, кажется из-за Волги, доносился печальный звук гармоники. Николай посмотрел на Веру:

— Хорошо?

— Хорошо,— сказала она и взяла его под руку.

— Куда пойдем? — спросил он.— Туда или сюда?

— Туда,— махнула она свободной рукой в сторону города.

Тропинка, по которой они шли, была узкая, и Николай, уступая ее Вере, то и дело проваливался правой ногой в снег.

— Ты зря споришь с Предводителем,— сказала она мягко.— Он, наверное, прав.

— Прав, прав,— проворчал Николай.— Конечно, прав. Если считать, что затея его правильная. Но ты же знаешь, я вообще не верю во всю эту пропаганду. Ждать чего-то от темных мужиков просто глупо. Мой идеал — борьба по способу Вильгельма Телля. Если бы можно было организовать боевую дружину мстителей, нападать на жандармов, на всех угнетателей и самодуров! Я считаю, что это единственный и самый верный путь к победе. Но что можно сделать

одному? Пропагандистов много, а действовать решительно не хочет никто.

— Если ты считаешь пропаганду пустым делом, зачем же ты сюда приехал?

— Зачем? — Он вдруг заволновался. — А ты разве не знаешь зачем? Сказать?

Заволновалась и Вера. Сейчас он скажет, что приехал сюда ради нее. Но тогда она вынуждена будет ответить. Ей было приятно сознавать, что она ему нравится. Но ведь она решила, она твердо решила избегать всего, что может ее связывать. Слава богу, теперь она свободна и ценит это больше всего.

— Ты очень увлекающийся человек, — сказала она, предостерегающе сжимая его локоть.

— Я? — Он хотел возмутиться, но тут же понял, что она права. — Да, я иногда увлекаюсь хорошенькими женщинами. Но бывает, что это быстро проходит, а бывает...

— Морозик, — быстро перебила она его. — А каким ты представляешь себе будущее?

— В каком смысле?

— Ну вот, допустим, произойдет революция. И к власти придет народ. И будет полная свобода для всех. А потом что?

— Потом? Потом будет все иначе. Через пятьдесят лет или может, через сто жизнь будет совершенно другая. Допустим, приедешь ты через сто лет в Саратов и ничего не узнаешь.

— Почему?

— Потому, что жизнь будет совсем не похожа на теперешнюю. Все люди будут здоровые, красивые и стройные. Все будут заниматься физическим трудом поровну и понемногу. Свободное время они будут отдавать наукам и искусству. Тогда даже сам город преобразится совершенно. Все крыши домов будут

в один уровень, и все они будут плоские, как палубы пароходов. В каждый дом будет вход с середины крыши, как, знаешь, в каюты пароходов. И кроме того, будут из каждого дома выходы снизу на улицы, как теперь. По нижним улицам будут ездить, а на верхних исключительно ходить. Через перекрестки улиц будут переброшены легкие мостики, чтобы по крышам можно было не сходя вниз, обойти весь город. Посредине крыши — клумбы с цветами и низкими кустарниками, а по краям — легкие красивые перила, как у балконов. И тут же среди цветов и кустарников расставлены везде скамейки. А внизу, на земле, посредине каждого квартала цветут сады. Для разнообразия можно будет располагать дома в некоторых городах не четырехугольниками, а шестиугольниками, как пчелиные соты. Посредине каждого шестиугольника будет сквер с арками на все шесть сторон. Надо будет и сами дома делать огромные, чтоб каждый дом занимал всю сторону квартала или шестиугольника, и тогда выходные лестницы сверху и снизу для всех этажей можно делать только по углам. Но тебе, наверное, это слушать совсем неинтересно.

— Очень интересно, — сказала она искренне. — Ты так красочно все описал, что я себе это представила как наяву.

— Да, — сказал он грустно. — Ты всегда меня понимаешь.

Опять наступило неловкое молчание, и она подумала, что он сейчас может начать признаваться ей в любви, и ей опять и захотелось и не захотелось этого, и опять стало страшно.

— Вера! — сказал Морозов.

— Да? — сказала она, невольно волнуясь.

— Ты видишь этот дом и там внизу освещенное

— Вижу,— сказала она разочарованно.

— Подойдем ближе.

Одноэтажный угловой дом, к которому подвел ее Николай, оказался полицейским участком. Два городских сидели на лавочке перед входом и о чем-то тихо переговаривались. Два крайних окна были ярко освещены. В первом из них Вера увидела бритоголового полицейского офицера, который, сидя за простым столом, пил чай из железной кружки. Не увидев в этой картине ничего удивительного, Вера подняла глаза на Николая.

— Тот самый,— шепотом сказал Николай, и она поняла: об убийстве именно этого офицера и шла речь, когда Иванчин-Писарев так возмутился.

Один из городских, сидевших на лавочке, вдруг повернулся и внимательно посмотрел на Веру и Николая. Ей показалось, что он все сразу понял, и она нервно потянула Морозова за рукав.

— Пойдем отсюда скорее!

Еще не совсем прошел ледоход, еще кружило по Волге отдельные льдины, а уже началась навигация. Вере надо было на несколько дней съездить в Самару, куда она и отправилась с первым же пароходом.

Провожали ее всей компанией. Иванчин-Писарев, Богданович и Соловьев стояли внизу, а Морозов поднялся на палубу. Она сразу заметила, что он чем-то взволнован, но не могла понять, в чем дело. И в самый последний момент Николай сунул ей в руку клочок бумажки и сбежал вниз.

Вспенивая колесами воду, этот огромный, неуклюжий и грязный пароход медленно шел против течения, вдоль холмистых берегов, поросших лесом и изрезанных оврагами, в которых еще лежал темный

снег. Было холодно, но Вера все не уходила с палубы и с грустью смотрела на удаляющийся город. Потом развернула записку.

Ах, какой он чудак, этот Морозик! Он понимает двойственность своего положения, потому что, решив отдать свою жизнь служению великим идеалам, давно отказался от личного счастья. И все-таки он не может не думать и не говорить о тех чувствах, которые к ней испытывает, ибо они сильнее его. Да, он боролся со своей любовью во имя высших общественных целей, но побороть ее все же не смог. Теперь его судьба в ее руках, и она сама должна решить, что ему делать. Уехать или... (Сколько там было многоточий и восклицательных знаков, в этой короткой записке!) Уехать или... Если б она знала! И почему он перекладывает решение этого вопроса на ее плечи? Она ведь тоже в двойственном положении. Ей тоже трудно себя побороть. Как ему ответить? Обидеть отказом? Сказать, что она его не любит? Но это будет неправда. Во всяком случае, не совсем правда. Сказать правду тоже невозможно, ведь он и сам понимает, что личное счастье несовместимо с их борьбой.

«И все-таки надо объяснить ему все, как есть на самом деле», — подумала она твердо.

Между тем берега становились все выше, все круче, уже не холмы, а настоящие горы, поросшие смешанным лесом, высились над водной равниной.

Глава восьмая

Волостной писарь Чегодаев, отдаленный отпрыск захудалого рода татарских князей, терялся в догадках. Нежданно-негаданно прибыли в Вязьмино две городские барышни, две столичные фифы, Вера и Евгения

Фигнер. Прибыли и объявили, что желают открыть фельдшерский пункт и лечить крестьян от болезней. Спрашивается — зачем?

По виду такие, что им бы на балах с офицерами выплясывать, а если замужние — сидеть по утрам в пеньюарчиках и лакеев гонять с записочками, дескать, супруг законный по делам своим отбыли и не желаете ли прибыть с черного ходу. Впрочем, судя по документам, они незамужние. Тем более странно. Не устроивши свою судьбу, забиваться в медвежий угол, в глушь, в Саратов, да хоть бы уж в сам Саратов, а тут от него еще сколько верст!

Ну эта, старшая, она вроде замужем побывала. В разводе. У ней, может быть, семейная драма, надо забыться в медвежьем углу, среди живой природы, залечить сердечные раны. А младшей какого дьявола в столицах своих не сиделось?

Вот он, к примеру, князь Чегодаев, каждому понятно, для чего он сюда прибыл. (Волостной писарь, несмотря на дальность родства и сильно оскудевшее состояние, вполне всерьез ощущал себя потомком княжеской фамилии, досадуя только на то, что принадлежность эта не дает никакого дохода.) Промотал он по дурости свое состояние. Часть пропил, а больше в картишки продул. После, конечно, спохватился, да поздно. Денег нет, службе никакой не научился, а кушать нужно, да и детишек в сиротский дом не отдашь. Кабы не такое несчастье, так в жизнь бы он этого Вязьмина не видал и не клонил бы голову перед каждым, начиная от предводителя и кончая исправником, которые хотя и дворяне, а в общем хамье.

Батюшка, правда, тоже в Сибири дни свои кончил. Но и на то причина была. По молодости лет да по пьяному делу засек до смерти крепостного человека — кто не без греха? Да и какой уж тут грех, 203

господи, об чем говорить? Человек-то был свой, за свои деньги купленный. Эдак дойдет до того, что и за всякую живность судить будут. Зарезал ты, к примеру, свою свинью или лошадь, а тебя — бац — под суд либо в солдаты. Жизнь пошла в таком направлении, что прямо ужас. Крепостных освободили, теперь их не то что купить либо продать, пальцем тронуть нельзя. Чуть что — в суд присяжных потащат и будут тебя судить, как равного с равным. Князя будут судить с мужиком, который без году неделя как перестал быть вещью. Раньше, бывало, дашь судье взятку, глядишь — и дело как ни то да уладится, а теперь попробуй-ка! Одних присяжных двенадцать человек, каждого не подмажешь, да сами они половина из мужиков, хамье, и, ясное дело, хам держит сторону хама.

Так мало всего прочего, еще и эти барышни вздумали прикатить в провинцию. Для чего? Добро были бы сектантки или басурмане какие, так ведь нет, православные и, если паспорта не фальшивые, из дворян.

— А вы, барышни, случаем не родичи будете партизану знаменитому, Александру Самойловичу Фигнеру, который в Отечественной войне прославился?

— Нет,— говорят,— не родичи, однофамильцы.

— Чудно,— крутит князь головой с широкой проплешиной.

— А чего же чудного? — пожимает плечиком старшая.

— Да фамилия вроде такая не на каждом шагу попадается.— Князь смотрит на сестер лукаво, с таким видом, что вот, дескать, тут-то я вас и уличил. Дескать, мы-то с вами знаем, что вы приехали неспроста, чего уж друг перед другом таиться.

А в душе все же нет полной ясности. На мгновение ухватился за мысль: а может, деньжат приехали

подработать по бедности? Но тут же мысль эту отбросил. Какая уж там подработка — одной положили двадцать пять рублей жалованья, а другая и вовсе бесплатно согласна работать.

Так в смущении мыслей и остался князь Чегодаев. А когда сестры вышли, сказал волостному старшине загадочно:

— Новые люди приехали к нам. — Подумал, развел руками. — Да, новые люди.

Не успели наши барышни появиться в Вязьмине, как уездный предводитель дворянства Устинов прислал вязьминскому князю записочку: мол, приехавшие барышни внушают явное подозрение, за ними следить надо в оба. Непременный член дворянского собрания Деливрон был с этим вполне согласен.

Как-то вечером Чегодаев посетил приятеля своего, вязьминского священника отца Пантелея. Батюшка выставил неполную четверть водки и угощал своего гостя блинами с семгой и со сметаной. И, выпив у дружка своего, Чегодаев повторил ему со значением ту самую фразу, которую недавно сказал старшине:

— Вот, батюшка, стало быть, приехали к нам новые люди.

— Ну и что? — беспечно сказал батюшка, складывая очередной блин конвертиком. — Тебе-то, твоя светлость, что за беда? С чего это вы все переполошились? И баба моя толкует: гляди, мол, какие цацы приехали. Мужики прибегали сегодня пытаться: для всех лекарка приставлена или для одних только баб. Да что говорить, они, эти новые люди, всюду теперь появляются, но нам с тобой, я думаю, вреда никакого, пускай они будут новые люди, а мы будем старые люди и жить будем по-старому, пока не помрем.

— Правда твоя, батюшка, — согласно кивнул головой Чегодаев. — Новое время и новые люди. Может, 205

они даже от правительства приставлены следить, кто с мужика сколько дерет. И за что.

Чегодаев зыркнул на собеседника лукавым глазом.

Батюшка не подавился блином, не изменился в лице, глазом даже не моргнул.

— А тебе-то что? — спросил равнодушно. — Ты ведь, чай, лишнего не берешь?

— Да уж, батюшка, откуда там лишнее? Сам знаешь, копейки не беру. На одно только жалованье нищенское со всею семьей своей прозябаю.

— Вот и я вижу, что прозябаешь, — согласился отец Пантелей. — Жеребца-то небось тамбовского за последние копейки купил?

Не очень понравились эти слова Чегодаеву, но все же сдержался.

— За какие ж, — сказал, — как не за последние? От себя оторвал, потому как ездить на чем-то нужно. Я ведь какой-никакой, а князь, и, к примеру, в уезде мне появиться на казенной лошади или вовсе лешему никак неприлично.

— Правильно говоришь, — согласился и с этим батюшка, — и в доме тебе старом об один этаж было жить неприлично. — Но, решив не задевать больше приятеля, перешел на себя со вздохом. — А вот я не дворянского происхождения, может, и рад бы с кого содрать, да господь не велит. Воздержись, говорит, Пантелей, а то в царствие небесное не попадешь, хотя и носишь священный сан. Оттого, сын мой, живу на самые скудные подаяния от прихожан и не жалуюсь. А насчет новых людей, я думаю так: поживем, посмотрим. И думается мне, не от правительства они приставлены, а сами от себя, а может, от кого и похуже, потому что у их, — батюшка наклонился к самому уху собеседника, — не вша в голове, а фантазии.

— Господи! — хлопнул себя Чегодаев по голове. — Как же я сам-то не догадался! Я-то, дурак, голову себе ломаю так и сяк, чего, мол, они приперлись? Деньгами тут вроде большими не разживешься, ба-лов и офицеров вокруг не видать, на семейные при-чины тоже будто бы не похоже, а у них-то ведь вер-но — фантазии!

И это слово «фантазии» бормотал он про себя, когда, не разбирая дороги, бред нетвердой поход-кой домой и дома, когда раздевался и ложился в постель.

Раздеваясь впотьмах, он опрокинул дубовый стул, от грохота проснулась жена и сонным голосом недо-вольно поинтересовалась, по какой это причине князь нализался.

— Потому что у меня такая фантазия, — бодро выкрикнул князь.

— О господи, — вздохнула княгиня, — видать, со-всем спятил.

Итак, сестры Вера и Евгения Фигнер прибыли в село Вязьмино, открыли фельдшерский пункт и объ-явили прием больных. Сначала явились самые сме-лые и самые больные. Явились, пожаловались на свои болезни, получили лекарства и советы. А уж как ра-зошелся слух по местным жителям, так валом пова-лили со всех окрестных деревень. С утра до вечера сестры принимали больных, и многие шли к ним, как к чудотворной иконе, и слава о их чудесах распро-странилась невероятная. Говорили, что они могут од-ним прикосновением останавливать кровь, приращи-вать утерянные конечности, возвращать слепым зре-ние, а глухим — слух. И что удивительно, никакой платы они не брали, а если кто принесет пару яиц

или кусок сала, то получит за них деньгами, сколько положено.

Шли крестьяне со всех сторон. Иные отмахивали по шестьдесят — семьдесят верст в надежде на исцеление. В первый месяц сестры приняли больных восьмьсот человек, а за десять месяцев пять тысяч!

Не нравилось это все волостному писарю Чегодаеву, было ему непонятно. Фантазии, конечно, фантазиями, но чтоб все-таки столько работать задаром без всякого намека на выгоду — это уже чересчур.

А тут еще ему донесли, будто Евгения, младшая, объявила мужикам, что желает открыть для крестьянских детишек бесплатную школу да бесплатно же раздаст детям бумагу, перья и азбуки.

Тут удивился не только Чегодаев, а и простые мужики развели руками и долго думали да гадали, для чего бы это барышне нужно. Но, подумав, потолковав меж собой, покачав бородами, нашли все же понятное объяснение: для души.

И были, наверное, по-своему правы.

А между тем до приезда сестер во всех трех волостях участка вообще ни одной школы не было. Когда жители соседней деревни решили построить школу и обратились к бывшему своему барину, а ныне предводителю дворянства Устинову за поддержкой, тот отсоветовал, сказав, что школа им ни к чему и будет слишком дорого стоить. А что касается неперменного члена дворянского собрания Деливрона, так тот вообще считал, что народ надо учить только молитвам.

Однако в Вязьмине школа все-таки была организована, и сразу набралось человек двадцать пять учеников и учениц, а потом и еще прибавилось. Некоторых родители и из других сел привозили.

Сестры работали днем и ночью. Одна на фельдшерском пункте, другая в школе, а потом еще и по домам крестьянским ходили да книжки читали: Некрасова, Лермонтова, Щедрина. Правда, не все в этих книжках было понятно, а книг для народа, написанных простым языком, Вера знала лишь две: «Земля и народы, ее населяющие» и «Земля и животные, на ней обитающие». Однако крестьяне радовались и тому, что было. С удовольствием ждали в гости барышень, да еще приглашали соседей.

А во время чтения и после него заходили разговоры о том о сем. Крестьяне жаловались на свою жизнь, на помещиков, на всевозможных чиновников. Но что-то непохоже было, чтобы они готовы были подняться на борьбу, на бунт против высших властей.

Между тем Чегодаев тоже времени зря не терял, присматривался, прислушивался: как, где, чего. Нельзя сказать, что жизнь его так-таки сразу переменялась и пошла вверх тормашками, а все же какие-то осложнения в ней уже наступили. Придут эти самые барышни на волостной суд, и уж не возьмешь с крестьянина четвертак или полтинник. Как ни говори, а убыток. А тут еще говорят, будто одну из барышень крестьяне хотят избрать на его, Чегодаева, место. А вот сход крестьянский собрался, и хотя писаря не переизбрали, но волостного старшину скинули, а писарю жалование поубавили. И тогда непременно член Деливрон сказал:

— Везде сходы как сходы, только в одном Вязьмине неладно!

Сколько пришлось трудов потратить, чтобы объявить этот сход незаконным. А на новый сход сам господин Устинов явился, да, собрав самых забытых мужиков, остальных даже не оповестил, и объявил но-

вого старшину не имеющим права быть избранным. Оставили того, который раньше был, ну и писарю жалование тоже кое-как отстояли. Умный человек Устинов. Свое дело знает. Вот говорят про Чегодаева — взяточник, про старшину — взяточник. А кто не взяточник? Чегодаев берет с крестьян по копейке, а Устинову платит рублями. Устинов берет рублями, а губернскому предводителю или самому губернатору меньше сотенной не подашь. Да еще извернись там, чтобы вышло в виде подарка. Значит, и губернатор в Чегодаеве заинтересован безмерно.

Отец Пантелей хоть и посмеивался над Чегодаевым, но вскоре и ему эти девицы поперек горла встали. Раньше, бывало, с каждой хворью и попу идут — молитву сотворить, водицей святой окропить. А водица сия не дешева. Водицей этой и сейчас, конечно, не брезгают, но, заболевши, бегут все же к лекарям.

Гнать бы их отсюда к чертовой, прости господи, матери, да как выгонишь? Сколь раз мальчишек ловил да пытал, учит ли учительша молитвам, а мальчишки в один голос твердят: учит. Все ж таки направила батюшка в земскую управу бумаженцию: дескать, приехали неведомые особы, неизвестно, замужние или девицы, смущают народ, храм божий стал менее посещаться, усердие оскудело.

Однажды в феврале, проходя мимо фельдшерского домика, волостной писарь Чегодаев обратил внимание на подкатившую тройку с бубенцами. Лошади рыли копытами только что наметенный снег. Ямщик ожидал, покуда седок выберется из саней, заплатит, что положено. А получивши свое, разобрал вожжи да как гикнет, как свистнет разбойничьим свистом,

и лошади, взрывши снег, рванули, и след их вскоре простыл за околицей.

А седок, между прочим, остался. От роду было ему немного за тридцать, росту высокого, волосы имел длинные, бороду густую. С собой привез всего лишь дешевенький саквояж.

Хозяйки дома встретили приезжего хорошо. Выскочили на улицу, обнимали и лобызали.

Вечером князь Чегодаев подобрался к домику фельдшериц и, оскальзываясь коленями на обледенелой завалинке, тыкался лбом в мерзлые стекла окна. Там, внутри, фельдшерицы вместе со своим гостем сидели за самоваром, а об чем говорили — бог ведает. А между прочим, услышь князь, о чем там говорят с гостем своим фельдшерицы, и донеси вовремя — всей жизни благодатная перемена. Орденочек бы на шею тут же повесили. В должности могли бы повысить. Взять если не в самый Санкт-Петербург, то хотя бы в Саратов. А что касается отца Пантелея, то тому можно было бы просто в рожу плюнуть вместо «здравствуйте». Утирался бы с благодарностью.

Ах, боже мой, так хотелось князю услышать, что говорит этот приезжий! Да ведь не проникнешь ухом сквозь это мерзлое стекло.

— Значит, ты это твердо решил? — спросила Вера.

— Да, Верочка, другого выхода нет. Вся наша пропаганда — пустое дело. Ну вот, например, вы. Чем вы занимаетесь? Хотите изображу?

— Изобразите, пожалуйста, изобразите, — захлопала в ладоши Евгения.

— Извольте.— Гость встал и быстро заговорил тонким, почти женским голосом: «На что жалуемся,

господин мужичок? Ах, у вас болит животик? Это от того, господин мужичок, что вы плохо кушаете. Вот помещик, он кушает хорошо, и животик у него не болит. Идите, господин мужичок, капли вам не помогут, вам думать надо». — Гость хитро посмотрел на одну сестру, на другую. — Ну, как?

— Bravo, bravo! — снова захлопала в ладоши Евгения. — Очень похоже. Очень!

Но Вера даже не улыбнулась.

— Да, — сказала она довольно хмуро. — Конечно, это все так. Но тот путь, который предлагаешь ты... ты уверен, что он правильней?

— Да, я уверен, — решительно сказал гость. — Один этот человек лежит, как бревно, на пути истории. Только смерть его может сделать поворот в общественной жизни. Только после этого очистится атмосфера и прекратится недоверие к интеллигенции. Масса молодых сил хлынет в деревню, и тогда... тогда, Верочка, все изменится. Потому что повлиять на психологию всего крестьянства можно только всей массой сил, а не потугами отдельных мечтателей вроде нас с вами.

— Ты, конечно, знаешь, на что идешь, — тихо сказала Вера. — Ты знаешь, что сам погибнешь. Но ты никогда никого не убивал. Сможешь ли ты убить человека, глядя ему в глаза?

— Он не человек, а враг, — насутился гость. Но тут же снова смягчился. — Я все продумал, Верочка. Я смогу. А что касается меня самого, то я свои счета с жизнью кончил. Мечтал вот проститься с тобой, теперь и это исполнилось. Теперь я счастлив.

— Счастлив? — поразились она.

— Да, Верочка, счастлив. — Он улыбнулся.

Всю эту ночь Вера не сомкнула глаз. Разволновалась, ворочалась, думала: «Да, пожалуй, он прав,

другого выхода нет. Если все другие средства испытаны и оказались бесплодными, остается последняя...»

Поутру сестры проводили гостя в дальнейший путь. Поцеловали, Вера даже хотела перекрестить, но в последний момент передумала, махнула рукой. Не принято это было у них. И только когда гость уехал, вернулась в дом и до того наревелась, что Евгений пришлось отпаивать ее бромом.

Некоторое время спустя февральский гость сестер Фигнер объявился в городе Санкт-Петербурге и здесь развил бурную деятельность. Встречался с разными людьми в трактирах, гостиницах, на нелегальных квартирах. Он посвятил в свое намерение Александра Михайлова.

— Мне нужна помощь,— сказал он.— Нужно выследить, когда и где он гуляет. Нужно достать револьвер для него и сильный яд для меня. Передай нашим, что, если они откажутся мне помочь, я сделаю все один.

Узнав, что еще два человека, не стовариваясь, приехали в Петербург с той же целью, он немедленно разыскал их и сказал, что намеченное совершить должен именно он, хотя бы потому, что он русский (его соперниками были поляк и еврей).

— Это дело мое,— сказал он,— и я его никому не уступлю.

Оставаясь один на один с собою, он думал о человеке, которым интересовался. «Я его ненавижу,— повторял он себе.— Он самый смертельный, самый лютей мой враг». Но ненависть его жила только в мыслях, душа же, с тех пор как он принял решение, совсем обеззлوبيлась, и он мыслями пытался растравить свою душу.

Раздобыв револьвер, он зачастил на стрельбище

Семеновского полка, где стрельбой укреплял свой дух и испытывал твердость руки. С пяти шагов, с десяти, с двадцати он бил по мишени и каждый выстрел не в яблочко считал промахом. Он возродил свою ненависть и добился того, что глядя на мишень, видел перед собой знакомое по портретам лицо, окаймленное пушистыми бакенбардами. Он добился того, что рука его стала твердой, и теперь он стрелял без единого промаха.

Тем временем добровольные помощники вели наблюдение за человеком, которым интересовался приезжий. Они выяснили, что этот человек имеет обыкновение по утрам около девяти часов совершать моцион от правого подъезда Зимнего дворца, вокруг здания сельскохозяйственного музея и обратно. Вместе с этими сведениями приезжий получил орешек, залепленный воском и сургучом. Внутри орешка был цианистый калий.

Была весна 1879 года, кончался великий пост. В последних числах марта приезжий, чтобы не походить на нигилиста, сбрил бороду и купил чиновничью фуражку.

В воскресенье 1 апреля в первый день пасхи он простился с Александром Михайловым.

— Прощай, друг, больше не увидимся. Завтра или он, или я, а скорее всего оба.

— Не боишься? — волпуясь, спросил Михайлов.

— Нет, не боюсь. — Он улыбнулся.

— Кравчинский на Мезенцева в-выходил несколько раз и в-возвращался. Не подымалась рука.

— У меня подымется.

На другой день состоялась встреча, к которой он так долго готовился. Человек, которым интересовался приезжий, совершал моцион по обычному маршруту.

Около полусотни шпионов и жандармов (переодетых и в форме) были расставлены по всему пути, разгуливали по тротуарам, торчали в подворотнях, чтобы, упаси бог, чего не случилось.

Случилось. Они встретились на полпути между Певческим мостом и Дворцовой площадью. И когда между ними оставалось два-три шага, приезжий мстительно улыбнулся и выхватил из кармана револьвер крупного калибра. Если бы он выстрелил сразу... Но он захотел взглянуть в глаза своего врага, увидеть это надменное лицо, так знакомое по портретам. Он взглянул и увидел перед собой старого человека в мятой шинели. Глаза человека, полные неизменной тоски, смотрели прямо в душу. И сердце приезжего дрогнуло, потому что помещалось в груди в общем-то доброго человека. На лице его все еще держалась мстительная улыбка, но он не мог с собой справиться, и палец, который должен был спустить курок, онемел и не подчинялся ему. «Вера была права!» — мелькнула в голове воспаленная мысль. И, преодолевая себя, отведя глаза, он все же выстрелил, но при этом инстинктивно рванул руку в сторону.

В следующее мгновение его враг уже бежал, петляя, как заяц, путаясь в полах длинной шинели по пустынной Дворцовой площади. Теперь в приезжем пробудился охотничий инстинкт, и он крупными прыжками кинулся за своей жертвой, посылая выстрел за выстрелом.

...Тяжелый удар обрушился на приезжего сзади. Он еще сделал шаг или два, но в глазах уже плыли круги и тупую боль сменило ощущение легкости и беспечности. «А, ладно», — думал он, валясь на мерзлую мостовую.

Он был без сознания, когда его топтали, заламывали за спину руки и втаскивали в канцелярию гра-

дона начальника Зурова в комнату с надписью на дверях: «Отделение приключений».

Через некоторое время он очнулся на узком диванчике. Из тумана выплыли лица, мундиры, звезды и аксельбанты. Одно лицо, очень знакомое, склонилось низко, и приезжий сказал доверительно:

— Она была права, ваше величество.

И, снова теряя сознание, не в силах ответить, услышал обеспокоенное: «Кто — она? Кто? Кто?»

Очнувшись в следующий раз, он опять увидел перед собой те же лица, звезды и аксельбанты. Кружилась голова, поташнивало, но сознание прояснилось. Из прочих голосов выделился один, молодой и звонкий. Жандармский офицерик, мальчишка, рассказывал, торопливо, захлебываясь:

— А я его, ваше высокопревосходительство, прямо шпагой по голове плашмя.

Другой голос, басовитый, глухой, отвечал одобрителем:

— Молодец, братец, молодец.

— Рад стараться, ваше высокопревосходительство. Изволите видеть, даже шпага погнулась.

В доказательство он тыкал свою тульскую шпажонку в ножны, но она, изогнутая, не шла.

— Ничего, братец, ничего, — отвечал басовитый голос, — государь тебе золотую пожалует.

— Он очнулся, — сказал вдруг третий голос. И какое-то лицо, но не государя, а чиновника в вицмундире судебного ведомства склонилось над лежащим на диване человеком.

— Кто вы? — спросил вкрадчивый голосок.

— Дайте закурить, — сказал лежащий.

Кто-то с готовностью поднес папироску, кто-то чиркнул спичкой. Вновь зажурчал прямо в ухо вкрадчивый голосок:

— Вы знаете, что в вашем положении полная откровенность поведет к тому благому результату, что никто из невинных не пострадает, тогда как в противном случае...

Боже, о чем это он? Приезжий приподнялся на локте и с удивлением взглянул в склонившееся над ним добросовестно невыразительное лицо...

Была весна, текли ручьи, и в тех местах, где обнажалась от снега земля, поднималась для новой жизни первая травка.

В Вязьминском фельдшерском пункте шел прием больных. Перед Верой сидел мужик с печальными глазами, с деревяшкой вместо ноги.

— Стал быть, ты не можешь сделать так, чтоб обратно нога отросла?

— Нет, дядя, не могу.

— А я слышал, что в Вязьмине фершалка такая, что все может. За двенадцать верст на этой вот штуке,— он похлопал по деревяшке,— пришел. А может, попробуешь?

— Что пробовать, дядя? Наука до этого еще не дошла.

— Наука-то, конечно, она не тое. А ты, барышня, на науку плюнь и наговором попробуй. Глядишь, чего и получится.

— Нет таких наговоров, дядя. Все это предрасудки от темноты и невежества.

— Это да, темнота в нас большая. Да мне ведь жениться, барышня, нужно, а кто ж за меня пойдет без ноги? Наука, понятно, вещь важная, однако, у нас в деревне одному мужику наговором горб выровняли. Не попытаешь? — в последний раз спросил он с надеждой.

— Нет, дядя, прости, не могу.

Мужик, кланяясь, вышел. В дверях показалась старуха с рахитичным ребенком, но тут влетела Евгения:

— Подожди, бабушка. Одну минутку, подожди, ради бога, за дверью.

— В чем дело? — возмутилась Вера. — Почему ты ее не пустила?

— Вот! — сказала Евгения и положила перед Верой газету.

Вера глянула и схватилась за голову:

— Боже, какое несчастье! Он промахнулся!

...С каждым днем поступали новые известия. Газеты сообщали, что покушавшимся на государя оказался отставной коллежский секретарь Александр Константинович Соловьев. При нем был найден орешек, залепленный воском и сургучом. В орешке оказался яд сильного действия, которым преступник не успел воспользоваться. Разыскиваются сообщники. Произведен ряд арестов в Петербурге и Москве.

25 мая была оглашена резолюция верховного суда: «...подсудимого отставного коллежского секретаря Александра Соловьева за учиненное им преступление... лишить всех прав состояния и подвергнуть смертной казни через повешение».

28 мая в десять часов утра при большом стечении публики приговор был приведен в исполнение на Смоленском поле в Петербурге. Однако следствие по этому делу продолжалось. Особая комиссия работала в Саратове. Добралась она и до Вольского уезда, а оттуда до Петровского, где жили сестры Фигнер, рукой подать.

Воскресным днем князь Чегодаев увидел, как к дому фельдшерниц подкатила крестьянская телега и

мужик стал выносить вещи. Когда Чегодаев подошел, сестры сидели уже поверх вещей на телеге.

— Батюшки! — развел руками Чегодаев. — Никак отъезжаете?

— В отпуск, князь, в отпуск, — с улыбкой сказала старшая. — Не горюйте, авось еще свидимся.

— Да мне-то что, — развел руками князь. — По мне-то хоть бы вы и вовсе уехали.

А в понедельник на взмыленной тройке прикатили жандармы. Знакомый Чегодаеву штабс-капитан с закрученными вверх рыжими усиками поднялся, гремя шпорами, на высокое крыльцо волостного правления.

— Где преступницы? — спросил он, не поздоровавшись.

— Какие преступницы? — оторопел князь.

— Фельдшерицы, которые принимали у себя покусителя на жизнь его императорского величества.

— Господи! — всплеснул руками князь. — Неужто это он был? Я видел его своими глазами.

— Видел? — повысил голос штабс-капитан. — Отчего же не задержал?

— Так если б я знал, — торопился князь за жандармом на выход.

— Дурак вы, ваша светлость! — кинул штабс-капитан, не оборачиваясь.

Глава девятая

Конец июня был душным. На привокзальной площади Воронеж, грязной, заплеванной, засаженной пыльными кленами, к приходу поезда съезжались извозчики, сползались нищие и сбегались мальчишки посмо-

треть на вываливших из душных вагонов пассажиров. К поездам выходила и местная шикарная публика. Прогуляться вдоль поезда, на людей посмотреть и себя показать. Одинокaя молодая дама в белой шляпке с вуалью прошла до середины перрона, вдруг повернулась и двинулась обратно, а за ней, не выпуская ее из виду, пробирался сквозь толпу молодой человек в пенсне, с легким саквояжем желтой кожи в руках. Дама в белой шляпке не спеша вышла на площадь и села в крытый экипаж. За ней последовал и мужчина с саквояжем. Пожилой жандарм, состоящий при вокзале, лениво проводил их глазами. Ему в его казенном мундире было особенно жарко, и выпитое только что у буфетной стойки пиво тоже не располагало к активной работе мысли и энергичной деятельности.

А молодой человек и молодая женщина, отгородившись от чужих глаз, кинулись друг к другу в объятия, и он воскликнул:

— Верочка!

А она ему ответила:

— Морозик!

Они обнялись, поцеловались, и ей показалось, что он в свой поцелуй вкладывает несколько больше страсти, чем полагается суровому революционеру. Будущи решительной противницей подобных телачьих нежностей, она все же оправдала такую сентиментальность тем, что они не виделись целый год. И даже с небольшим хвостиком.

Отодвинувшись от своего спутника в дальний угол, чтобы сразу ввести отношения в нужное русло, она деловым тоном спросила:

— Что нового?

— Нового? — Он усмехнулся. — Вот тебя вижу, это уже приятная новость.

— А кроме?

— Что касается «кроме», сразу всего не расскажешь. Ты сюда приехала с Родионым?

— С ним.

— Значит, кое-что ты уже знаешь.

Она промолчала. От Михаила Родионовича Попова, с которым Вера приехала в Воронеж, она, действительно, кое-что слышала о разногласиях, которые возникли в последнее время в обществе «Земля и воля».

Гостиница, куда они приехали, была старая, грязная, с ободранными обоями. Половой принес самовар и оставил приезжих одних. Они неловко помолчали, потом Вера подняла на Николая глаза и улыбнулась.

— Ну, рассказывай.

...Было уже поздно. Самовар остыл. Они задули свечу, чтобы не привлекать внимания. Сидели друг против друга. Морозов рассказывал о конфликте с Плехановым, который произошел после того, как Морозов в одном из «Листков Земли и воли» напечатал статью «По поводу политических убийств». Морозов писал, что «борьба по способу Вильгельма Телля и Шарлотты Корде» (Шарлотту Корде он потом прибавил) является «одним из самых целесообразных средств борьбы с произволом в периоды политических гонений».

Статья вызвала переполох. Плеханов по поводу статьи сказал:

— Этот «Листок Земли и воли» — подделка. Я, как один из редакторов, ничего не знаю о его выходе и никогда не допустил бы ничего подобного. Главная цель «Земли и воли» есть не политическая борьба с правительством, а пропаганда социалистических идей и агитация среди крестьян и рабочих.

Когда Морозов встретился с Плехановым, он объяснил, что «Листок», о котором шла речь, не подделка, что его выпустил он, Морозов, но Плеханову не успел показать предварительно, так как два раза приходил к нему и не заставал дома.

Плеханов сказал, что единственное средство уладить возникшее недоразумение — это созвать съезд всех членов «Земли и воли», а они уже решат, кому быть выразителем программы общества. Морозов тут же согласился. И вот завтра открывается здесь, в Воронеже, этот съезд, где кого-то, вероятно, будут исключать из «Земли и воли».

Морозов не сказал Вере, что за несколько дней до приезда в Воронеж сторонники террора провели свой отдельный съезд в Липецке. Перед съездом Михайлов и Фроленко ездили в Одессу к известному среди тамошних революционеров Андрею Желябову, убедили его, пропагандиста-народника, принять участие в съезде.

Таким образом, в Липецке собрались Морозов, Александр Михайлов, Фроленко, Желябов, Лев Тихомиров, Мария Ошанина, Степан Ширяев, Квятковский, Гольденберг и еще человек пять.

Михайлов произнес яркую обвинительную речь против царя. Он сказал, что, хотя у Александра Второго в начале его царствования и были некоторые заслуги перед народом (крестьянская и судебная реформы), дальнейшая внутренняя политика императора отличалась крайней реакционностью, он проявил себя как злостный душитель свободы, и для того, чтобы добиться серьезных политических перемен, надо в первую очередь нанести удар по верховной власти, по ее высшему выразителю — царю.

К Михайлову присоединился Желябов. Он сказал, что если правительство самым жестоким образом ка-

рает революционеров даже за такие невинные действия, как мирная пропаганда в народе, то не лучше ли приступить к более активным действиям.

Такой решительности от Желябова никто не ожидал. Еще недавно он был сторонником пропаганды и с большим трудом дал согласие Михайлову и Фроленко, что примет участие только в убийстве царя. А потом снова вернется к пропаганде в народе.

Вот почему все удивились, когда Желябов стал настаивать на терроре как на главнейшем способе политической борьбы.

Там же, в Липецке, была выработана краткая программа действий:

«Наблюдая современную общественную жизнь в России, мы видим, что никакая деятельность, направленная к благу народа, в ней невозможна, вследствие царящего в ней правительственного произвола и насилия. Ни свободного слова, ни свободной печати для действия путем убеждения в ней нет. Поэтому всякому передовому общественному деятелю необходимо прежде всего покончить с существующим у нас образом правления, но бороться с ним невозможно, иначе как с оружием в руках. Поэтому мы будем бороться по способу Вильгельма Телля до тех пор, пока не достигнем таких свободных порядков, при которых можно будет беспрепятственно обсуждать в печати и на общественных собраниях все политические и социальные вопросы и решать их посредством свободных народных представителей.

До тех пор пока этого нет, мы будем считать за своих друзей всех тех, кто будет сочувствовать нам и помогать в этой борьбе, а за врагов — всех тех, кто будет помогать против нас правительству.

Ввиду того что правительство в своей борьбе с нами не только ссылает, заключает в тюрьмы

и убивает нас, но также конфискует принадлежащее нам имущество, мы считаем себя вправе платить ему тем же и конфисковать в пользу революции принадлежащие ему средства. Имущества же частных лиц или обществ, не принимающих участия в борьбе правительства с нами, будут для нас неприкосновенными».

Обо всем этом Морозов умолчал в разговоре с Верой. Он только сказал, что может так получиться, что в организации возникнет новая организация. Тогда Вере придется подумать, с кем идти дальше.

Уходя от нее, он задержался в дверях и сказал, помявшись:

— Да, ты знаешь, что Ольга Любатович бежала из ссылки?

— Слышала.

— Так вот, как бы это сказать... Мы теперь с ней вроде бы одно целое.

— Вы поженились?—удивилась Вера.

— В церкви не венчались,— усмехнулся Морозов.— Но ведь это и не обязательно.

Лодка шла вниз по течению. Вера с Морозовым сидели на корме, Фроленко молча взмахивал веслами.

— Далеко еще?—спросила Вера, чтобы как-то разговорить его.

— Недалече,— буркнул Фроленко, и снова молчание.

И Морозов нынче тоже неразговорчив. Вот доедут до места, а там ему, Морозову, ответ держать перед товарищами: кто прав — он или Жорж Плеханов? А от того, кого признают правым, зависит и дальнейшая судьба общества «Земля и воля», а стало быть, и судьба революционного движения. И если общество пойдет за Плехановым, то уже без него, без Мо-



розова. А как же быть Вере? Она пока выслушала одну сторону, надо выслушать и другую. И дело даже не в Морозове и Плеханове — дело в тенденциях. Раз возникли такие споры, значит, есть для них основания. Не на пустом месте они возникли. В конце концов, если б один кто-то не согласился с программой общества и даже вышел бы из него, еще полбеда. Хуже то, что за одним стоит группа людей и за другим стоит группа. А это грозит расколом.

День выдался прекрасный. Солнце светит, тихо, вода как зеркало. Плывут мимо лесистые берега. Вера опустила руку за борт — вода теплая, приятная. Вот бы сейчас окунуться, а потом на песок и лежать, подложив руки под голову.

— Михайло, — нарушил молчание Морозов, — что ты молчишь? Рассказал бы что-нибудь.

— Например?

— Например, как ты Стефановича, Дейча и Бохановского на глазах у всех из тюрьмы вывел.

— А что рассказывать? Устроился надзирателем в Киевскую тюрьму, вошел в доверие к начальству, вот и вывел.

И опять молчание, только всплескивает вода и поскрипывают уключины. Прошла мимо четырехвесельная лодка, в ней — подвыпившие купчики с девицами.

— Господа, на буксир не хотите ли?

— Благодарствуем, — степенно отвечает Фроленко. — Авось и сами доберемся до места. — И стал налегать на правое весло, заворачивая в отходящий от реки узкий рукав с берегами, поросшими камышом.

— Эй, перевозчик! — какой-то человек в соломенной шляпе стоит на берегу в просвете между зарослями камыша. В одной руке удочка, в другой ботинки, штанины подвернуты до колен.

— Ау! — отозвался Фроленко.
— Не подвезешь ли?
— А отчего бы не подвезти? Подвезем, коли заплатишь по-божески.

Фроленко повел лодку к берегу.

— Вы с ума сошли! — испугалась Вера. — Разве можно?

— Хорошего человека можно. — Фроленко хитро подмигнул Морозову.

— Здравствуйте! — весело поздоровался со всеми рыбак, вскакивая в лодку, а затем уже одной только Вере сказал: — Вот в-видите, я же вам говорил, что мы еще будем встречаться.

24 июня 1879 года. В роще под Воронежем собрался съезд общества «Земля и воля». Съезд? Не слишком ли громко сказано? Два десятка молодых людей собрались на полянке, раскупорили бутылки... Может быть, просто пикник? Нет, все-таки съезд. Молодые люди спорят, решают, каким путем пойдет дальше революционное движение.

Внимание всех сосредоточено на споре между Плехановым и Морозовым. Вера слушает того и другого.

— Политическое убийство, — говорит Морозов, — это осуществление революции в настоящем.

Осуществление революции в настоящем. Хорошо сказано. Точно, афористично.

— На кончике кинжала не построишь парламента, — возражает Плеханов.

И это сказано не хуже. А кто прав? Кажется, она сильно отстала за время своего пребывания в деревне. Когда уходила в народ, все казалось яснее ясного. Агитация и пропаганда в народе — вот един-

ственный путь. Потом приехал Соловьев, смутил ее душу. Тогда она одобрила его решение. Но что из этого получилось? Покушение не удалось, Соловьев погиб. А сколько людей арестовано, сослано! Не вызовут ли новые покушения бесполезную гибель многих людей?

Вера переглядывается с Перовской. Перовская давно занимает ее воображение. Они познакомились два года назад в Петербурге. Дочь бывшего столичного губернатора, убежденная народница, Софья Львовна принимала участие и в горячих делах. Участвовала в попытке вооруженного освобождения Войнаральского. Сделала она сейчас свой выбор? Нет, кажется, тоже колеблется. В чем же все-таки дело? Разве землевольцы раньше не применяли оружия? Разве не они убили шефа жандармов Мезенцева, харьковского генерал-губернатора Кропоткина, шпионов Шарашкина и Рейнштейна? Кстати, Рейнштейна убил Михаил Родионович Попов, а теперь он же вместе с Плехановым выступает против террора. Как же это понять?

— П-понять это можно просто,— говорит Михайлов.— Раньше мы занимались п-пропагандой в мало подходящих для этого условиях и иногда с оружием в руках об-боронялись от наших врагов. Теперь мы от об-бороны переходим в наступление. Почему? Я хотел бы п-напомнить вам этапы нашего развития и наши ошибки. Мы видели, что достигнутые в Европе п-политические свободы ни к чему хорошему не привели. Буржуазия использовала их для еще большего экономического закабаления масс. Исходя из правильной оценки явления, мы делали неправильные выводы. Мы говорили, что наша цель — разрушение существующего строя, уничтожение экономического п-неравенства, составляющего корень всех

страданий человечества. Поэтому п-политические формы сами по себе для нас совершенно безразличны. Сейчас я вам зачитаю короткую выдержку из брошюры Кравчинского. — Михайлов раскрыл свою записную книжку: — «Не политическое рабство порождает экономическое, а наоборот. Мы убеждены, что с уничтожением экономического неравенства уничтожится народная нищета, а с нею вместе невежество, суеверие и предрассудки, которыми держится всякая власть. Вот почему мы как нельзя более склонны оставить вас в покое, правительствующие. Наши настоящие враги — буржуазия, которая теперь прячется за вашей спиной, хотя и ненавидит вас, потому что вы ей связываете руки. Так поосторожнитесь же! Не мешайте нам бороться с настоящими нашими врагами, и мы оставим вас в покое».

— Сильно написано, — говорит с места Попов.

— Сильно, но неверно. Работая в народе, каждый из нас мог убедиться, что никакого экономического равенства без п-политического переустройства быть не может. Поэтому п-политические перемены — необходимое условие для достижения нашего идеала, а путь к этим переменам в наших условиях только один — удар по п-правительствующей верхушке, и в первую очередь по царю.

— Позвольте и мне сказать слово. — Рослый, темнобородый, похожий на цыгана человек поднялся, отряхнул брюки.

— Кто это? — шепотом спросила Вера Перовскую.

— Желябов, — шепнула Перовская. — Из Одессы.

— Помню, после «процесса 193-х», — не спеша начал Желябов, — попалась мне на глаза английская «Таймс» с отчетом об этом процессе. Корреспондент писал из Петербурга, что вот уже два дня сидит на процессе и ничего не может понять. Одного судят

за то, что он читал Маркса, другого за то, что читал Лассалля, третьего за то, что передал кому-то какую-то книгу. И действительно, давайте сопоставим, что мы делаем и что за это получаем. Вся наша деятельность сводится к тому, что мы, действительно, читаем книжки, ведем разговоры между собой и иногда среди народа. А нас за это отправляют в ссылку, в тюрьму, на каторгу, лишают молодости, здоровья, жизни. Нас убивают, и мы будем отвечать тем же. Власти должны знать, что кончилось то время, когда нас травили безнаказанно. Если уж война, так пусть будет война с двух сторон, или, как вы там говорите, по способу Вильгельма Телля. Пусть будет так. История движется слишком медленно, ее надо подталкивать.

Вера переводит взгляд с одного лица на другое. Кто же прав? Морозов, выдвинувший новой программой общества политические убийства, и с ним Михайлов, Фроленко, Желябов, Тихомиров? Или Плеханов, не принимающий этой программы, и с ним Попов... и это, кажется, все.

И снова споры, объяснения, споры.

— И неужели ты считаешь этот самый способ Вильгельма Телля единственно правильным? — возмущенно говорит Плеханов Морозову.

— Нет, но я считаю его вынужденным. Он вполне допустим в периоды политических гонений, когда всякие иные способы борьбы с произволом становятся невозможны. Разумеется, как только будет обеспечена свобода и низвергнут абсолютизм, необходимость в терроре отпадет, поскольку можно будет действовать одним убеждением.

— Господа, это ли наша программа? — голос Плеханова срывается от волнения.

Все молчат. Даже Попов опускает голову.

— Ну что ж, господа, в таком случае мне здесь делать нечего.

Он берет свой пиджак, перекидывает через плечо:

— Прощайте, господа.

Вера вскакивает на ноги.

— Вера, в-вы куда? — спрашивает Михайлов.

— Надо его удержать.

Но ее решительность тут же гаснет под взглядом Михайлова.

— Оставьте его.

— Но это же Плеханов!

— Знаю, — холодно ответил Михайлов. — И все же п-пусть уходит. Если он не с нами — п-пусть уходит.

Глава десятая

Страшно... Все уехали в Петербург, оставив ее одну в этом дачном поселке Лесное, в этом нелепом и неуютном скрипучем доме, в котором все время слышны какие-то неясные звуки, где-то что-то пищит, скребется и ухает.

С вечерним поездом должна приехать Соня Иванова (или, как все ее зовут, Ванька), но до вечернего поезда далеко, а уже темно, и идет дождь, и кажется: кто-то тяжелый разгуливает по крыше.

Вера зажгла лампу, но тревога не проходила. Тени отошли и затаились в углах. На ликах святых, оправленных золотом, появилось злобное выражение. Снаружи кто-то стукнул палкой по стене. Раз, другой... Вера глянула в окно и застыла от ужаса. К стеклу с обратной стороны приныкло чье-то лицо.

— Кто там? — испуганно спросила она.

Лицо не ответило. Она напряженно вгляделась и

увидела, что на нее смотрит ее же собственное отражение.

«Господи,— подумала она.— Какая же я трусиха! Вся в мать».

Когда-то, когда она была еще совсем маленькая, они жили в лесу, в Мамадышском уезде Казанской губернии. Отец служил лесничим, и дом их стоял посреди леса, окруженный глухим забором. Мать рассказывала детям страшные сказки. Мужик отрубил у медведя лапу и отнес жене. Ночью жена варит медвежье мясо, а медведь, приставив деревянную ногу, идет по деревне.

Детям страшно, и матери страшно не меньше. Перед сном она берет свечу и в сопровождении дворни обходит комнаты, заглядывая во все углы, за сундуки, под кровати. И в каждом темном углу чудится ей страшный мужик, разбойник с большим ножом. И она готова в любую секунду закричать на весь дом.

«Трусиха,— ругает себя Вера.— Я должна воспитывать в себе смелость. Ведь я сознательно вступила на путь, где быть трусихой невозможно».

Да, за последнее время в жизни Веры многое переменялось. Совсем недавно вступила она в общество «Земля и воля», а вот уже этого общества и нет. Раскололось. Плеханов, не согласившись с решениями воронежского съезда, уехал в Петербург и стал собирать своих сторонников. Плеханов — фигура популярная, и за ним пошли многие. Стефанович, Дейч, Бохановский... Вернувшаяся из-за границы Вера Ивановна Засулич тоже встала на сторону Плеханова. Это было обидно. Покушение на Трепова сделало Веру Ивановну любимицей молодежи. Куда пойдет Засулич, туда пойдет и молодежь. Вот почему сторонникам нового направления хотелось привлечь ее на свою сторону.

Теперь те, кто избрал новое направление в Воронеже, собрались здесь, в Лесном, под Петербургом. Встречались в сосновом парке, иногда под видом подгулявшей компании, и тем избегали внимания любопытных. Постепенно положение прояснилось. Стало ясно, что воронежский съезд не устранил, а только затушевал разногласия. Одни по-прежнему ратовали за работу в народе, другие настаивали на царевбийстве. Тем и другим было тесно в одной упряжке, и раздел все-таки стал свершившимся фактом. Разделили все: принадлежавшее «Земле и воле» имущество, деньги и даже название. Пропагандисты стали «Черным переделом», террористы — «Народной волей». Теперь дело пошло быстрее. Для руководства партией «Народная воля» избран был Исполнительный комитет, который начал вынашивать конкретные планы царевбийства. Осенью Александр II будет возвращаться из Крыма. Крушение царского поезда — наиболее реальный путь к успеху. Не откладывая дела в долгий ящик, техники Ширяев, Исаев и Кибальчич принялись за изготовление динамита. Осталось только самым надежным образом употребить его в дело.

Вспоминая недавнее, Вера невольно усмехнулась. Какая резкая перемена в ее судьбе! Два месяца назад она была еще убежденной сторонницей пропаганды в народе. Еще только прошлой зимой с ужасом внимала она словам Соловьева. Нет, она не осуждала его. Напротив, одобряла и восхищалась. И в то же время знала, что сама никогда не смогла бы поднять руку на человека, хотя бы это был даже враг. Но теперь это все позади. Теперь она член Исполнительного комитета «Народной воли» (эмблема: перекрещенные топор, кинжал и револьвер).

Член Исполнительного комитета... Но об этом не должен знать никто, кроме самих членов комитета. Для других, пусть даже самых близких людей, и для полиции (в случае ареста) она только агент комитета. Это, кажется, придумал Тихомиров. Все люди, привлеченные комитетом к террористической деятельности, называются его агентами. Первой степени — с меньшим доверием, второй степени — с большим. Член Исполнительного комитета называется агентом третьей степени. Третьей, а не наоборот, не первой. Чтобы никто не знал, сколько степеней впереди.

Вступая в Исполнительный комитет, она поклялась:

1) отдать все духовные силы свои на дело революции, забыть ради него все родственные узы и личные симпатии, любовь и дружбу;

2) если это нужно, отдать и свою жизнь, не считаясь ни с чем и не щадя никого и ничего;

3) не иметь частной собственности, ничего своего, что не было бы вместе с тем и собственностью организации...

Требования велики. Но на меньшее она бы и не согласилась. Только так. Всю себя. Не наполовину, не на две трети, не на три четверти, а целиком, без остатка.

Мосты сожжены, и нет путей к отступлению. Теперь, если ей поручат... А ей непременно поручат самое важное и самое опасное дело.

...Царь, окруженный жандармами и шпионами, идет по дорожке Летнего сада. На дорожке появляется женщина в черном платье и в черной шали. Под шалью — револьвер. Царь останавливается, как вкопанный. «Кто вы?» — спрашивает он в ужасе. «Я — Вера Фигнер, ваше величество, но теперь это для вас не имеет значения...»

Что-то заскрежетало и ахнуло. Вера вздрогнула и очнулась. Нет царя, нет жандармов, нет дорожки Летнего сада. Есть эта старая страшная дача. Со скрежетом растворились узорчатые двери стенных часов. Выскочила кукушка и, сверкая злобным стекляннным глазом, закричала пронзительным металлическим голосом:

— У-у! У-у! У-у! — И так десять раз подряд.

«Господи,— содрогаясь, подумала отчаянная террористка.— Если сейчас же никто не придет, я здесь умру от страха».

Теперь уже явственно казалось, что кто-то ходит по крыше и кто-то стучит палкой по наружной стене. «Здесь никого не может быть. По крыше стучит дождь, а по стене...» Она взяла лампу и пошла в соседнюю комнату. Так и есть. Ветер хлопал неприкрытой форточкой.

— Дура, трусиха! — вслух сказала себе Вера.

Она решила больше не трусить, но все же закрыла дверь на палку, потом пошла в коридор и проверила замки и задвижки. «Это на всякий случай,— мысленно сказала она, разбирая постель,— но я ничего не боюсь».

Последний поезд должен прийти в начале одиннадцатого. Через полчаса Ванька будет здесь. Вера поставила лампу на стул возле кровати, легла и стала читать рассказ Глеба Успенского в «Отечественных записках»...

Проснулась она от стука. Вскочила. Кто-то беспорядочно молотил в дверь кулаком. Это стучал чужой человек. Свои стучат не так. Для своих есть условный стук. Два раза, пауза, один раз, пауза и еще два раза. Это не может быть вор, потому что вору, насколько она себе представляла, стараются вести себя тихо. Так бесцеремонно ночью может сту-

чать только полиция. Вера вдруг удивилась, что ей совершенно не страшно. Пугает всегда непонятное. Реальную опасность она готова встретить открыто. Жаль только, что нет револьвера.

В дверь продолжали стучать. Вера взяла лампу и вышла в коридор.

— Кто там? — громко спросила она, приложив ухо к войлочной обивке.

— Это я, Соня! — раздался нетерпеливый голос.

Вера всполошилась, загремела задвижками.

— Соня, милая, что случилось?

— Ничего абсолютно. Ванька не смогла приехать и попросила меня.

Она стояла на пороге, насквозь промокшая и босая, туфли держала в руках.

— Почему же ты не постучала, как условились?

— Стучала, — улынулась Соня. — Много раз. Да тебя разве добудешься! — Она посмотрела на лужу, которая натекла с ее платья. — Верочка, найди мне что-нибудь переодеться.

Потом они сидели за столом в одинаковых полотняных рубашках и пили чай с малиновым вареньем. Перед Верой лежал паспорт на фамилию Лихаревой. С завтрашнего дня она под этой фамилией и Квятковский будут жить в Петербурге. Адрес: Лештуков переулок, дом 13, квартира 22. Эта квартира станет местом для собраний.

— И только? — обиделась Вера. — Но я же просила комитет дать мне самое опасное задание.

Соня погладила ее по голове:

— Не спеши, Верочка. Опасностей еще хватит на всех.

Отнесли самовар на кухню, легли, погасили свет.

— Соня, — шепотом призналась Вера, — стыдно сказать, но почему-то сегодня я здесь ужасно тру-

сила. С тобой, наверное, такого не бывает. Скажи, ты боишься хоть чего-нибудь в жизни?

— Мышей,— тоже шепотом ответила Перовская.

Глава одиннадцатая

Пропал железнодорожный сторож Семен Александров, служивший на четырнадцатой версте близ Одессы. Пропал, не взяв ни расчета, ни паспорта. Пропал вместе с женою, страдавшей туберкулезом. Как прикажете понять такой казус?

Жандармский офицер Георгий Порфирьевич Судейкин сидел за служебным столом, разноцветными карандашами чертил на плотной бумаге какие-то геометрические фигуры и пытался сопоставить события последних дней.

Итак, 14 ноября в Елисаветграде задержан неизвестный человек иудейского вида с грузом в полтора пуда динамита и билетом из Одессы в Москву.

19 ноября на третьей версте Московско-Курской железной дороги от взрыва мины взлетает на воздух поезд со свитой императора, возвращающегося после летнего отдыха из Крыма в Москву.

Разумеется те, кто подкладывал динамит, рассчитывали взорвать не этот поезд. Тот поезд, который им был нужен, прошел раньше. Тот вез священную особу его императорского величества.

При обследовании места взрыва под развороченным полотном железной дороги был обнаружен подкоп. Обшитая досками минная галерея привела к дому, стоящему на значительном удалении от дороги. Дом был недавно куплен неким Сухоруковым, проживавшим здесь вместе со своею женою. В доме

были найдены груды сырой земли, бутылка с нитроглицерином, лопаты и кирки. Хозяева дома исчезли и больше не появлялись. Оставленная в доме засада не дала никаких результатов.

24 ноября в Петербурге арестованы Чернышев и Побережская. В их квартире обнаружена динамитная мастерская. Госпожа Лихарева, ранее проживавшая по тому же адресу, скрылась в неизвестном направлении еще в сентябре.

Но какое отношение ко всему этому имеет сторож, курский мещанин Семен Александров? На первый взгляд никакого. Но если учесть, что:

а) задержанный под Елисаветградом неизвестный вез динамит именно из Одессы;

б) по первоначальным слухам, в Одессу на пути из Крыма в Петербург должен был заехать государь;

в) пропавший мещанин Александров очень упорно добивался места сторожа на железной дороге вблизи Одессы, а затем покинул его поспешно и, видимо, без всякого сожаления...

Если учесть и сопоставить все эти соображения, то вполне можно предположить, что не только забота о здоровье туберкулезной жены влекла к чистому воздуху железной дороги пропавшего, но и некоторые другие надежды, которые очень хотелось бы разгадать Судейкину.

— Так-так, господин Семен Александров, — вслух обратился Судейкин к воображаемому собеседнику. — Прошу садиться. — Доброжелательным жестом он указал на пустой стул перед своим столом. — Вы, Семен Александров, воробей безусловно стреляный и, я думаю, не первый раз оставляете в конторах фальшивые документы. Но и мы ведь, — несколько подбоченился Судейкин, — тоже не лыком шиты. Вот, про-

шу вас, обратите внимание на эту картину. — Он выдвинул разрисованный лист бумаги на середину стола. — Вот этот сирий кружочек означает город Одессу. Этот — Елисаветград, где 14 ноября задержан неизвестный. А этот черный паровозик и под ним красное пламя означают взрыв под Москвой 19 ноября. Эта — черная решеточка, за ней черные же фигуры — Чернышев и Побережская, будем их пока что так называть. Тут в стороне маячит еще неизвестная под вуалью — госпожа Лихарева, она исчезла еще раньше. Попробуем подсчитать. В руках у нас неизвестный с динамитом, господин Чернышев и госпожа Побережская. Исчезли вы, господин Александров, ваша супруга, госпожа Лихарева, купец Черемисов из Александровска, супруги Сухоруковы из Москвы. И во всем этом клубке, господин Александров, надо разобраться. А я ведь не гений! Я просто скромный жандармский офицер. — Судейкин задумался, покачал головой и продолжал не очень уверенно: — А может, и гений. Это мы потом увидим. Вы, господин Александров, на мой скромный мундир не смотрите. Ведь Наполеон тоже начинал не с генерала. Да, господин Александров, трудную вы задали мне задачу, но интересную. И я не жалеюсь.

В дверь просунулась голова с усами.

— Ваше благородие, пришел по повестке господин Щигельский. Просить?

— Просить, — согласился Георгий Порфирьевич.

Вошел франтоватый господин средних лет. В руках трость с костяным набалдашником. «Сластолюбец и пьяница», — определил Георгий Порфирьевич, поднимаясь навстречу.

— Господин Щигельский! — воскликнул он с отчаянным дружелюбием и даже всплеснул руками. — Очень рад! Очень рад! — говорил он, подводя гостя

к стулу, на котором только что сидел воображаемый Семен Александров.— Прощу, прощу! Располагайтесь и чувствуйте себя как дома. Если, конечно, вы можете себя так чувствовать в жандармском управлении.

Затем он вернулся на свое место и, подперев подбородок ладонями, умильно посмотрел на гостя. «Пытается держаться самоуверенно, однако ужасно трусит,— отметил он про себя.— Коленка дрожит, и в глазах настороженность».

— Так, господин Щигельский, стало быть, вы стойте на службе в должности начальника дистанции. Я правильно осведомлен?

— Вполне,— напряженно улыбнулся Щигельский.

— И вам нравится ваша служба?

Щигельский пожал плечами:

— Служба как служба.

— Я вас понимаю. Есть свои и хорошие, и дурные стороны. Так же, собственно, как и во всякой службе, например в моей. Но я не об этом, я о другом...

Не договорив, Судейкин придвинул к себе стопку чистых листов бумаги и стал что-то быстро писать, часто макая перо в бронзовую чернильницу. О своем посетителе он, казалось, забыл. Щигельский сидел неподвижно, не решаясь напоминать о своем присутствии. Потом он заерзал. Потом кашлянул. Вдруг Судейкин неожиданно бросил на стол перо, отодвинул от себя бумагу, посмотрел на своего посетителя, подмигнул ему и сказал вопросительно:

— Ну-с?

— Что-с? — вздрогнул Щигельский.

— Рассказывайте-с,— обаятельно улыбнулся Судейкин.

— Что-с рассказывать-с-с-с? — застряв на этом последнем «с», он сипел, как чайник, и никак не мог остановиться.

— А вы не сыскайте, — еще обаятельнее улынулся Судейкин. — Вы просто расскажите, когда, при каких обстоятельствах вы вступили в так называемую русскую социально-революционную партию, что вас к тому побудило, кто ваши сообщники, под какими фамилиями и где проживают?

Со светлой улыбкой Судейкин наблюдал за переменах в лице собеседника.

— Милостивый государь! — поднимаясь, медленно багровел начальник дистанции. — Я, милостивый государь... Вы милостивый госуда-да-да-да... — не договорив, он подогнул колени и во всем своем величии рухнул на пол вместе со стулом, за который в последний миг ухватился.

— Черт побери, однако, — пробормотал Судейкин, с любопытством глядя на распростертое тело, — как одно слово может действовать на нервного человека! Эй, кто там есть! — крикнул он в сторону двери.

Просунулся тот же усатый жандарм.

— Поднять и привести в чувство! — приказал Судейкин, кивая на Щигельского.

Жандарм одной рукой поднял стул, другой схватил за ворот господина Щигельского, без особых усилий водрузил на прежнее место, пошлепал ладонью по щекам и отошел.

Щигельский открыл глаза и недоуменно огляделся, как бы не понимая, где он находится. Потом взгляд его остановился на Судейкине, он кое-что вспомнил и виновато улыбнулся:

— Я, кажется, немного того...

— Да, немного вздремнули, — охотно поддерживал

Судейкин. — Вы уж, господин Щигельский, ежели что, так на нас не серчайте. Полицейская служба предполагает и всяческие полицейские уловки. А что поделаешь? Положение в нашем царстве-государстве, как бы это сказать помягче... сложное. Рыскают повсюду разные лохматые нигилисты, пуляют из револьверов, взрывают мины. Небось кое-что в газетках читали. В меня самого, господин Щигельский, стреляли; не знаю, как жив остался. Вот и этот ваш Семен Александров.

— Неужто нигилист? — недоверчиво покосился Щигельский.

— А то кто же? Нигилист чистой воды.

— А на вид такой скромный, тихий.

— Волк в овечьей шкуре. Ведь у некоторых людей, господин Щигельский, есть представление, что нигилисты какие-то особенные люди. А они никакие не особенные, обыкновенные, вроде нас с вами. Согласитесь, человеком часто движут обстоятельства. И при некоторых обстоятельствах самый благонамеренный индивид может вполне схватиться за револьвер или бомбу. При иных обстоятельствах и вы могли бы стать таким же. Только вы, господин Щигельский, прошу вас, больше в обморок не падайте, это же я говорю только в порядке предположения. Да что вы, я сам, если бы судьба повернулась иначе, тоже мог бы стать на эту дорожку. Да, да, вы не удивляйтесь. Ведь я вам скажу, каждому хочется как-то проявиться, заявить возможно большему количеству публики: «вот он я». А как заявить? Не у каждого есть талант достичь успеха на военном поприще, либо в литературе, либо на сцене. На государственной службе подняться по служебной лестнице и во все трудно. Надо являться в присутствие, делать черную работу да еще лебезить перед начальством.

А тут бомбу кинул или из пистолета пальнул — и вот ты весь на виду. И даже как будто и жизнь оправдана. Именно такое честолюбие, господин Щигельский, и движет многими нашими молодыми людьми. А поскольку все люди честолюбивы, то и нигилиста можно подозревать в каждом. Почему, господин Щигельский, я и подумал, уж не заодно ли вы с ними. Тем более и улики, извините, говорят против вас. Вы только, пожалуйста, не волнуйтесь, но сами рассудите: как я должен понимать такой факт, что вы взяли на работу отъявленного революционера?

— Стало быть, вы меня и сейчас подозреваете?

— Что вы, господь с вами! — запротестовал Судейкин. — Я только говорю, что обстоятельства складываются таким образом, что можно на вас подумать... Где вы взяли этого самого Александра и кто вам его рекомендовал?

— Одна дама.

— Дама? — удивился Судейкин. — Шерше ля фам. И кто же была эта дама.

— Брюнетка.

— Гм... Ценное сведение, — иронически заметил Судейкин. — А еще что вы о ней можете сказать?

— Одета была в бархатное платье, черное с белым воротничком и манжетами, в черной шляпе с пером.

— Так. Прекрасно. Теперь я был бы вполне вам признателен, если бы вы мне еще сообщили фамилию этой дамы, где она живет и чем занимается.

— Где она живет я не знаю и чем занимается тоже. А фамилия ее то ли Войницкая, то ли Новпцкая, точно не помню.

— И напрасно, господин Щигельский, напрасно, — сладко промурлыкал капитан. — Ведь, прямо вам

скажу, лучше вам сразу вспомнить, самому. Вспоминать с нашей помощью не все любят.

— Вы, господин офицер, забываетесь! — вспыхнул Щигельский. — Я двадцать пять лет служу верой и правдой царю и отечеству, имею многие благодарности от вышестоящего начальства, и я не позволяю...

— Простите, господин Щигельский, виноват. Но посудите сами, что я могу о вас подумать? Приняли на службу государственного преступника по рекомендации дамы, о которой сказать ничего не можете. Скажите, откуда взялась эта дама, и я вас оставлю в покое.

Щигельский помолчал, поковырял пальцем обивку стула, посмотрел в окно.

— Ко мне ее прислал барон Унгерн-Штернберг, — сказал он неохотно.

— Барон Унгерн-Штернберг? — равнодушно переспросил Судейкин.

— Да, он.

— Почему же вы сразу не сказали?

— А потому, господин офицер, что ежели вы его притянете к этому делу, ему ничего не будет, а меня он уволит со службы. А я двадцать пять лет верой и правдой...

— Слышал, — оборвал Судейкин. — А по какому случаю барон прислал к вам эту таинственную незнакомку?

— Откуда мне знать? Пришла, принесла от барона записку.

— Она у вас сохранилась?

— Нет.

— Допустим. И что же было в этой записке?

— В этой записке барон просил, если есть вакансия, устроить дворника этой дамы, поскольку жена

дворника больна туберкулезом и нуждается в свежем воздухе.

— В свежем воздухе,— усмехнулся Георгий Порфирьевич.— В динамите нуждалась она, господин Щигельский.

Судейкин снова уткнулся в свои бумаги, что-то там писал, поправлял, подчеркивал. Потом поднял голову, удивился:

— Вы все еще здесь?

— Разве я могу быть свободным?

— Пока можете.

Щигельский вскочил на ноги и с несолидной поспешностью кинулся к дверям.— «Эк, какой приткый!» — усмехнулся Судейкин.

— Господин Щигельский, минуточку,— остановил он.— Так как же все-таки фамилия этой дамы, Войницкая или Новицкая?

— Иваницкая,— счастливо вспомнил Щигельский.— Поверите, совсем было запамятовал, а тут вы неожиданно спросили, и сразу вспомнил.

— Вот видите,— улыбнулся Судейкин.— Значит, действительно с нашей помощью можно кое-что вспомнить. До свидания, господин Щигельский. Желаю удачи.

Барона Унгерн-Штернберга Судейкин не стал к себе вызывать, сам явился к нему с визитом. Отослав швейцара со своей карточкой, Георгий Порфирьевич расхаживал по тесной приемной. Барон принадлежал к известной дворянской фамилии, был одним из влиятельных лиц на Юго-Западной железной дороге, зятем генерал-губернатора Тотлебена. Готовясь к предстоящему разговору, Судейкин даже несколько волновался. Собственно, в данном случае трудно

было не волноваться. В этом занятом деле с пронавшим Семеном Александровым некоторые нити вели к барону Унгерн-Штернбергу. Георгий Порфирьевич не то чтобы сразу всерьез заподозрил барона в связях с террористами, более того, он в это даже вовсе не верил, но надежда, слабая надежда все же была. Расхаживая по приемной, Судейкин сопоставлял известные ему факты и все ближе подходил к мысли, что было бы совсем недурно уличить зятя одесского генерал-губернатора в терроризме. Чем крупнее фигуры, участвующие в заговоре, тем крупнее сам заговор. А чем крупнее заговор, тем крупнее заслуга, тем крупнее вознаграждение. Впрочем, его интересовало не только вознаграждение в буквальном смысле. Разумеется, он желал и прибавления жалования, и повышения в чине. Но не только ради этих мелких благ старался наш Георгий Порфирьевич, его поступками двигало и другое. Дело в том, что он имел прирожденную страсть к полицейскому сыску. Георгий Порфирьевич трудился на избранном поприще, в первую очередь, по велению своего сердца. В данном случае и то и другое счастливо совпало.

— Их превосходительство заняты, просили обождать, — сказал вернувшись швейцар.

— Ах вот как! — удивился Судейкин. Отодвинув его в сторону, он распахнул дверь, обитую желтой кожей, и застал барона врасплох — тот чистил ногти.

Барон вскинул удивленные глаза на слишком смелого посетителя.

— Прошу прощения, барон, — распаркался Судейкин, — но вынужден вас потревожить.

— Разве вам не передали мою просьбу обождать?

— Передали, — кивнул головой Судейкин. — Однако ожидать окончания вашего важного дела, —

сказал он, бросая красноречивый взгляд на набор маникюрных инструментов,— не имею возможности.

— Однако ж не кажется ли вам, что вы слишком бесцеремонны,— пробормотал барон.— Вы забываете, с кем имеете дело.

— Не забываю. О ваших родственных связях вполне осведомлен. Однако, имея особые полномочия, нахожу нужным настаивать на немедленной аудиенции.

— Садитесь,— кивнул барон на кресло перед столом.

У барона Судейкин пробыл недолго. Во время разговора он выяснил следующее. Как-то осенью к барону явилась неизвестная ему молодая дама просить за своего дворника, жена которого якобы страдает туберкулезом и так далее. Барон, по его словам, принял просительницу хмуро, сказал, что устройством каждого сторожа он не ведает и что ей надо обратиться к кому-либо непосредственно нанимающему сторожей, а именно к кому-нибудь из начальников дистанций. Однако дама оказалась очень настойчива и упростила барона черкнуть записку к Щигельскому, что, собственно говоря, он, барон, и сделал, без особого, впрочем, энтузиазма. Он действительно написал такую записку, но в очень осторожных выражениях, давая Щигельскому понять, что записка эта его ни к чему не обязывает.

Покуда Судейкин наводил в Одессе справки на счет Семена Александрова, из Петербурга пришло сообщение, что под фамилиями Чернышева и Побережской скрывались члены недавно организованной партии «Народная воля» Александр Квятковский и Евгения Фигнер. Задержанный под Елисаветградом

известный нудей тоже открыл свое имя — Григорий Гольденберг, убийца харьковского генерал-губернатора князя Кропоткина. Истинных фамилий участников поджога и взрыва царского поезда под Москвой покуда открыть не удалось, однако по некоторым сведениям есть основания подозревать, что роль хозяйки дома Сухоруковой играла Софья Перовская, дочь бывшего петербургского губернатора. Все эти сообщения косвенно подтверждали догадку Судейкина насчет дамы, которая так настойчиво хлопотала об устройстве Семена Александрова с его больной женой. Уж не та ли это самая Лихарева, которая скрывалась из Петербурга?

В сейфе Судейкина была особая полочка. На ней лежали одинаковые синие папки, содержащие сведения о лицах, которые особенно разжигали любопытство Судейкина. Порывшись на этой полке, он извлек и положил перед собой на стол папку с надписью: «Вера Николаевна Филиппова-Фигнер». В папке хранилось несколько листочков, к первому из которых была аккуратно пришпилена желтая фотографическая карточка.

— Недурна,— самому себе сказал Судейкин.— Очень недурна.

— Ну что ж, Вера Николаевна,— продолжал он, обращаясь к пустому стулу,— рад, чрезвычайно рад знакомству. Наслышан, начитан, однако,— капитан развел руками,— в вашей, так сказать, биографии есть несколько неясных моментов. Что нам известно? Дворянка, родилась в Казанской губернии, окончила Родионовский институт, вышла замуж за судебного следователя господина Филиппова. Типичная судьба дворянской девицы. Затем начинается нетипичное. Поехала в Швейцарию, училась в Цюрихе, затем в Берне, недоучилась, вернулась, развелась с мужем,

работала фельдшерницей в Самарской и Саратовской губерниях; после покушения Соловьева отбыла в неизвестном направлении и теперь нигде не значится. Как же так, милейшая? — Судейкин поднял брови и изобразил на своем лице выражение крайнего удивления. — Как же это может быть, чтобы в нашем государстве человек нигде не значился? Теперь далее. Есть несколько вопросов, на которые хотелось бы получить ответ. По имеющимся у нас сведениям, вышеупомянутый Соловьев посетил вас там же, в Саратовской губернии, в Петровском уезде. Для чего? Ну и, наконец, ваша сестра Евгения Николаевна, к которой я лично отношусь с великим почтением и которая проживала вместе с вами в Петровском уезде, ныне арестована с подложным паспортом на имя Побережской в Петербурге. В квартире обнаружены нелегальная литература и запасы динамита. Интересно? Очень. Вместе с Побережской арестован господин Чернышев, он же Квятковский, а вот госпожа Лихарева, ранее проживавшая с ним в одной квартире, испарилась. И это еще не все, уважаемая Вера Николаевна. — В голосе Георгия Порфирьевича зазвучала торжествующая нотка. — Словесное описание внешности госпожи Лихаревой, полученное от дворника и пристава, вполне совпадает с вашим портретом. Таким образом, я, почти не боясь ошибиться, пишу на вашей папчке: «Вера Николаевна Филиппова-Фигнер, она же Лихарева, она же...» Насчет того, кто «она же» еще, у меня тоже есть некоторые соображения, о которых я, однако, пока, — Судейкин хитро подмигнул стулу, — умолчу-с. Да-с. А за сим, Вера Николаевна, позвольте пожелать вам доброго здоровья и пожайте на свое место, надеюсь, до скорой встречи. — Он завязал на папке шелковые тесемочки и положил ее в сейф поверх других папок.

Вечером того же дня к хозяйке меблированных комнат в доме 66 по Екатерининской улице явился весьма приличный человек в пальто с енотовым воротником и спросил, не может ли он снять здесь комнату или две с отдельным входом и кухней. Видя в пришедшем солидного клиента, хозяйка провела его во второй этаж, где у нее как раз недавно освободилась квартира из двух комнат. Клиент оказался довольно канризным, он придирчиво оглядел обе комнаты, заглядывал под кровати, в платяной шкаф, заявляя, что терпеть не может клопов и мышей. При осмотре кухни клиента заинтересовало большое жирное пятно на столе. Это пятно посетитель долго разглядывал, потом, наклонившись, понюхал и, уловив запах нитроглицерина, поморщился.

— Чем пахнет? — строго спросил посетитель.

Хозяйка наклонилась, понюхала и улыбнулась посетителю:

— Ничем не пахнет.

— Смертью пахнет, — сказал посетитель и, стукнув кулаком по столу, закричал:

— Говори, старая вобла, где прячешь нигилистов?

По тону хозяйка сразу определила служебную принадлежность посетителя и заняла плаксивым голосом, прикладывая батистовый платочек к глазам:

— Не знаю я никаких гилистов. Тут два людыны жили, чоловік с жинкой, и обое дворяне.

На вопрос, куда делись, хозяйка отвечала, что две недели назад неожиданно выехали, заплатив за месяц вперед, потому что зимой постояльцев найти очень трудно. Куда уехали, она не знает. Посетитель продолжал стучать кулаком по столу и кричать. Вконец перепуганная хозяйка отвечала сбивчиво и невпопад, но в предъявленной ей фотокарточке опозна-

ла свою жилицу. Что касается мужа жилицы, то хозяйка сказала, что он «на личность такой чернявый» и любит апельсины.

— С бородой? — спросил Судейкин (а это, конечно, был он).

— Та воны уси с бородами.

— Кто «уси»?

Хозяйка сказала, что приходили еще несколько человек, но надолго не задерживались, в поведении их ничего подозрительного не замечалось.

— Був ще одын жидочек, — сказала хозяйка. — Прихав з малым чемойданом, а уезжав з великим. Чижолый був чемойдан.

— Откуда ж ты знаешь, что он был тяжелый? — насторожился Судейкин.

— Та це ж каждому видно! Он нес його, на бик перехилився. А потим у другу руку визьме, на другой бик перехилиється. Я у викно дывилась и ще подумала: чи золото вин несе, чи шо?

Впоследствии Георгий Порфирьевич Судейкин выяснит, что под именем Семена Александрова скрывался член Исполнительного комитета «Народной воли» Михаил Фроленко, тот самый Фроленко, который, устроившись надзирателем в Киевскую тюрьму, вывел из нее среди бела дня сразу трех опаснейших государственных преступников: Стефановича, Дейча и Бохановского, тот самый Фроленко, который принимал участие в дерзкой попытке освобождения революционера Войнаральского, тот самый, который впоследствии... Впрочем, впоследствии выяснится многое. Выяснится, что роль жены Александрова исполняла Татьяна Лебедева, тоже член Исполнительного комитета, что жильцом меблированных комнат на Екатерининской улице, который любил апельсины, был не кто иной, как Николай Кибальчич. А пока

Георгий Порфирьевич был доволен и малым и, возвратясь к себе в кабинет, достал опять сивую папку и дописал к совсем еще небольшому списку фамилий Фигнер: «она же Иваницкая».

Глава двенадцатая

То, что так хотел знать капитан Судейкин, знал задержанный под Елисаветградом Григорий Гольденберг. Он знал, что Исполнительный комитет только что организованной партии «Народная воля», приняв решение о цареубийстве, немедленно приступил к делу. Предполагалось, что царь из Крыма отправится пароходом в Одессу, а уже из Одессы поездом в Петербург. Поэтому именно Одесса и была избрана первым пунктом. Фигнер, уехав в сентябре из Петербурга, вместе с Николаем Кибальчичем держала теперь нелегальную квартиру на Екатерининской улице, где Кибальчич изготовлял динамит. Фроленко и Татьяна Лебедева устроились на железную дорогу. Здесь они должны были произвести подкоп, заложить динамит и взорвать царский поезд. В ноябре в Одессе появился Гольденберг. Он привез известие о том, что царь поедет из Симферополя и в Одессу не заедет, взял динамит и повез в Москву, но по дороге был арестован. Вторым местом намеченного покушения был Александровск. Здесь под видом купцов Черемисовых, желающих открыть кожевенное производство, поселились Желябов и Анна Васильевна Якимова. Им помогали рабочие Иван Окладский¹ и Макар

¹ Иван Окладский стал впоследствии провокатором, в течение 37 лет сотрудничал с царской охранкой и был судим советским судом в 1925 году.

Тетерка. В ноябре на четвертой версте от Александровска были заложены две мины с магнизиальным динамитом.

16 ноября (этого уже не знал и Гольденберг) из Симферополя приехал Андрей Пресняков и сообщил, что царский поезд проследует через Александровск 18 ноября.

18 ноября Желябов, Окладский, Пресняков и Тихонов выехали в поле в телеге, на которой лежала гальваническая батарея и спираль Румкорфа. При приближении царского поезда они соединили провода, идущие от мины, с батареей. Как только поезд подошел к тому месту, где была заложена мина, Желябов соединил концы проводов, но взрыва почему-то не произошло, и поезд благополучно проследовал дальше.

Теперь вся надежда была на Москву. Именно здесь, а точнее, на третьей версте Московско-Курской железной дороги под видом супругов Сухоруковых поселились Лев Николаевич Гартман и Софья Львовна Перовская. Из купленного ими дома Лев Гартман, Степан Ширяев, Александр Михайлов, Николай Морозов и некоторое время Гольденберг в течение двух месяцев вели грандиозный подкоп. Работали в невыносимых условиях, стоя, а иногда и лежа в ледяной грязи. Осень была дождливая, подкоп заливало, приходилось вычерпывать тысячи ведер воды. А наверху, в доме, дочь бывшего петербургского губернатора готовила пищу и держала при себе револьвер. В ее обязанности входило, если ворвется полиция, выстрелом из револьвера взорвать бутылку с нитроглицерином и похоронить всех под обломками. Несмотря на то что все делалось своими руками, на сооружение подкопа было потрачено около сорока тысяч рублей.

Вечером 19 ноября 1879 года от взрыва мины потерпел крушение поезд, с большой скоростью подходивший к Москве. Но это был не тот поезд, к встрече которого так долго готовились супруги Сухоруковы и их гости. И третья, труднейшая попытка окончилась неудачей.

О взрыве под Москвой Вера узнала из газет, а потом уже подробно от товарищей.

Покуда дотошный Георгий Порфирьевич Судейкин наводил о ней справки, она жила тут же, в Одессе. После несостоявшегося здесь покушения Фроленко, Лебедева и Кибальчич уехали из города, а она только перебралась на другую улицу. Исполнительный комитет поручил ей вести пропаганду среди здешней молодежи.

Некто Батышков, крестьянин Олонецкой губернии, вот уже несколько месяцев служил в Зимнем дворце столяром. Он был искусный мастер, и ему поручали самые сложные работы, даже в царской столовой. Столяр работал добросовестно и с удивлением наблюдал окружающую его жизнь. Пока император пребывал в Ливадии, в столичном дворце царил неслыханный беспорядок. Если через парадные двери могли пройти только самые высокопоставленные лица, да и то лишь после тщательной проверки, то через черный ход проходил кто угодно, пользуясь малейшим знакомством с любым из слуг. Во дворце процветало воровство: слуги тащили вино и другие припасы из царских погребов и прямо здесь устраивали праздники, свадьбы и просто попойки. Воровство здесь было настолько общепринято, что и Батышкову пришлось подворовывать, чтобы не навлечь на себя подозрений. Вскоре он стал здесь совсем своим

человеком, к рождеству ему было выдано сто рублей премии, а жандарм, следивший за столярами, узнав, что новый столяр холост, делал к нему всяческие подходы, желая выдать свою дочь за хорошего человека. Если бы жандармы потрудились проследить, с кем Батышков встречается вне дворца, они могли бы сделать весьма любопытные наблюдения. Они могли бы выяснить, что скромный столяр встречался с государственным преступником Квятковским. Именно у Квятковского Батышков получал динамит. После ареста Квятковского Батышков стал встречаться с другим человеком, которого называл Тарасом. Они встречались, и Тарас при каждой встрече передавал Батышкову новую порцию динамита. Батышков каждый раз был недоволен, требовал еще.

— Хватит,— однажды сказал Тарас.— Уже почти четыре пуда.

— Мало,— настаивал Батышков.— Нужно еще.

— Нужно,— сказал Тарас,— думать о людях. Там солдаты, они ни при чем. Лишних жертв нам не надо.

— Надо! — Батышков сердился, и румянец пылал во всю щеку.— Надо, чтоб было наверняка. Так ахнуть, чтобы на всю Россию.

— Хватит, хватит,— успокоил Тарас.— Хватит и на Россию, и на Европу. Когда ждатель?

— Не знаю,— помрачнел столяр.— Жандарм сидит неотлучно. Но ничего-о! — В голосе столяра прозвучала угроза.— Все равно устроим. Такого треску наделаем, такого дыму напустим...

После этого разговора каждый вечер в один и тот же час они встречались на улице. Батышков проходил мимо Тараса мрачнее тучи и нервно бросал:

— Не удалось. Невозможно!

Но 5 февраля он появился веселый и быстро сказал:

— Готово!

В тот же момент из окон Зимнего вырвалось пламя и раздался оглушительный треск. Свет во всех окнах погас, и на площади стало темно.

Со всех сторон раздались крики, и люди, видевшие, что произошло, кинулись ко дворцу. Батышков тоже рванулся туда. Он стоял в толпе и жадно смотрел, как выносят из дворца раненых и убитых. По толпе расползались первые слухи. Говорили о гибели всей царской семьи. Что касается солдат конвойного Финляндского полка, называли разные цифры. Сто... Двести... Пятьсот... Звоня в колокольцы, прикатили пожарные. С трудом разыскав Батышкова в толпе, Тарас, он же Андрей Желябов, взял его за локоть. Столяр инстинктивно рванулся.

— Это я,— шепнул Желябов.— Пошли отсюда, и как можно скорей.

В конспиративной квартире на Большой Подъяческой их встретила маленькая женщина с горящей папироской — Анна Якимова.

— Все в порядке,— ответил Желябов на ее вопрошательный взгляд.— Дай чаю и постели, ему надо отдохнуть.

— Ладно,— сказала Якимова и вышла из кухни.

— Нет,— запротестовал Батышков.— За мной сейчас придут! Дайте револьвер! Я ни за что не дамся живым!

— Не бойся,— успокоил Желябов.— Видишь банки в углу? Это динамитные бомбы. На всех хватит, на нас и на них.

Когда Якимова вернулась из кухни с самоваром, столяр уже спал. Во сне он стонал и скрипел зубами. Якимова осторожно поставила самовар на стол, раскурила погасшую папироску и села спиной к столу, задумчиво глядя на спящего Батышкова.

Впрочем, какой там Батышков! Степан Халтурин, вот кто был перед ней.

В тот же вечер, немного позднее, стали известны некоторые подробности. Взрыв произошел в тот самый момент, когда царь со всей семьей и со своим гостем принцем Гессенским входили в столовую. В помещении этажом ниже было убито и искалечено около полусотни конвойных солдат. В столовой падала посуда, но все, кто там находился, отделались легким испугом. Судьба и на этот раз пощадила монарха.

Глава тринадцатая

Его вызвали на допрос после завтрака. Два жандарма (один спереди, другой сзади) провели арестанта по длинным, зигзагами коридорам, затем первый из них открыл обитую коричневой кожей дверь и отступил, пропуская его. Арестант переступил порог и зажмурился. За время долгого сидения в тюремной камере он отвык от яркого света. Открыв глаза, он увидел перед собой широкий стол, покрытый зеленым сукном, и огромный портрет государя, изображенного во весь рост в мундире, ослепительно начищенных сапогах и белых перчатках. На фоне этого величественного портрета особенно невзрачно выглядел маленький человек в вицмундире судебного ведомства. Человек выкатился из-под портрета и, став несколько крупнее, с приветливой улыбкой пошел навстречу.

— Очень и очень рад! — от души сказал он. — Позвольте представиться: прокурор Добржинский.

Приветливо протянутая рука прокурора повисла в воздухе.

— Ах да, простите, — глядя на руки арестанта,

пробормотал он.— Я совсем забыл.— И повернулся к конвойным: — Снимите, пожалуйста, это и выйдите.

Должно быть, даже произносить слово «наручники» прокурору было неприятно.

— Черт подери,— сказал он, когда конвойные вышли,— как-то до сих пор у нас не могут без этого. Я понимаю, конечно, у них,— прокурор как бы отделял себя и арестанта от «них»,— свои инструкции, но это уж усердие не по разуму.

Он вернулся на свое место под портретом и жестом указал арестанту на стул по другую сторону стола:

— Прошу садиться. Желаете чаю, папирс?

Арестант усмехнулся:

— С жандармами не имею привычки ни пить, ни курить.

Добржинский удивленно посмотрел на него и болезненно поморщился:

— Да, я понимаю. Разумеется, я, в виду моей принадлежности к определенному ведомству, не могу рассчитывать на ваше расположение. Однако не скрою, у меня есть надежда разрушить хотя бы частично эту преграду. Кстати, вы, вероятно, этого не знаете, но могу вам сказать почти с уверенностью, что корпус жандармов будет упразднен в самое ближайшее время.

Сообщение подействовало, арестант поднял голову и недоверчиво посмотрел на прокурора.

— Не верите,— устало улыбнулся Антон Францевич.— Действительно, трудно поверить. Но, как ни странно, это так. И вообще, с приходом к власти графа Лорис-Меликова, вы знаете, многое меняется на глазах. Но коренные перемены впереди. Да,— вздохнул он,— много было глупостей наделано

в прошлом, теперь с этим пора кончать. Правительство наконец-то поняло, что социальное движение родилось не от прихоти отдельных людей, а в результате исторической необходимости. Правительство, насколько мне известно (а мне известно многое), готово пересмотреть свою политику. Но как? Разве можно производить какие бы то ни было преобразования в такой обстановке? Выстрелы, взрывы, убийства. Разве может правительство проводить в жизнь серьезные реформы в то время, как оно должно постоянно обороняться от ваших товарищей? Да,— грустно покачал головой прокурор,— понимаете, Григорий... Извините, что я называю вас по имени. Мой возраст дает мне это право. Я просто как отец... вы понимаете, жаль, что все так складывается. Происходит ужасная трагедия. Есть честные люди в правительстве, есть честные в среде революционеров, и вместо того, чтобы объединиться для пользы отечества, они воюют друг с другом, и льется напрасно кровь. Скажу прямо, если б я знал, где находятся ваши товарищи... нет, я бы их не стал выдавать... я пошел бы к ним и сказал: «Господа, ради бога, остановитесь! Подождите немного, дайте правительству спокойно осуществить все то, чего вы хотите добиться бомбами». Да, жалко людей. Идет бессмысленная война. Гибнут люди. Гибнут молодые, способные, достойные лучшей участи... Их можно спасти. Для этого надо избавиться от предубеждений. Надо соединить свои усилия.

— И изловить революционеров,— насмешливо сказал арестант.— Напрасно вы стараетесь, господин прокурор. Ваши уловки мне известны, и не надо разыгрывать передо мной весь этот спектакль. Ведь я все равно не верю ни одному вашему слову. Все вы врете, господин прокурор.

— Вот как? — прокурор обиженно посмотрел на собеседника. Потом порылся во внутреннем кармане сюртука, вынул и положил перед арестантом выцветший дагерротип, на котором изображены были две девочки, две одинаковые малышки в белых платьях с белыми бантиками.

— Вот, — сказал прокурор волнуясь. — Если я их обманываю, то как я потом посмотрю им в глаза? Эх, Григорий! — Он встал и, заложив руки за спину, прошелся по кабинету. — Жаль, очень жаль, что мы с вами не можем найти общего языка. Но мы еще поговорим.

А почему бы, собственно, и не поговорить? Прокурор живет не в одиночной камере, а в своей прекрасной квартире. И, вызывая арестанта каждое утро к себе в кабинет, он ведет неторопливый проникновенный разговор и вносит смятение в душу своего собеседника.

А разговор все о том же. Правительство готово пойти на самые серьезные социальные преобразования. Но оно не может идти на них под угрозой насилия. Если нигилисты действительно озабочены судьбой России, они должны сложить оружие. Для того чтобы правительство могло действовать на благо отечества, оно должно знать, что представляет собой социально-революционная партия, ее состав, ее планы. Нет, не для того чтобы расправиться с ней. Правительство вовсе не намерено казнить нигилистов. Правительство состоит не из кровожадных зверей. Оно устало от крови и хочет мира, и только мира. Но для достижения мира оно должно знать размеры опасности. Сообщить все, что ему известно о партии, — не предательство, а мужество и долг арестанта...

Арестант пока молчит. Молчит в кабинете проку-

рора, потому что не верит ему. Но своему соседу по камере Федору Курицыну, который выдает себя за революционера и единомышленника, он верит и многое рассказывает ему, а тот — прокурору. А прокурор, не проявляя своей осведомленности, продолжает изо дня в день вести доверительный разговор по душам. Охотно рассказывает о себе, о своих малышах. Понимая тяжелое положение арестанта, приказывает удлинить прогулки. Даже разрешает матери пожить с сыном в камере. Конечно, это против всех правил. Но Добрыжнский не только прокурор, но и человек. Отчего бы и не облегчить чужие страдания, если это в его силах! И на мать он производит самое лучшее впечатление. Удивительно: прокурор, а с какой трогательной заботой, с каким беспокойством говорил о ее сыне!

И арестант не остается равнодушным к усилиям прокурора. В смятенную душу вкрадываются сомнения. В том, что говорит прокурор, есть какой-то резон. Может, действительно, тот путь, о котором он говорит, есть единственная возможность соединить все усилия для блага России? Благо России... Ради него он жертвовал своей жизнью, теперь пожертвует и своим добрым именем. Пусть его проклянут товарищи. Но когда-нибудь они поймут, что так было надо.

И арестант делает новый шаг к пропасти:

— Велите отвести меня в камеру, дайте бумаги, чернил, я подумаю.

Делопроизводитель Третьего отделения собственной его величества канцелярии Николай Васильевич Клеточников укладывал обработанные бумаги в разноцветные папки и аккуратными бантиками завязы-

вал шелковые тесемки, когда его вызвал к себе господин Кириллов, начальник 3-й экспедиции.

— Николай Васильевич, — сказал Кириллов виновато, — опять придется задержаться. Надо срочно переписать важный материал для царя, а, кроме вас, поручить некому.

Николай Васильевич снискал уважение начальства своим каллиграфическим почерком и тем, что с одинаковым прилежанием относился к любой работе. Клеточников был одинок, слаб здоровьем, не пил, не увлекался женщинами, и, если его просили остаться вечером для срочной работы, он не отказывался.

Получив от Кириллова нужные бумаги, Клеточников вернулся на свое место. Сосед его, запиравший ящики, сочувственно посмотрел на Николая Васильевича:

— Опять?

— Опять, — вздохнул Клеточников.

— Слишком старательный ты, Николай. Оттого на тебе и воду возят.

Клеточников ничего не ответил. Подождав, покуда сосед уйдет, он выпил бутылку молока с французской булкой, очинил перья, положил слева от себя бумаги, полученные от Кириллова, а прямо перед собой стопку чистой гербовой бумаги. И своим четким каллиграфическим почерком начал вычерчивать букву за буквой:

«...Зовут меня Григорий Давидов Гольденберг, от роду имею 24 года, вероисповедания иудейского, еврей, сын купца 2-й гильдии, родился в Бердичеве, в последнее время постоянного местожительства не имел, определенных занятий не имел, жил средствами революционной партии, холост, родители занимаются торговлей сукна в Киеве, где имеют свой магазин...»

Букву за буквой, слово за словом переписывал Клеточников срочную бумагу. Он только один раз оторвался, чтобы зажечь лампу, потер занемевшую в запястье руку и снова склонился над столом.

«...Воспитывался в киево-подольской классической прогимназии на счет родителей, выбыл из четвертого класса, оставив заведение по собственному желанию; за границей не был; формально к дознанию не привлекался, но в 1878 году меня допрашивали в Киеве по подозрению участия в покушении на убийство товарища прокурора Котляревского; судим по этому делу не был, а выслан административным порядком 13 апреля 1878 года в город Холмогоры Архангельской губернии, откуда 22 июня того же года бежал...

...Я решился на самое страшное и ужасное дело: я решился употребить такое средство, которое заставляет кровь биться в жилах, а иногда и горячую слезу выступить на глазах. Я решился подавить в себе всякое чувство озлобления, вражды (к чему призываю всех своих товарищей) и привязанности и совершить новый подвиг самоотвержения для блага той же молодежи, того же общества и той же дорогой нам всей России. Я решился раскрыть всю организацию и все мне известное и таким образом предупредить все то ужасное будущее, которое нам предстоит в виду целого ряда смертных казней и вообще репрессивных мер.

Решившись дать полные и обстоятельные показания по всем делам, в которых я обвиняюсь, я руковожусь не личными видами и не стремлюсь путем сознания достигнуть смягчения собственной участи. Я всегда был далек от личных интересов, находясь вне тюремных стен, и теперь я далек от эгоистических побуждений...

Во всяком случае, я твердо уверен, что правительство, оценив мои добрые желания, отнесется спокойно к тем, которые были моими сообщниками, и примет против них более целесообразные меры, чем смертные казни, влекущие за собой только одни неизгладимо тяжелые последствия для всей молодежи и общества. Я верю, что правительство исследует беспристрастно причины, вызвавшие революционное движение, и по возможности спокойно отнесется к виновникам печальных событий, в которых, однако, они шли под влиянием своих гражданских убеждений, а не под влиянием каких бы то ни было личных выгод.

Переходя к фактической стороне дела, я изложу сведения, относящиеся к тем преступлениям, в которых я принимал участие, причем для последовательности начну с убийства князя Кропоткина... »

С Петром Ивановичем Клеточников встречался только у Натальи Оловенниковой на Васильевском острове. Следующая встреча была назначена на воскресенье, а нынче был понедельник. До воскресенья ждать долго, а дело спешное. Как быть? Клеточников вспомнил, что в прошлый раз Петр Иванович говорил о том, что в понедельник собирается пойти к известному писателю Константину Семеновичу. Дом Константина Семеновича всегда был открыт для всех. По вечерам в гостиной толклись самые разные люди: литераторы, артисты, адвокаты, нигилисты, офицеры... Бывал там раньше и Николай Васильевич, но сейчас... запрет нарушать нельзя, это он понимал. Но, не видя другого выхода, все же отправился вечером к писателю. Как он и ожидал, народу в доме было очень много. Клеточников подошел к одной группе,

потом к другой, где был и Петр Иванович, не обративший на Клеточникова внимания, наконец, отошел в сторону и сел в кресло перед столиком, на котором были разбросаны шашки.

— Помилуйте,— роняя пенсне, возмущался пожилой господин.— Я все понимаю. Щедрин в форме сказок пишет сатиру на наши порядки и прочее. Но какое отношение это имеет к литературе?

— Не могу согласиться,— донесся голос Скурлатского.— По-моему, Михаил нашел прекрасную форму для того, чтобы говорить правду тем, кто ее не любит слушать.— (Пожилой господин вздрогнул и опять уронил пенсне).— Я и сам подумывал о чем-то подобном, впрочем, мы с Михаилом неоднократно обсуждали эту идею, и вот...

Что помешало Скурлатскому осуществить эту идею, Клеточников уже не расслышал, потому что его заслонил хозяин дома, прогуливающийся по зале с высоким, лысым, шишковатоголовым профессором медицины, который, как говорили, изобрел универсальное средство от рака и, как светило первой величины, был желанным гостем всех салонов. Профессор убеждал своего собеседника написать что-нибудь о врачах, потому что до сих пор о людях этой благороднейшей из профессий написано до обидного мало.

Подошла женщина с папирской и, сев напротив Клеточникова, пустила облако дыма прямо ему в лицо. Клеточников сморщил нос и закашлялся.

— Мне знакомо ваше лицо,— сказала дама.— Вы тоже литератор?

— Я? В некотором роде... То есть нет,— смешался Клеточников.

— Нет? — удивилась дама.— А кто же вы?

— Я, собственно говоря, никто. Просто пришел.

— Вы где-нибудь служите? — продолжала она настойчиво допытываться.

— Да, служу.

— И где же?

— В Третьем отделении, — неожиданно для самого себя выпалил Клеточников.

Дама подавилась дымом и уставилась на него с ужасом. Но потом, осмыслив сказанное, улыбнулась и кивнула головой:

— А вы остроумный человек. Хотя я таких шуток не понимаю.

Дама продолжала благожелательно разглядывать своего визави. Клеточников смущенно молчал и отводил глаза. Молчала и дама. Наконец подошел Петр Иванович, и Клеточников облегченно вздохнул. Петр Иванович поклонился даме и предложил Николаю Васильевичу сыграть в шашки.

— С удовольствием, — сказал Клеточников.

— Петр Иванович, — сказала дама. — Ваш знакомый говорит, что служит в Третьем отделении. Правда, остроумно? Ха-ха, — как-то ненатурально засмеялась она.

— Очень остроумно, — сказал Петр Иванович, двигая вперед угловую шашку. — Николай Васильевич вообще очень остроумный человек. Вам бить, Николай Васильевич, а то, пожалуй, возьму «за фук».

Первую партию Клеточников проиграл. Стали играть вторую.

— Я вам не мешаю? — спросила дама, наблюдая за игрой без всякого интереса.

— Мешаете, — сказал Петр Иванович.

— Извините. — Обиженно передернув плечами, дама отошла.

Выждав, пока она удалится на достаточное рас-

стояние, Петр Иванович сердито глянул на Клеточникова:

— Кто вам разрешил сюда приходить?

Клеточников сделал очередной ход и сказал вполголоса:

— Гольденберг дает показания.

Рука Петра Ивановича с поднятой шашкой вздрогнула.

— В-вы не ошибаетесь? — спросил Петр Иванович, он же Александр Дмитриевич Михайлов.

— Показывает все, что ему известно, — сказал Клеточников.

Глава четырнадцатая

В то время как Судейкин прослеживал путь подозреваемой в государственных преступлениях Филипповой-Фигнер, она продолжала жить в Одессе. Но уже не на Екатерининской, а на Ямской, и была она уже не Иваницкая, а Головлева Антонина Александровна.

Антонина Александровна вела пропаганду среди молодежи. Через здешнего писателя Ивана Ивановича Сведенцева она познакомилась с подполковником Пражского полка Михаилом Юльевичем Ашенбреннером. Очень скоро подполковник проявился вполне своим человеком. Впоследствии он станет одним из руководителей военной организации «Народной воли».

С рабочим Василием Меркуловым Вера познакомилась по рекомендации Николая Колодкевича. Меркулов часто приходил на Ямскую давать Вере уроки резьбы по камню.

— Не знаю, Вера Николаевна, зачем вы влезли в эту революцию, — говорил он, размеренно взмахивая

молотком.— Работа эта трудная, даже потруднее, чем резать камень, а вы к черному труду не привыкли, потому что вы — интеллигенция. Вам нужны удобства, если вас лишитъ всяких удобств, то вы тут же и забудете всю вашу революцію.

— Да почему же я забуду?

— А потому, что вам всякие лишения кажутся красивыми только издалека, а к настоящим трудностям вы не приспособлены. Вот сравните ваши руки и мои. Вы не успели взять резец, у вас уже водяшка на ладонях. А у меня мозоли вековые, и у отца моего были, и у деда. Нет, Вера Николаевна, если б от меня зависело, я бы интеллигенции запретил заниматься революцией. Потому что вы стоите за равенство, пока вас в это равенство не поставили, а как дойдет до дела, сразу от нас откажетесь. Революция нужна рабочим.

Если бы это говорил кто-нибудь другой, Вера наверняка бы обиделась. На Меркулова она не обижалась. «Он настоящий пролетарий,— думала она.— Всю жизнь прожил в нужде, всю жизнь его угнетали, и естественно, что он относится к таким, как я, с недоверием».

Она считала его честным и преданным делу человеком и поэтому однажды поручила ему поселиться на Софийской улице, напротив канцелярии статс-секретаря Папютина, бывшего правой рукой генерал-губернатора графа Тотлебена.

— Вам поручается,— сказала она,— узнать, как выглядит Папютин, выяснить, в какое время он приходит в канцелярию и в какое время уходит. Делает ли прогулку среди дня, и кто его охраняет.

Меркулов загорелся:

— Папютина надо убить?

— Там видно будет,— уклончиво сказала Вера.

Догадаться, зачем нужно следить за Панютиным, Меркулову было нетрудно. Вся Одесса говорила об этом человеке, достойном выученике Муравьева-вешателя. Это он возглавил в Одессе облаву на всех, кто хоть сколько-нибудь подозревался в антиправительственных настроениях. Пошли повальные аресты среди учителей, литераторов и студентов. Он устроил грандиозный «процесс 28-ми» и отправил на виселицу пять человек. Он отличался грубым отношением к арестованным и их родственникам. Это он закричал беременной жене одного арестанта: «Убирайтесь! Вы, пожалуй, вздумаете родить здесь!» В одном из номеров «Народной воли» были подробно описаны дела этого страшного человека. Вот почему было решено с ним покончить.

Николай Саблин появился в Одессе в конце марта или в начале апреля 1880 года. Следом за ним приехала Перовская.

— Панютина отставить! — передал он решение Исполнительного комитета, принятое после отъезда Фигнер. — Есть птица поважнее: двуглавый орел собирается спуститься на эту землю.

— Александр едет в Одессу? — спросила Вера.

— Да. Во всяком случае, есть такой слух, и, кажется, вполне достоверный.

Вера заволновалась. Какое радостное известие! Какая неожиданная удача! Наконец-то настоящее дело, главное дело! Конечно, жалко отступаться от Панютина. Уже все подготовлено. Но в конце концов черт с ним, с Панютиным! Не до него. Кто он такой по сравнению с Александром? Мелкая сошка.

Саблин был, как всегда, весел, беспечен, сыпал остротами и анекдотами, читал в большом количестве свои стихи, правда почти все незаконченные.

Стихи, конечно, были хорошие, Вера всегда вос-

хищалась талантом Саблина, но теперь хотелось слушать не стихи, а новости. Там, в Петербурге, происходит так много событий, о которых она знает только из газет и по слухам. Арест Квятковского, взрыв в Зимнем дворце, разгром типографии... С жадностью набросившись на Николая с расспросами, она чувствовала уже знакомое прежде волнение: только вот после таких неожиданных встреч с друзьями понимаешь, как стосковалась здесь, вдалеке от своих, как трудно быть одной, оторванной от них и от главного дела, когда все помыслы связаны только с ним. И, охваченная этим волнением, боясь пропустить слово, Вера слушала своего петербургского гостя...

Вслед за Саблиным и Перовской прибыли в Одессу Якимов и Григорий Исаев. Пригласили участвовать в деле и Меркулова. Два года спустя Меркулов станет предателем и даст подробные показания, которые будут изложены в обвинительном акте:

«...В начале 1880 года в гор. Одессе Меркулов при посредстве нераззысканной до настоящего времени Веры Филипповой, урожденной Фигнер, сошелся с ...Софьей Перовской и с обвиняемым по настоящему делу Львом Златопольским, а затем познакомился с Григорием Исаевым, известным ему в то время под именем «Григория», с проживавшей с ним под видом жены Анной Якимовой и с ... Николаем Саблиным. Весною того же года Перовская и Саблин под именем уманских мещан Петра и Марии Прохоровских наняли в доме № 47 по Итальянской улице лавку, в которой открыли торговлю бакалейным товаром. Из этой лавки при участии посещавших Саблина и Перовскую Меркулова, Исаева, Златопольского, Якимовой и Филипповой предположено было провести подкоп под полотно Итальянской улицы, с какою целью в своем помещении, где производилась

торговля, в левом углу за прилавком, в том месте, где ветхие половицы, зачищенные новыми досками, могли быть подняты без повреждения пола, была выкопана яма, из которой участники преступления намеревались с помощью бурава просверлить самый канал для мины. На этом, однако, и остановилось осуществление злодейского умысла, так как полученное известие о прибытии государя императора в Одессу через три дня заставило злоумышленников прекратить работы, которые не могли быть доведены до конца в столь короткое время. Вследствие этого вырытый уже вертикальный колодезь был засыпан, и затем, 24 мая, Прохоровские оставили нанятое ими помещение, отметившись выбывшими в гор. Полтаву...»

Итак, преждевременный приезд царя, новая неудача.

24 мая 1880 года Перовская и Саблин, закрыв свою лавочку, выбыли из Одессы. Следом за ними и в том же направлении отбыли Якимова и Исаев. В июле в Петербург отправилась и Вера. Отправилась, не дождавшись назначенного ей на смену Тригопи.

Михайлов, к которому Вера явилась, встретил ее весьма сдержанно.

— Стало быть, приехали? — сказал он язвительно. — Очень хорошо, поздравляю от всей души. И что же вы здесь собираетесь делать?

— Что прикажет комитет, — скромно сказала Вера.

— А что вам комитет? — пожал плечами Дворник. — Когда вы уезжали из Одессы, вы не спрашивали мнение комитета и не стали дожидаться Тригопи.

— Дворник, милый, — Вера приложила руку к груди, — поймите, я там не могла больше оставаться ни секунды. Почти целый год я была оторвана от

всех вас, совсем одна, не знала, что происходит. Это трудно.

— Ах, в-вам трудно! — возмутился Михайлов. — Тогда извините. У нас институт б-благородных девиц временно з-закрит. На ремонт.

— Дворник! — Она нетерпеливо топнула ногой. — Как вам не стыдно?

Михайлов посмотрел на нее с любопытством.

— Значит, не зря вас зовут Топни-Ножка, — улыбнулся он. — Эх, Верочка, милая, ч-черт знает что происходит, ни с кем нет никакого с-сладу. Один не хочет п-печати вырезать, потому что считает себя для этого слишком значительной фигурой, другая не хочет сидеть в Одессе, потому что ей трудно. Я на эти вещи смотрю иначе. П-поручит мне организация ч-чашки мыть — буду мыть чашки. И с таким удовольствием, как будто это самый интересный, т-тщательский труд.

Глава пятнадцатая

Теплый осенний вечер. По узким кронштадтским улочкам идут Фигнер и Желябов. Андрей идет уверенно, видно, что не первый раз здесь.

— Сейчас ты его увидишь, — говорит Андрей. — Держи себя в руках, чтобы не влюбиться с первого раза. Соня моя влюбилась. Я, конечно, ревную, но понимаю. Я и сам влюбился. Прекрасной души человек.

— Андрей, — улыбается Вера, — ты не замечаешь, что у тебя все люди прекрасные, замечательно и удивительные?

— Они такие и есть, — уверенно говорит Андрей. — Во всяком случае, те, кто с нами, все замеча-

тельные. Сама увидишь. Взять хотя бы того же Штромберга. Из ваших, из дворян. Барон. А уже сейчас готов на все. С Сухановым как раз труднее. Жизнь свою положить согласен, а вот террором заниматься не хочет. Хотя и колеблется. Употребил все свои женские чары. Он стоит того. — Желябов помолчал, улыбнулся. — Помню первую сходку. Заранее договорились, что в воскресенье Суханов соберет у себя несколько офицеров. Приходим с Колодкевичем. В гостиной десятка два морских офицеров. Я отзываю Суханова, спрашиваю: «По какому принципу вы собрали гостей?» — «По принципу порядочности. Не знаю, получатся ли из них революционеры, но, что не донесут, ручаюсь». — «И за это спасибо. Посторонних ушей не будет?» — «Нет.» В этой комнате две капитальные стены, две другие выходят в комнату вестового. Он татарин, по-русски не понимает.» Хорошо. Офицеры посматривают на нас настороженно, но с любопытством. Орывочные разговорчики, остроты, смешки, общая неловкость. Видно, думают, что сейчас мы вроде чернопередельцев начнем с ними что-то туманное о пользе народной. Ну, ладно, думаю, сейчас я вам покажу, кто мы такие. Подмигиваю Колодкевичу, киваю Суханову, тот встает: «Вот, господа, позвольте вам представить моих товарищей Бориса и Глеба. Они хотят с вами поговорить. Я думаю, что, если даже разговор наш ни к чему не приведет, он будет полезным. Борис, начинай». Встаю я и сразу беру быка за рога: «Так как Николай Евгеньевич передал мне, что вы интересуетесь программой и деятельностью нашей партии, борющейся с правительством, то я постараюсь вас познакомить и с тою и с другой. Мы, террористы-революционеры, ставим своей целью...» Смотрю, мои слушатели сразу оторопели. Некоторые уже поглядывают на дверь, как бы по-

скорее смыться. А я жму дальше: «Мы боремся с существующим строем, мы верим в неизбежность революции. Если вы, отбросив предубеждения, посмотрите правде в глаза, вы увидите, что наши требования честны и справедливы. Вы увидите, что средства, которые мы употребляем в нашей борьбе, единственно возможные». Вижу, мои слушатели загораются. И вот уже дошли до такого состояния, что, позвонив им, немедленно с оружием в руках выйдут на улицу. На другой день некоторые поостыли. Суханов мне говорил, один к нему прибежал, трясется от страха: «Я у тебя не был, ничего не видел, ничего не слышал, и больше меня на такие встречи не зови». Но другие, Верочка, уже почти все наши. Вот только террором не хотят заниматься. Призвать матросов к восстанию — пожалуйста. Встать на баррикады — с удовольствием. Но террор — фи, какая бяка! Так вот, Верочка, тебе надо закончить начатое. Мне от этого дела придется пока устраниваться.

Подойдя к одному из подъездов, Желябов оглянулся, нет ли «хвоста», и пропустил Веру вперед: — Проходи.

В неуютной передней маленький, с воспаленными красными глазами матросик чистил пуговицы на офицерской шинели.

— Здравствуй, брат, — сказал Желябов. — Барин дома?

Матросик поднял голову, без удивления посмотрел на гостей и молча кивнул головой.

Вера прошла вслед за Андреем во вторую комнату, где жил сам хозяин. За столом сидели несколько морских офицеров. Аппетитно пыхтел самовар. Хозяин дома, высокий моряк с усиками, с большими, несколько навывкате глазами, поднялся навстречу гостям.

— Все свои? — поздоровавшись, огляделся Желябов.

— Все свои, — подтвердил хозяин квартиры.

— В таком случае, позвольте представить. Елена Ивановна. Поскольку я вынужден заняться другими делами, связь между вами и Исполнительным комитетом будет осуществлять она.

— Ну, если Исполнительный комитет располагает и такими силами, — улыбнулся хозяин квартиры, — то тогда...

— Вот, собственно говоря, наш кружок. Эспер Александрович Серебряков, Александр Павлович Штромберг...

Беседа поначалу не клеилась. Но потом разговорились.

— Скажите, — волнуясь, спросил Веру розовощекий молодой офицер. — А вы сами участвуете в террористических актах?

Вера растерялась, посмотрела на Желябова. Тот улыбнулся и незаметно подмигнул ей. Этим он давал понять, что его дело сторона, выкручивайся, мол, как знаешь.

— Может быть, я не должна вам этого говорить, — начала она, — но оставить ваш вопрос без ответа тоже не могу. Отвечу вам так: я никогда не стала бы призывать других к тому, в чем не участвовала бы сама.

Желябов засмеялся.

— Видали, какие у нас женщины? — весело спросил он сидевших в комнате. — То-то же. Ну, — он подлился, — я вижу, почва для разговора найдена, мне здесь больше делать нечего.

Желябов ушел. Вера осталась.

С тех пор встречи с офицерами происходили регулярно. Здесь, в Кронштадте, а потом в петербургской квартире Суханова, на Николаевской улице.

Офицеры стали ее любимыми товарищами. Энергичный и стремительный Суханов, немногословный, хрупкий телом, но твердый характером барон Штромберг, силач и красавец Рогачев, умный Буцевич, рассудительный и мягкий Похитонов, деятельный и настойчивый в достижении целей Дегаев. За чашкой чая, за бутылкой вина изо дня в день велись разговоры о том о сем, но все били в одну точку.

Ах, господа, вы не хотите заниматься террором, вы хотите честной открытой борьбы? Но вы хорошо знаете, что честная открытая борьба с правительством, у которого армия и полиция, невозможна. Так не являются ли ваши слова просто красивыми фразами? Не желаете ли вы просто уклониться и говорите о пути, который заранее невозможен? И это в то время, когда наши товарищи гибнут на виселицах и в тюрьмах. Кстати, сейчас — вам, полагаю, известно — Петербургский военно-окружной суд рассматривает «дело 16-ти», и некоторым из них грозит виселица.

Капля камень точит. И вот из кронштадтских моряков и петербургских артиллеристов создана военная организация, поставившая себя в подчинение Исполнительному комитету. Николай Евгеньевич Суханов из противника террора становится его страстным защитником. И когда при обсуждении устава военного кружка кто-то из офицеров поинтересовался, каковы будут их права и обязанности, Суханов ответил:

— Бомба — вот ваше право! Бомба — вот ваша обязанность!

«Дело 16-ти» слушалось в Петербургском военно-окружном суде с 25 по 30 октября 1880 года. Как Вера и предполагала, нескольким подсудимым был

вынесен смертный приговор. Впрочем, некоторым из них была оказана монаршья «милость»: смертную казнь заменили каторгой без срока. Но по отношению к двоим — Александру Квятковскому и Андрею Преснякову — приговор был оставлен без изменения. Проходившая по этому процессу Евгения Фигнер отделалась сравнительно легкой карой — ссылкой на поселение. «Я смеюсь,— писала она Вере после приговора,— что мы идем крещендо: Лида — на житье, я — на поселение, а мисс Джек-Блек угодит на каторгу, но да сохранит ее бог подольше от такой напасти — слишком тяжело расставаться с волей...»

Тяжело расставаться с волей. Но расставаться с жизнью еще тяжелее. 4 ноября были повешены Александр Квятковский и Андрей Пресняков. Их казнь повлекла за собой гибель Александра Михайлова. Михайлов, желая сохранить для потомков образы погибших товарищей, отнес в фотографию на Невском их карточки для переснятия. Придя в следующий раз за готовыми снимками, Михайлов попал в засаду и был арестован. Это случилось 28 ноября 1880 года.

Глава шестнадцатая

8 февраля 1881 года Вера Фигнер, а по паспорту Кохановская, быстрым шагом шла к себе на квартиру у Вознесенского моста, где жила теперь вместе с Григорием Исаевым. Холодно. Ветер швыряет в лицо охапки колючего снега. Веру пробирает насквозь, она бежит, воротником заслоняя лицо. А настроение хорошее. Ничего не скажешь, славно позабавились! Может, это и легкомысленно. Дворник наверняка был бы против. Но Дворника нет, а Андрей — человек

горячий, не может терпеть, когда вокруг ничего не происходит. «Студенты слишком пассивны, надо их как-то расшевелить». И расшевелили. Собрались в актовом зале университета четыре тысячи человек и — пошло-поехало. Профессор Александр Дмитриевич Градовский зачитал отчет университетского начальства, составленный из сплошных обещаний: студенты правы, им нужно дать больше свободы; система обучения нуждается в серьезном пересмотре; все это будет, но надо выждать, надо проявить благоразумие. И тогда-то появился этот студент на хорах:

— Господа! Из отчета ясно: единодушные требования всех университетов оставлены без внимания. Нас выслушали для того, чтобы посмеяться над нами!

Шум, гам, крики:

— Долой!

— Тише!

— Дайте послушать!

— Нечего слушать! Заткните ему глотку! — визжал рядом с Верой какой-то благонамеренный студент.

— Что он кричит? — Вера повернулась к стоявшему тут же Суханову.

— Бог его знает. — Суханов протиснулся к студенту. — Послушайте, господин хороший, вы что, служите в Третьем отделении?

Тот, увидев перед собой импозантного офицера, растерялся:

— Нет. А с чего вы это взяли?

— По манерам видно, — отрезал Суханов. — И вы лжете, что вы там не служите.

Благонамеренный попятился и скрылся в толпе.

А с хоров неслоь:

— ...Вместе с насильем нас хотят подавить хитростью. Но мы понимаем лживую политику прави-

тельства, ему не удастся остановить движение русской мысли обманом!..

Дальше пошла полная неразбериха. На сцене появляется сам Сабуров — министр просвещения.

— Господа, зачем же так волноваться?

— Долой!

— Вы же воспитанные люди!

— К черту!

Какой-то студент подбегает к министру и дает ему такую оплеуху, что ее слышно, несмотря на шум, всему залу. Щека министра багровеет. На мгновение зал стихает. Из толпы возникает лицо Желябова:

— Быстро расходимся по одному,— кидает он, проталкиваясь к выходу.

Вера спешит. До дома уже недалеко. А там жаркий камин (уж Исаев наверняка позаботился). Хорошо сесть к огню, вытянуть ноги...

Навстречу идет господин. Дорогая енотовая шуба, трость... Какая знакомая походка. Боже мой, неужели?

— Вера! — господин кидается к ней.

Нет, нет, они незнакомы. Вера спешит дальше. Господин — за ней. Вера ускоряет шаг, он тоже. Тяжело ему небось в енотовой шубе.

— Вера, ну остановись, ну я тебя прошу. Хоть на минутку. Ведь это же ты.

Вся нелепость положения в том, что признаваться вроде бы нельзя, а не признаться глупо. Она замедляет шаг.

— Допустим, я. Ну и что?

— Ничего.— Господин в шубе торонится все высказать.— Я просто очень рад. Я был уверен, что обязательно тебя где-нибудь встречу. И вот... Ты очень спешешь?

— Очень. — Но в голосе ее уже сквозит неуверенность. Все-таки господин в енотовой шубе ей не совсем чужой, в некотором роде родственник, хоть и бывший. А он уже уловил ее неуверенность.

— Да зайдем хоть на минутку в какой-нибудь трактирчик, чайку попьем, согреемся...

— Ну что ж, — решается она. — Зайдем.

В трактире Алексей Викторович спросил отдельную комнату, велел подать чаю, вина, конфет и китайских орешков.

— Ты их когда-то любила, — улыбнулся он Вере.

— Разве? — Она такого не помнила.

Сидели не раздеваясь. Алексей Викторович предложил ей снять пальто, она отказалась. Надо согреться.

— Здесь жарко, — сказал он.

— Ничего. Пар костей не ломит. — Пальтишко на ней неважное, под ним платье из сатина — уж лучше не раздеваться.

— Как угодно, — согласился Алексей Викторович.

Он шубу тоже снимать не стал, только расстегнул верхние пуговицы, а шапку положил на свободный стул.

— О чем же мы говорили? Да. Так вот. Думаю перебраться в Петербург. Казань, конечно, город большой, но все же провинция. А тут мне обещали место в министерстве юстиции. Кроме того, девочек пора учить. Да, я тебе не сказал, что женился. Со своей женой я еще до тебя был знаком. Впрочем, ты ее, может быть, помнишь, Лиза, дочка Ивана Пантелеевича.

— Как же, — усмехнулась Вера.

— Лиза — верная жена и преданный друг. — Алексей Викторович сделал вид, что не заметил иронической усмешки. — У нее жизнь тоже... — Он

поморщился, подумав, что, наверное, зря сказал слово «тоже»...— сложились не совсем удачно. Вышла замуж за офицера, он погиб во время турецкой кампании, осталась с дочкой... Мы снова встретились. Теперь у нас есть общая дочка. Вот...— Он вынул из бумажника фотографию и протянул Вере.

На карточке были изображены Алексей Викторович, две девочки и полная дама в мехах. Эта расплывшаяся дама мало напоминала ту затянутую девицу, которую Вера видела на балу в Казани.

— Между прочим, дочку я назвал Верой,— сказал Алексей Викторович, пряча карточку.

— И Лизи,— Вера нарочно произнесла это имя на английский манер,— не была против?

— Нет,— сказал Алексей Викторович.— Она все понимает.

В комнате было жарко натоплено, и клонило в сон. Алексей Викторович говорил тихим печальным голосом.

Маленькой Верочке нет еще четырех годиков, но она очень способная, уже сейчас довольно бойко говорит по-английски и играет на фортепьяно.

Да, в казанском высшем свете теперь его зовут англоманом, забавно, но он не против. Живет он неплохо. И жалованье, и доход с двух имений (кстати, Иван Пантелеевич умер в прошлом году), но начальство затирает. До сих пор не могут забыть дело Анощенко. В провинции такие вещи долго не забывают. Вот и еще одна причина, по которой ему хочется перебраться в Петербург.

Вера смотрела на него и думала: «Неужели этот маленький робкий чиновник был когда-то моим мужем, с которым мы говорили о Писареве и Чернышевском, с которым мечтали поселиться в деревне и устроить бесплатную больницу для бедных? Дорогая

шуба, перстень с изумрудом, лицо сытое, но до чего же он при всем этом жалок! Куда делись все те возвышенные представления о жизни и благородные намерения, которые были — ведь были! — в молодом человеке». И ей было жалко до слез, что этот человек сам, своими руками погубил все лучшее, что в нем когда-то было.

Алексей Викторович рассказывал, а сам все поглядывал на Веру. Боже мой, как она плохо одета! Ботики худые (должно быть, промокают), пальтишко потертое, холодное. И все это ради каких-то несбыточных фантазий. А ведь могла бы жить в полном достатке, иметь свою семью, детей, бывать в свете.

— Кстати, я не спрашиваю, чем ты занимаешься, это дело твое. Но меня вызывали в жандармское управление, приезжал из Петербурга некий господин Судейкин, интересовался, не знаю ли я чего-нибудь о твоём местопребывании.

— И что же ты ему ответил? — спросила Вера.

— Я ответил, не знаю, что и соответствовало действительности. Впрочем, если б я знал...

— Не донес бы, — сказала Вера.

Алексей Викторович побагровел.

— Вера, — упрекнул он, — как тебе не стыдно?

Теперь покраснела Вера:

— Извини. Я неудачно пошутила. Однако мне пора.

— Вера, — сказал Алексей Викторович волнуясь. — Я понимаю, что я для тебя чужой человек, но все же... то, что между нами было, обязывает меня... короче говоря, если ты в чем-нибудь нуждаешься... в жизни все может быть... я, будучи обеспечен...

— Ты хочешь предложить мне денег? — улыбнулась она. — Спасибо, Алеша, я ни в чем не нуждаюсь.

Спустились вниз. Алексей Викторович расплатился.

— Ну вот и повидались,— сказала Вера на улице.

— Неужели мы больше никогда не увидимся? — спросил он.

— Вряд ли,— сказала она.— Впрочем, ты где остановился?

— На Малой Садовой, дом Менгдена.

Она вздрогнула и переспросила:

— Где?

— В доме Менгдена,— повторил он.— А что? Ты знаешь этот дом?

В доме Менгдена, в доме Менгдена... Если произойдет то, что задумано... Сказать ему, чтобы он отсюда съехал? Но это наведет его на разные ненужные размышления... Но если с ним что-то случится, сможет ли она себе простить?.. И все же нет, она не может рисковать делом. Она не падит ради этого дела себя, не имеет права падить и других.

— Нет, не знаю,— сказала она.— Прощай, Алеша.

И без лишних церемоний повернулась, пошла не оглядываясь своей торопливой походкой. А господин в енотовой шубе стоял, глядя ей вслед, и вспоминался ему чужой город, маленькая группка воздушных созданий, которые шли, распевая тонкими голосами: «Вперед без страха и сомненья...»

Глава семнадцатая

7 января 1881 года на Малой Садовой улице в подвальном помещении дома графа Менгдена крестьянин Евдоким Кобозев вместе со своей женой открыл магазин по продаже сыров.

Евдоким Кобозев оформил аренду помещения по всем правилам и выложил управляющему домом тысячу двести рублей наличными — плату за год вперед.

И никто не замечал, что не все покупатели, входящие в лавку, выходят обратно. Некоторые оставались здесь на ночь. Их проводили в комнаты, где жили торговцев сырами и его жена. В одной из этих комнат стена, выходящая на улицу, была заделана от пола до окна досками и оклеена обоями, как будто от сырости. Но эта обшивка легко сдвигалась: она скрывала широкое отверстие в цементированной стене. Этим отверстием начинался подкоп под Малую Садовую улицу.

Впоследствии выяснилось, что под фамилией Кобозевых торговлей сырами занимались активнейшие члены Исполнительного комитета Юрий Николаевич Богданович и Анна Васильевна Якимова. Работали в подконе Желябов, Суханов, Исаев, Саблин, Ланганс, Фроленко, Дегаев, Трыгони, Меркулов, Баранников и Колодкевич.

Много труда пришлось затратить на то, чтобы без особого шума пробить стену. Потом дело пошло быстрее, пока не наткнулись на водопроводную трубу. Обойдя ее, наткнулись на другую трубу, водосточную. Эта труба была деревянная, сечением аршин на аршин. Возникла серьезная проблема. Обойти трубу сверху — может провалиться мостовая, а вместе с ней и все предприятие. Обходить снизу тоже опасно, можно докопаться до подпочвенных вод, которые все затопят. В конце концов выяснили, что труба заполнена наполовину, в верхней части сделали вырез и двинулись дальше. После этого в подконе распространилось такое благоухание, что даже в респираторах из ваты, пропитанной марганцем, можно было рабо-

тать только в течение очень короткого времени без риска потерять сознание.

Одновременно в подкопе работали по два человека. Вынутую землю в одной комнате сыпали на пол, закрывая соломой, рогожей и коксом для топки печей, в другой комнате складывали в пустые бочки из-под сыра. Работа велась каждую ночь и была закончена в двадцатых числах февраля.

План был такой: во время одного из воскресных проездов царя в Михайловский манеж взорвать под его каретой мину сильного действия. Если взрыв не даст желаемых результатов, в дело вступают Николай Рысаков, Тимофей Михайлов, Игнатий Гриневецкий и Иван Емельянов с метательными снарядами. На случай и этой неудачи оставался Желябов с кинжалом.

Первоначально террористы планировали осуществить покушение в воскресенье 15 февраля.

15 февраля карета императора, окруженная шестью конными жандармами, благополучно проехала по Малой Садовой — подкоп был готов, но мину заложить не успели.

И тогда Исполнительный комитет назначил новую дату — первое марта.

Вера и Григорий Исаев под именем супругов Кохановских держали квартиру у Вознесенского моста. Она состояла из трех холодных и неуютных комнат, но имела два выхода и еще была удобна тем, что во дворе была баня, ввиду чего частое появление во дворе незнакомых людей не вызывало у дворника подозрений.

284 Квартира была снята для нужд Исполнительного комитета и была известна только его членам.

28 февраля, когда кроме хозяев в квартире были еще несколько членов комитета, явилась Перовская и сказала, что вчера Желябов ушел к Тригони, снимавшему комнату на Невском у госпожи Миссюра, и ночевать не вернулся.

В тот же день Суханов принес известие, что Желябов и Тригони арестованы.

Не успели опомниться от этой новости, пришел Богданович и сказал, что только что у него в магазине сыров был произведен «технический осмотр» помещения.

Осмотр производили техник, участковый пристав, околоточный надзиратель и дворник. Видимо, у полиции не было оснований для серьезных подозрений, и поэтому осмотр был поверхностным. Однако техник попался дотошный и, осмотрев магазин, попросил показать ему и жилые комнаты. Подойдя к одному из окон, он облокотился на деревянную обшивку, а потом сильно дернул ее рукой. Обшивка не сдвинулась с места, а сердце хозяина магазина сжалось и провалилось куда-то вниз.

— Зачем эта обшивка? — поинтересовался техник.

— От сырости, — равнодушно ответил Богданович.

Ответ удовлетворил техника, но он все еще сомневался, крутил головой, потом обратил внимание на мокрое пятно под одной из стоящих у входа бочек. В этих бочках хранилась земля из подкопа.

— И здесь тоже сырость? — спросил он, подойдя к бочке.

— Сметану на масляной пролили, — не моргнув глазом, ответил хозяин.

Прошли в другую комнату. Там тоже была земля, выпутая из подкопа, но не в бочках. Здесь она

была просто свалена в углу и кое-как прикрыта.

И все-таки обошлось.

Теперь Богданович был даже доволен:

— Они убедились, что в лавке ничего нет, и в ближайшее время нас трогать не будут.

Остальные не разделяли его оптимизма. Обыски и аресты показывали, что полиция идет почти по пятам. Перовская сказала:

— Наше дело висит на волоске. Если мы протянем еще неделю, все может сорваться. Надо торопиться. Завтра воскресенье, и царь может проехать по Малой Садовой. Завтра все должно быть исполнено. Гриша, — она повернулась к Исаеву, — можешь ты заложить мину до завтрашнего утра?

— Я постараюсь, — спокойно сказал Исаев.

— Постарайся. А что делать с бомбами? Они ведь тоже не готовы.

— Заниматься и минами и бомбами я не смогу, — сказал Исаев. — Пусть это делают Грач и Кибальчич.

— Я тоже могу помочь, — сказал Суханов, — хотя не знаю, стоит ли этим заниматься в такой спешке. Мы даже не сможем эти бомбы проверить.

— У нас нет другого выхода, — сказала Перовская. — Обязательно завтра. Мины, бомбы или только одни бомбы, но завтра все должно быть кончено. Кроме того, мне нужна чья-нибудь помощь, чтобы очистить нашу с Андреем квартиру.

— Я помогу, — снова вызвался Суханов. — Вы идите к себе, а я возьму кого-нибудь из наших офицеров, и мы все сделаем.

После этого стали расходиться. Исаев ушел закладывать мину, Перовская пошла к себе, Суханов — за помощниками.

Через два часа в квартиру у Вознесенского моста вернулись Суханов и Грачевский, а с ними Кибальчич. Потом пришла Перовская. Она была такая усталая, что едва держалась на ногах.

— Сонечка,— сказала Вера, с жалостью глядя на нее,— ты совершенно измучена. Ляг посни.

— Нет,— сказала Перовская,— я буду помогать.

— Справимся и без вас,— сказал всегда невозмутимый Кибальчич.

Она все же рвалась помогать, но ее кое-как уговорили, она ушла в соседнюю комнату, прилегла на кушетку.

Остались вчетвером. Вера то помогала Кибальчичу отливать грузы, то вместе с Сухановым обрезала жестяные банки из-под керосина, которые должны были служить оболочкой для бомб. Работа продолжалась всю ночь. Горели лампы и жарко пылал камин.

К двум часам ночи Вера тоже пошла отдыхать, так как ее помощь была уже не пужна.

Женщин разбудили в восемь утра. Два снаряда были готовы, Перовская сложила их в сумку и пошла к Сабляну и Гесе Гельфман на Тележную улицу. Следом за ней ушел Суханов. Через час были наготове динамитом и две остальные жестянки. Их вынес Кибальчич.

В квартире был полный разгром. На полу валялись обрывки бумаги, жестяные обрезки и много прочего хлама. Все это следовало убрать до прихода прислуги или дворника с дровами, но сил не было. Вера погасила свет, подошла к окну и раздвинула шторы.

О чем думала она сейчас, на заре нового дня? Надеялась ли на успех? Собирала ли в себе силы накануне решительного дня? Подводила ли итоги? За окном было уже светло — наступило утро первого марта.

Глава всемнидцатая

За окнами Зимнего густо шел сырой снег, и невзрачные сумерки тянулись до бесконечности, словно день не мог оторваться от ночи. От такой погоды клонило ко сну. В кабинете императора было светло. Хозяин кабинета сидел у камина в кожаном кресле и думал о том, что он уже стар, что ему хочется отдохнуть, но он вынужден изо дня в день, без праздников и выходных, принимать бесчисленное множество лиц, присутствовать на приемах, выслушивать доклады министров и пропускать через свои руки нескончаемый поток бумаг, прикладывая к ним высочайшее: «Так!», «Согласен», «И я». Все это мог бы проделывать чиновник средней руки или даже какая-нибудь механическая кукла, однако сложившийся порядок был таков, что на всякую малость нужна была резолюция верховного управителя.

В камине весело трещали березовые чурки, было приятно сидеть, ощущая жар на щеках и на полуприкрытых набрякших веках.

Камердинер просунул голову в дверь сообщить, что явился с докладом министр внутренних дел граф Лорис-Меликов.

Государь выслушал сообщение, приоткрыв один глаз, и едва заметно наклонил голову:

— Зови!

Вошел Лорис-Меликов в эполетах и аксельбантах.

— Возьми, граф, кресло, сядь погрейся. На улице холодно?

— Не холодно, противно,— живо отозвался граф, с грохотом двигая по паркету тяжелое кресло.— Дрянная погода, ваше величество.

288 Он поставил кресло сначала далеко от государя,



потом, подумав, придвинул ближе. Расстояние должно было быть достаточно почтительным, но не настолько, чтобы государю в разговоре приходилось нагибать голову.

— Есть новости? — спросил Александр, выдержав паузу.

— Есть, государь, и хорошие.

— Ну?

— Арестован Желябов.

Пытаясь вызвать в памяти названную фамилию, император покосился на собеседника:

— Из интеллигентов?

— Называет себя агентом Исполнительного комитета, на самом же деле, по имеющимся данным, один из главнейших заправил, если вообще не главнейший. Арестован под фамилией Слатвинского, опознан прокурором Добржинским, знавшим его еще по «процессу 193-х». Сообщники, из тех, кто давал показания, отзываются о нем высоко. В частности, Гольденберг в свое время характеризовал его как личность чуть ли не гениальную.

— Пушкина не читал, — буркнул Александр.

— Не понял, ваше величество, — поднял брови Михаил Тариелович.

— Я говорю, что кабы твой Гольденберг читал Пушкина, то знал бы, что гений и злодейство несовместны.

— Ах, в этом смысле, — Лорис засмеялся. — Это верно. Между прочим, вместе с Желябовым арестован еще некий Тригони, судя по всему, тоже из главварей. Таким образом, если прибавить их к ранее арестованным Михайлову и Баранникову, смело можно сказать, что так называемый Исполнительный комитет, по существу, обезглавлен и в настоящее время прежней опасности не представляет.

Государь посмотрел на него недоверчиво:

— Твоими бы устами, Михаил Тариелович... А что с этим... как его... который проник в Третье отделение?

— Клеточников? Дает показания. Говорит, что... — Михаил Тариелович загнулся и посмотрел на государя, как бы колеблясь, продолжать дальше или не продолжать.

— Ну! — требовательно сказал Александр.

— Говорит, ваше величество, что таких прохвостов, как в Третьем отделении, никогда не встречал. Они, мол, готовы за деньги продать родного отца и на кого угодно могут напести любые небылицы, лишь бы получить награду.

Александр поморщился.

— Самое ужасное, — сказал он, помолчав, — что так оно и есть.

— Но вы, ваше величество, упразднили Третье отделение, — напомнил Лорис.

— Не упразднил, а сменил вывеску. По твоей подсказке. Но от этого суть не меняется. Тайная полиция всегда была, есть и будет учреждением безнравственным. К сожалению, одними нравственными мерами государство держаться не может. И с этим ничего не поделаешь. Но меня сейчас интересует вот что. Из всего, тобою сказанного, следует ли, что теперь я могу чувствовать себя в безопасности? — Он внимательно посмотрел на собеседника.

Лорис-Меликов взгляда не отвел.

— Государь, — сказал он твердо. — Для вашей безопасности сделано все, что в человеческих силах.

— Ну-ну. — Александр недоверчиво усмехнулся. — Для моей безопасности всегда делалось все, однако трижды в меня стреляли из револьвера и дважды пытались подорвать динамитом... Нынче в Михай-

ловском манеже развод, так княгиня Юрьевская¹ закликает не ехать, поостеречься. Вот до чего дошло! Император в своей столице не может чувствовать себя в безопасности. Этот Клеточников прав. Третье отделение, пожалуй, и меня за деньги продаст террористам. Ну да хватит об этом. Там,— он кивнул в сторону стола,— твой проект Общей комиссии. Я его подписал. Насчет выборов от губерний много непонятного, но надеюсь, что это не будут *Etats généraux*².

— Ваше величество,— поднялся Лорис,— мне известно, что некоторые мои недоброжелатели впускают вам мысль, будто я, пользуясь вашим всемирнолюбившим ко мне расположением, пытаюсь протолкнуть конституцию...

— Среди некоторых,— с улыбкой перебил Александр,— и мой дядюшка германский император Вильгельм. В последнем письме он умоляет меня не давать России конституции, а если я в своих реформах зашел слишком далеко, то, по крайности, не разрешать будущим палатам обсуждать бюджет, международные вопросы и участвовать в личном выборе министров. Я ответил ему: *De mon vivant ça n'aura jamais lieu!*³ Ты согласен со мной?

— Ваше величество,— сказал Лорис, стоя в почтительной позе.— Предлагаемые меры к тому и направлены, чтобы парализовать стремление известной, хотя и незначительной, части общества к конституционному правлению.

— Это я уже слышал,— наклонил голову государь.— Возьми на столе свой проект, четвертого числа обсудим на Государственном совете, а там и в печать. Ступай.

¹ Морганатическая жена императора.

² Генеральные штаты (*франц.*).

³ При моей жизни этого никогда не будет! (*франц.*)

Михаил Тариелович взял со стола толстую пачку исписанной бумаги, несколько листков, заключавших в себе то, к чему «диктатор сердца» стремился последнее время.

К дверям он шел сперва прямо, потом боком, потом спиной, так что лицо его было все время обращено к императору. Не глядя на него, возможно, даже забыв про него, государь стал подбрасывать в камин мелкие чурки березовых дров, чтобы поддержать затихавший огонь.

«Господи! — горячо подумал Михаил Тариелович. — Сохрани его для России!»

Около десяти утра у Веры в квартире у Вознесенского моста, как было условлено, появился Фроленко, запорошенный снегом. В руках он держал что-то завернутое в газету. Перехватив Верин вопросительный взгляд, он сказал:

— Это не бомба.

Положил сверток на старый скрипучий стул, снял шапку и стал бить ее об колепо, стряхивая снег. Затем шапкой обмахнул пальто, повесил то и другое на вешалку и только после этого спросил:

— Все в порядке?

— Да.

— Сколько?

— Четыре.

Четыре бомбы было сделано сегодня за ночь. Два часа назад последние две были унесены на Тележную улицу.

— Не густо. — Фроленко взял сверток, прошел с ним в гостиную. Вера проверила задвижку и постояла, приложившись ухом к двери. На лестнице было тихо. Войдя в гостиную, она увидела Фроленко за

столом. Перед ним была бутылка вина, французская булка и колбаса, которую он резал ножом.

— Что вы собираетесь делать? — спросила Вера почти с ужасом.

— Я еще не завтракал, — спокойно ответил он. — У вас найдется какая-нибудь посуда для вина?

Она ушла на кухню, достала тонкий стакан. Сегодня, если все пройдет, как намечено, через два часа Фроленко замкнет провода, соединяющие гальванические батареи с динамитом, заложенным под Малой Садовой. При этом сам Фроленко, вероятнее всего, погибнет под обломками магазина сыров.

Она вернулась в комнату и поставила стакан перед гостем.

— А себе? — спросил он.

Она покачала головой и спросила, не выдержав:

— Неужели вы сейчас можете есть?

— Пока жив, могу. — Он наполнил стакан вином. Оно было темно-красного цвета. Фроленко посмотрел на Веру и сказал, как бы оправдываясь: — Сегодня трудный день, и я должен быть в полном обладании сил.

Вера смотрела на него, и глаза ее наполнялись слезами. «Какое мужество! Какое самообладание! Даже в такую минуту он думает только о деле».

Отхлебнув вина, Фроленко отломил кусок булки, положил на нее колбасу и стал медленно жевать. Снова посмотрел на Веру и усмехнулся: — Сейчас шел к вам, возле Аничкова моста привязалась цыганка: «Золотой, дай погадаю». Смеха ради протянул ей руку. Дальняя дорога, казенный дом, насчет Малой Садовой ни слова. «Ну ладно, — говорю, — а вот скажи-ка мне, долго ли проживу?» Посмотрела на ладонь внимательно. «Точно, — говорит, — не скажу, золотой, но доживешь до глубокой старости». —

Фроленко улыбнулся.— Добрая душа. За пятиалтынный обещает долгую жизнь. А осталось из того, что она обещала...— он достал из кармана часы, откинул крышку.— Часа два, а может, и того меньше.

— Вы в этом уверены?

— Во всяком случае, я надеюсь на это.— Отодвинув край занавески, он посмотрел за окно.— Народ в баню валит. Завидно. Я бы сейчас тоже попарился.

Задвинув штору, он доел колбасу, смахнул в ладонь крошки, посмотрел, куда высыпать.

Вера все смотрела на него, и сердце ее сжималось от боли.

— Бросьте на пол,— сказала Вера,— я уберу.

— Зачем же оставлять после себя мусор?— Он пошел на кухню, потом в прихожую, надел пальто с вытертым бобровым воротником и, остановившись перед дверью, мял в руках рыжую шапку. И вдруг широко шагнул к ней:

— Ну, Верочка, не помпайте лихом.

Уткнувшись носом в его широкую грудь, она не выдержала и разрыдалась. Вот уходит еще один. Она провожала многих на опасные дела, но провожать прямо на смерть не приходилось еще никому.

— Ну-ну,— гладил Фроленко ее вздрагивающие плечи,— это уж совсем, Верочка, лишнее. А впрочем, почему бы вам и не поплакать. Ведь вы все же жепщица. Вы очень красивая жепщица. Вам бы быть хозяйкой дома, рожать детей... А, ладно!— Он резко притянул ее голову к себе и поцеловал в губы.— Будьте, Верочка, здоровы. На том свете свидимся, если он есть.

Так же резко он оторвал ее от себя и вышел за дверь. Она вернулась в гостиную, но делать ничего не могла, опустила в старое деревянное кресло и плакала до изнеможения.

В это же время на квартире Саблина и Геси Гельфман за круглым обеденным столом сидели кроме хозяев Перовская, Кибальчич и четыре метальщика: Рысаков (кличка — Николай), Грипевицкий (Котик), Тимофей Михайлов (Михаил Иванович) и Емельянов (Сугубый). Софье Львовне, судя по ее виду, нездоровилось. Арест Желябова, напряжение и переживания последних дней отразились на ее лице: оно было бледное, утомленное, под глазами круги. Но говорила она ровным спокойным голосом.

— Обычно он едет в Михайловский манеж к двенадцати, без четверти двенадцать все должны быть на месте, но при этом стараться не мозолить глаза нишкам и жандармам.

Она взяла лежавший на столе конверт и начертила план Малой Садовой. Рука, державшая карандаш, едва заметно дрожала.

— Котик и Михаил Иванович станут здесь, на углу Малой Садовой и Большой Итальянской. Котик на четной, Михаил Иванович на нечетной стороне улицы. Сугубый — на углу Малой Садовой и Невского, а Николай у памятника Екатерины. Он едет по Невскому, поворачивает на Малую Садовую. Первым в дело вступает Михаил Иванович, затем Котик. Если этого почему-то не происходит или взрыв оказывается неудачным, то Сугубый и Николай, каждый со своей стороны, бросают бомбы. В остальном действуйте по обстоятельствам, по помпите: сегодня все должно случиться во что бы то ни стало. Может быть, больше никогда такой возможности не представится.

Все слушали серьезно. Кибальчич был, как всегда, невозмутим. Тимофей Михайлов морщил лоб. Только Рысаков сказал:

— Не беспокойтесь, Софья Львовна, сделаем такую отбивную, что любо-дорого.

Перовская поморщилась и посмотрела на Рысаква.

— Не надо так говорить,— тихо сказала она.— И вообще, Николай, я вас очень прошу, особенно сегодня, когда вы выйдете на улицу, не ходите с видом «что-то знаю, но не скажу».— Помолчав, снова перешла к делу: — Последний раз я хочу уточнить. Прошу на меня не обижаться, но каждый из вас должен помнить, что сегодняшний день для каждого может оказаться последним. Поэтому, кто не чувствует себя в силах...

Потом позавтракали, выпили чаю, и Перовская велела всем выходить по одному и собраться на тех местах, которые были указаны.

— Там ждут,— сказала она. Но кто ждет и кого, не сказала.

По-прежнему валил сырой снег, но тут же раскисал и таял под ногами прохожих.

В магазине Кобозева на Малой Садовой Фроленко появился около двенадцати часов дня. Он должен был сменить Богдановича, соединить провода с гальванической батареей и, если останется жив, уйти, воспользовавшись суматохой. На это, правда, надежда была небольшая.

Без десяти двенадцать Якимова заняла место у окна, чтобы наблюдать за улицей. Вскоре на улице появились конные жандармы и перекрыли движение. Малая Садовая опустела. С минуты на минуту появится царская карета в окружении конвоя. Якимова волновалась и курила папиросу за папиросой. Фроленко сидел в углу и, ожидая сигнала, держал в каждой руке по проводу с оголенными концами.

— Ну, что там? — не выдержал он наконец. Голос его был хриплым.

К залепленному снегом жандарму, который неподвижно застыл на той стороне улицы, подъехал офицер в белом башлыке и что-то сказал. Жандарм кивнул головой и махнул пикой, давая какой-то знак остальным. Те почувствовали себя свободнее и стали подъезжать друг к другу, закуривать, переговариваться.

— Кажется, он не поедет, — сказала Якимова не оборачиваясь.

— Почему вы так думаете?

— Потому что жандармы стали вести себя слишком раскованно.

— Вот что, — помолчав, сказал Фроленко. — Вы пойдете на улицу и посмотрите, в чем дело, а я пока посижу здесь один. Заприте меня снаружи.

— Снаружи? — переспросила Якимова. — А если... — она не договорила.

— Если будет «если», тогда будет все равно.

Якимова загасила папиросу и вышла. Три конных жандарма собрались возле магазина, курили и разговаривали. Не глядя на них, Якимова прошла в сторону манежа, надеясь встретить Перовскую или кого-нибудь из метальщиков, но никого из них не увидела. Однако подъезды к манежу усиленно охранялись, и на всех углах площади торчали конные жандармы. По тротуарам сновали люди, которые слишком старались походить на обыкновенных прохожих. Значит, царь был уже в манеже, но проехал другой дорогой. Обратного он никогда не ездил по Малой Садовой, но на всякий случай следовало подождать. Когда она вернулась, Фроленко все так же сидел, держа в руках провода с оголенными концами, и даже не обернулся.

— Ну, что? — спросил он.

— Можете опустить свои провода, он поехал другой дорогой, — сказала Якимова, швыряя шляпку на табурет возле дверей.

— Черт бы его подрал, — сказал Фроленко, обматывая концы проводов тряпкой, чтобы они не замкнулись случайно.

Потом подошел к Якимовой:

— Дайте закурить.

Когда зажигал спичку, руки его дрожали. Даже его железные нервы не выдерживали. Якимова сидела на лавке, обхватив голову руками.

— Скажите честно, Михаил, — неожиданно спросила она, — вы рады?

— Чему? — удивился Фроленко.

— Тому, что это не произошло. Потому что, если б это случилось, вас сейчас не было бы в живых.

— И вас, вероятно, тоже, — заметил Фроленко.

— И меня тоже, — согласилась Якимова.

— Скажу вам совершенно честно: я не рад, я огорчен. К этому дню я готовился долго и хотел, чтобы это сегодня произошло наверняка. Боюсь, что другой случай представится нескоро. Всех нас могут сцапать каждую минуту. Я желал бы лучше погибнуть вместе с ним, чем отдельно.

Николай Рысаков с газетным свертком под мышкой стоял на улице и пытался вникнуть в смысл объяснения, наклеенного на столбе. Но буквы, частично расплывшиеся от мокрого снега, прыгали перед глазами, не желая соединяться в слова. «Что это со мной происходит? — вслушался в себя Рысаков. — Может быть, я боюсь?» И всем своим существом почувствовал, что действительно боится, что во рту пересохло,

а в коленях появилась противная слабость, о которой он раньше слышал, но самому испытывать не приходилось.

Не далее как на позапрошлой неделе бестужевка Надя сказала ему, что не может вступать с ним ни в какие отношения, выставив основной причиной его невысокий рост.

— Когда мы идем рядом по улице, все смеются, — сказала она.

— Ну, ладно, — сказал он ей. — Ты об этом еще пожалеешь.

— Мне уже три человека говорили, что я пожалею, ты четвертый, — сказала Надя.

— Хотя я и четвертый, — хмуро настаивал он на своем, — но ты все равно пожалеешь.

— Что ж, интересно, такое случится, что я пожалею? — любопытствовала Надя.

— А случится то, что меня узнает вся Россия! — неожиданно для самого себя выпалил он и, подумав, добавил: — А может быть, и не только Россия.

Эти его слова Надю порядком развеселили, и она долго и жестоко смеялась, не заботясь о том, чтобы хоть сколько-нибудь смягчить причиняемую ему боль. Потом поинтересовалась, на каком конкретно поприще собирается он прославить в веках свое пока неприметное имя. Если он думает написать гениальную поэму, то Надя просит не забывать о ее скромном вкладе, ибо неразделенная любовь способствует поэтическому творчеству.

— Поэму! — вскричал он, закипая от ярости. — Да я такую поэму напишу. что кровь в жилах заледенеет у тех, кто будет ее читать!

С этими словами он хлопнул дверью, фигурально хлопнул, потому что объяснение происходило в Летнем саду.

И вот сегодня его поэма должна прозвучать в полную силу. Завтра во всех газетах и у всех на устах будет его фамилия. Рысаков! Рысаков! Рысаков!.. Да, он умрет, умрет во цвете лет. Но он умрет за Народ, за Отечество, за Свободу. Нет, умрет не он, умрет его тело, а он, Рысаков Николай Иванович, девятнадцати лет от роду, станет бессмертен.

Самообладание вернулось к нему, и теперь, не смотря на размытые буквы, он прочитал объявление: «По случаю отъезда недорого продается ученый попугай Ганнибал. Говорит слово «дурак» и по-французски просит пARDону».

Он стал думать, что попугаи обычно легко произносят слова с буквой «р». Если б ему досталась эта заморская птица, он непременно научил бы ее говорить «Ррысаков!».

Проходящая мимо женщина кинула на ходу:

— Кондитерская Андреева!

Он не сразу понял, что это относится к нему и спохватился, увидев удаляющуюся по Невскому фигурку Перовской. И тогда он осознал, что сегодняшнее дело почему-то не вышло, и, к удивлению своему, почувствовал в душе признаки радости. Бессмертие — вещь, может быть, неплохая, но и реальная жизнь тоже чего-то стоит. Даже если не все в ней идет как надо.

Рысаков посмотрел на другую сторону Невского. Емельянов, изображавший терпеливого влюбленного, пропал, стало быть, и ему надобно торопиться. И он пошел по проспекту вслед за Перовской, прижимая под мышкой сверток и внимательно глядя под ноги, как бы не поскользнуться.

В кондитерской Андреева народу набилось порядочно, и в ожидании свободного столика пришлось постоять.

— Где Михаил Иванович? — спросила Перовская, когда наконец все устроились в углу.

Рысаков только сейчас увидел, что нет Тимофея Михайлова, удивился, но ничего не сказал. Промолчали и остальные.

— Подождем, — сказала Софья Львовна и повернулась к Емельянову. — Закажите пока что-нибудь.

— Человек! — крикнул Емельянов.

Подбежал половой с полотенцем через плечо.

— Четыре пары чая, ватрушки и пироги с орехами.

— Слушаюсь.

Половой убежал.

Перовская молча смотрела прямо перед собой и комкала в руке белый платочек. За окном нескончаемой вереницей торопились по своим воскресным делам прохожие, месили ногами сырой грязный снег, похожий на серые опилки, которыми был усыпан пол кондитерской.

Половой принес на деревянном подносе восемь стаканов чая, горку ватрушек и пирогов.

Рысаков, обжигаясь, пил жадными глотками. Он был еще возбужден. Ему хотелось сделать что-нибудь из ряда вон выходящее. Например, дать половому свою жестяную банку и попросить разогреть на плите содержимое. Перовская и Емельянов к чаю не притронулись. Гриневицкий с видимым удовольствием кусал ватрушки и пил, наливая чай в глубокое блюдо.

Перовская сказала шепотом:

— Если Михаил Иванович не придет, первым будет Николай.

Рысаков поперхнулся и посмотрел на Перовскую:

— Разве сегодня еще что-то будет?

— А ты как думал? — Гриневицкий, допив свой чай, придвинул к себе стакан Емельянова.

— Опять на Малой Садовой? — спросил Рысаков.

— Нет, — сказала она. — Без четверти два всем собраться на Екатерининском канале возле поворота на Инженерную. Я буду стоять на другой стороне у Казанского моста. Как только он появится на Инженерной, махну вот этим платком.

После развода его величество Александр Николаевич заехал в Михайловский дворец навестить великую княгиню Екатерину Михайловну.

— До меня дошло, что вы подписали проект Общей комиссии, — сказала Екатерина Михайловна. — К чему бы это ни привело, я вас поздравляю.

— Поздравьте меня вдвойне, — сказал он. — Лорис извещал меня, что последний заговорщик схвачен и что травить меня больше не будут.

Он стоял уже в передней, и лакей держал на растопыренных руках его шпиль.

Он покидал Михайловский дворец в самом веселом расположении духа. Во всяком случае, причин для этого было достаточно. Террористы разгромлены, развод в Михайловском манеже прошел, как всегда, торжественно и красиво, дело с Общей комиссией решено. Корабль, который называется Россия, идет точно намеченным курсом, капитан его в добром здравии и крепко держит руки на штурвале.

Ворота Михайловского дворца распахнулись, карета повернула, и лучшие в России лошади сразу перешли на хорошую рысь. Рядом с каретой, сверкая пиками, весело скакали всадники конвоя его величества, и их башлыки развевались при быстром аллюре.

В этот момент никому не было никакого дела до скромно одетой женщины, которая, стоя на той сто-

роне Казанского моста, достала из потертой муфты платочек и махнула кому-то...

Все вдребезги! Рысакова сзади держали за руки, били кулаками по голове, лезли в карманы, вытаскивая из одного револьвер, из другого кинжал,

Несмотря на все это, он был счастлив. Счастлив, что пересилил свой страх, что бросил, что попал. И так удачно, что даже остался жив. (В горячке он не понимал, что в его положении остаться живым — не самая большая удача.) Теперь внимание всех окружающих обращено на него. Кто таков? Что за отчаянный безумец? Что за богатырь, вступивший в единоборство с вышними силами?

Царская карета была разбита. Казак, секунду назад сидевший на козлах, теперь лежал на снегу и, поджав под себя колени, казалось, корчился от разбивавшего его смеха. На боку лежала и крайняя лошадь. Из срезанной чуть выше бабки задней ноги била вверх красная тугая струя. Возле лошади лежала лакированная дверца. Другая дверца, перекосившись, болталась на одной петле. Из глубины кареты, неправдоподобно медленно, опираясь на руки, вылезал на мостовую человек, не очень похожий на свои портреты. Император и самодержец всея Руси и на этот раз был невредим. Следом за ним выскочил на мостовую жапдармский полковник и стал хватать императора за руки.

— Ваше величество, надо немедленно дальше.

— Оставьте меня, — сказал царь, вырывая руки. — Где преступник?

— Я преступник! — дерзко сказал Рысаков. (Посмотрела бы сейчас Надя, как он лично и на равных говорит с императором!)

Александр подошел вплотную к Рысакову и стал смотреть на него с каким-то странным любопытством.

Появился все тот же жандармский полковник:

— Ваше величество, вы не ранены?

— Я? — Император стал оглядывать себя и сказал неуверенно: — Я, слава богу, пока цел, но вот... — Он показал рукой на казака, который все еще корчился на снегу.

— Посмотрим еще, слава ли богу, ваше величество! — вырвалось у Рысакова. Он видел, как, отделившись от решетки канала, медленно приближается к месту происшествия Гриневицкий, а за ним, чуть приотстав, Емельянов.

— Болван! — сказал государь и, резко повернувшись, пошел один наискось через набережную.

Царь шел, а навстречу ему с блуждающей улыбкой и руками, заложенными за спину, двигался Гриневицкий. Расстояние между ними сокращалось. Это видел Рысаков, это видел полковник Дворжицкий, это видели жандармы, прохожие и зеваки. Но все стояли, оцепенев, никто не сдвинулся с места, не нашлось второго Комиссарова, который когда-то отвел в сторону револьвер Каракозова.

Царь заметил Гриневицкого, когда между ними осталось не больше шести шагов. Александр остановился, посмотрел на своего визави недоуменно, словно пытаясь понять, чего хочет от него этот человек, и вдруг все понял и закричал. Гриневицкий поднял руки над головой, и в них мелькнул такой же газетный сверток, какой был до этого в руках Рысакова.

Сверкнуло пламя, и затрепали перепонки в ушах. Когда дым рассеялся, на снегу повсюду лежали раненые, слышались стоны и крики о помощи. Какой-то человек, держась за щеку, волчком крутился на месте. Неизвестно как очутившийся на льду канала кривоногий казак, подхватив руками полы шинели,

с криком «война!» бежал к противоположному берегу.

Гриневицкий лежал на тротуаре. Рядом с ним, прислонившись к решетке канала, в нелепой позе сидел император. Шапка слетела, шинель разорвана в клочья, ноги раздроблены. Одной рукой он опирался о снег, другой размазывал по лицу красную жижу. Вокруг дымились разбросанные лохмотья. На набережной стоял крик, шум, галдеж, кто-то кинулся к императору, кто-то кричал:

— Сани, скорее!

Придя в себя, Емельянов понял: этой суматохой можно воспользоваться и увести Гриневицкого. Сверток, в котором лежала его бомба, Емельянов положил на тротуар и кинулся к товарищу. Гриневицкий тяжело дышал и широко раскрытыми глазами смотрел в серое небо.

— Котик,— быстро зашептал Емельянов,— вставай! Еще можно скрыться.

Кто-то больно сжал Емельянову руку выше локтя и резко поднял его с земли. «Схватили»,— равнодушно подумал Иван. Перед ним стоял офицер.

— Что вы здесь возитесь? — закричал он в оглохшее ухо Ивана.— Этого потом. В первую очередь господаря!

Смысл сказанного не сразу дошел до Емельянова.

— Да, да, сейчас,— пробормотал он и кинулся к саням, на которые укладывали Александра.

Когда стало ясно, что искусство лейб-медика Сергея Петровича Боткина уже бессильно, к умирающему императору был допущен протоиерей придворного собора Рождественский с запасными дарами. В три часа тридцать пять минут пополудни, не приходя в сознание, император скончался в своем кабинете.

Его убийца Игнатий Иоакимович Гриневицкий вместе с другими ранеными был доставлен в ближайший придворный госпиталь. Он долго находился в бессознательном состоянии и только ночью пришел в себя.

— Как ваше имя? — спросил дежуривший у его постели следователь.

— Не знаю, — ответил Гриневицкий и умер.

Глава девятнадцатая

Хотя полиция и подозревала, какую роль играл Желябов в партии «Народная воля», у нее не было никаких доказательств его непосредственного участия в происшедшем. Но 2 марта, узнав о цареубийстве, Желябов попросил в камеру чернила, перо, бумагу и написал заявление.

«Если новый государь, получив скипетр из рук революции, намерен держаться в отношении цареубийц старой системы; если Рысакова намерены казнить, было бы вопиющей несправедливостью сохранять жизнь мне, многократно покушавшемуся на жизнь Александра II и не принявшего физического участия в умерщвлении его лишь по глупой случайности. Я требую приобщения себя к делу 1 марта и, если нужно, сделаю уличающие меня разоблачения. Прошу дать ход моему заявлению.

Андрей Желябов.

2 марта 1881 г. Д.пр.Закл.

P. S. Меня беспокоит опасение, что правительство поставит внешнюю законность выше внутренней справедливости, украся корону нового монарха трупом юного героя лишь по недостатку формальных

улик против меня, ветерана революции. Я протестую против такого исхода всеми силами души моей и требую для себя справедливости. Только трусостью правительства можно было бы объяснить одну виселицу, а не две.

Андрей Желябов».

Желябов не знал, что Рысаков, потрясенный всем, что произошло, запуганный жандармами, начал уже давать показания. Вооруженные этими показаниями, полицейские рыскали по Петербургу, охотясь на народовольцев.

2 марта вечером в 1-й участок Александро-Невской части явились два чиновника в вицмундирах судебного ведомства и с ними жандармский майор. Старший чиновник, пожилой, сухопарый, с седыми подстриженными усами, оказавшийся товарищем прокурора судебной палаты, предъявив дежурившему в тот вечер старшему помощнику пристава Рейнгольду свои полномочия, приказал немедленно собрать все палящие силы и следовать на Тележную улицу в дом номер 5 для обыска в квартире номер 7 и арестования всех, кто будет в ней находиться. В ночь на 3 марта три полицейские кареты остановились напротив указанного дома. Двое городских были поставлены у входа в дом, двое — во дворе, один был послан за дворником. Остальные поднялись на второй этаж. На лестнице было темно. Рейнгольд поднял над головой «летучую мышь», и латунная табличка с номером 7 тускло сверкнула над дверью, обитой рваным войлоком.

— Эта? — Рейнгольд покосился на товарища прокурора.

Тот кивнул головой, и Рейнгольд резко крутнул ржавый барашек звонка с надписью: «Прошу повернуть». За дверью послышались легкая суматоха, потом чьи-то осторожные шаги, и мужской голос спросил:

— Кто тут?

— Пристав и прокурор! — громко ответил Рейнгольд.

После короткой паузы защелкали за дверью задвижки и заскрежетал ключ, запирая замок на второй оборот.

— Господин пристав, они, кажись, запираются! — прошептали сзади.

— Открывайте! — крикнул Рейнгольд и грохнул в дверь кулаком.

За дверью снова послышались шаги, на этот раз они удалялись.

— Позвольте, господин пристав.

Околоточный надзиратель Зезюкин взялся за ручку двери, уперся ногой и — отлетел вместе с ручкой.

— Сила есть, ума не надо, — насмешливо сказал жандармский майор.

Привели заспанного мужичонку с всклокоченной бородой. Мужичонка таращил глаза и трясся от страха.

— Кто такой? — спросил Рейнгольд.

— Дворник, господин пристав, — ответил приведенный мужичонку городской.

— Дворник? — Рейнгольд переглянулся с товарищем прокурора. — Пьяный?

— Никак нет, — оправился дворник от немоты, — не пьяный я, ваше благородие. Окромья чаю, ничего не пил.

— А отчего ж ноги дрожат?

— От страху, ваше высокоблагородие.

— Топор есть?

— Как же, ваше превосходительство! — приходя в себя, дворник повышал пристава в чинах. — В нашем деле без топора что без рук.

— Тащи сюда, да поживее!

Вслед за первым же ударом топора в квартире номер 7 послышались выстрелы. Один, другой... Товарищ прокурора отшатнулся от двери, жандармский майор попятился и стал за спиной Рейнгольда. Рейнгольд считал вслух:

— Три, четыре...

Пятым выстрелом пробило дверь, после шестого все стихло.

Выждав паузу, Рейнгольд приложился ухом к двери.

— Рубить дальше? — услужливо спросил дворник.

— Погоди, — отмахнулся Рейнгольд. — Кажется, кто-то идет.

Снова защелкали задвижки, дверь растворилась, и женщина, оказавшаяся на пороге, слабым голосом попросила:

— Доктора! Очень нужно!

— Задержать ее! — крикнул Рейнгольд кому-то наступавшему сзади и первым ворвался в квартиру.

Во второй комнате, направо от входа, в расползающейся на полу луже крови лежал мужчина среднего роста, на вид лет тридцати двух, с темно-русой окладистой бородой, в кумачовой рубаше и серых триковых брюках немецкого покроя. Левый глаз выбит, руки раскинуты в стороны, возле правой лежал револьвер. Обойдя растекшуюся лужу, Рейнгольд взял руку лежащего у запястья и подержал.

— Убит?

Рейнгольд поднял голову и увидел стоявшего над ним сухопарого товарища прокурора.

— Наповал,— сказал Рейнгольд, разгибая колени. Покуда один из околоточных рылся в книгах, другой, Зезюкин, снимал с подоконника цветы.

Взял с подоконника большой фикус и грохнул об пол. Та же участь постигла горшок с настурцией.

— Зачем это? — спросил Рейнгольд.

— Смотрю, нет ли чего в горшках,— ответил околоточный, носком сапога разгребая рассыпавшуюся землю и черепки.

На окне стояли еще две банки, завернутые в газету и перевязанные цветными бумажными платками. Зезюкин взял одну из них и высоко поднял, чтоб грохнуть об пол.

— Погоди, Зезюкин,— подошел Рейнгольд.— Дай-ка сюда.

Сорвав газетную обертку, он заглянул в банку. Она была наполнена какой-то массой, в которой торчал кусок свернутого сукна, пропитанный жидкостью. Рейнгольд осторожно принюхался. В нос ударило резким неприятным запахом. Пристав поморщился и посмотрел на Зезюкина.

— Чего там? — спросил с любопытством Зезюкин.

— Ничего, кроме динамита и пироксилина,— усмехнулся Рейнгольд.— Из тебя, Зезюкин, мог бы неплохой бомбист получиться.

Он осторожно поставил банку на прежнее место и, бросив брезгливый взгляд на тело, распростертое на полу, вышел в переднюю.

Судебный следователь сидел на крытой зеленым вытертым бархатом кушетке рядом с хозяйкой квартиры и, держа в руках раскрытый блокнот и карандаш, задавал вопросы тихим бесстрастным голосом. Товарищ прокурора стоял чуть поодаль, перебирая пачку прокламаций за подписью «Исполнительный комитет».

Остальные прокламации были сожжены. Груда бумажного пепла лежала на табуретке перед круглой зеленой печью.

— Стало быть, вы не желаете назвать ваше имя, фамилию, звание и род занятий? — Следовательно занес над блокнотом остро отточенный карандаш.

— Не желаю.

— Так, хорошо. — И карандаш повторил в блокноте этот ответ: «Не желаю». — Что вы можете сказать о личности убитого?

— Оставьте меня в покое.

— Вы напрасно отказываетесь давать показания, — проскрипел сухопарый. — Приговор суда, который вам предстоит, будет во многом зависеть от вашего теперешнего поведения.

Она подняла на товарища прокурора темные глаза и усмехнулась. «Где-то раньше я видел эту еврейскую, — подумал Рейнгольд. — Где-то я ее видел».

Из второй комнаты вышел Зезюкин, держа в руках черный бумажник.

— Что нашел? — спросил Рейнгольд.

— Документы, ваше благородие.

— Дайте сюда! — быстро сказал сухопарый.

Он вытащил из бумажника паспорт и стал рассматривать. Рейнгольд заглянул в паспорт через плечо сухопарого. С другой руки подошел следователь.

— Навроцкий... Коллежский ассессор, — прочел вслух товарищ прокурора. И повернулся к хозяйке квартиры: — Вот видите. А вы записались.

— Дозвольте поглядеть, господин прокурор. — Рейнгольд взял паспорт и поднес ближе к свету. — Фальшивый документ. Хотя работа неплохая.

И тут же вспомнил. Четыре года назад, состоя в конвое при подсудимых на «процессе 50-ти», он видел

эту женщину на скамье подсудимых. «Постарела», — подумал он, разглядывая хозяйку. Но фамилию ее он так и не вспомнил, узнал потом из печати: Гесья Мионовна Гельфман. Застрелившимся, как выяснилось впоследствии, оказался скрывавшийся под фамилией Навроцкого агент Исполнительного комитета второй степени доверия Николай Алексеевич Саблин.

3 марта около двух часов дня на квартире у Вознесенского моста кроме ее хозяев Веры и Исаева собрались Тихомиров, Ланганс, Перовская, Якимова, Суханов и Грачевский. Обсуждали, стоит ли обращаться к новому императору.

Пришел Кибальчич. Не будучи членом Исполнительного комитета, он не имел права сюда приходить, но никто его в этом не упрекнул.

— Только что я был на Тележной и чуть не попался, — сказал Кибальчич с порога. — Квартира взята полицией. Гесья арестована, Саблин застрелился. Тимофей Михайлов пришел и попал в засаду, тоже арестован.

— Господи! — вырвалось у Перовской. Она обхватила руками голову.

— Кроме того, — продолжал Кибальчич, — есть сведения, что Андрей потребовал приобщения его к делу Рысакова.

Все молчали, думая об одном и том же.

— Зачем он это сделал? — нарушила молчание Вера.

— Это было необходимо, — с трудом сказала Перовская. — Процесс против одного Рысакова вышел бы слишком бледным.

Ее измученное лицо было белым как мел. Желябов для всех значил много, но для нее больше, чем для всех.

— Да,— она с трудом вышла из оцепенения.— Но как открыли квартиру на Тележной?

— Кто-то выдает,— сказала Якимова. Закуривая папироску, она нервно ломала спички.

— Дворник всегда был против того, чтобы привлекать к делу слишком юных и неокрепших духом,— сказал Тихомиров с намеком.

Все посмотрели на Тихомирова, на его рукав, перхваченный траурной лентой.

— Я думаю, ты ошибаешься, если имеешь в виду Рысакова,— сказала Перовская.— То, что он сделал позавчера, отводит от него подозрения.

— Скоро все узнаем,— уклончиво сказал Тихомиров.— Но некоторые квартиры надо бы очистить, и как можно скорее. И в первую очередь это касается магазина сыров.

— Рысаков в магазине никогда не был,— сказала Якимова.

— Не был, но это еще не значит, что он о нем не слышал,— неожиданно поддержал Тихомирова Грачевский.

— Магазин ликвидировать нельзя,— сказала молчавшая до сих пор Вера.— Мы ничего не знаем о наследнике. А вдруг он тоже любит разводы?

— Вдруг, вдруг! — разозлился Тихомиров.— Мы свое сделали. Хватит бессмысленных жертв.

— Это трусость! — вспылила Вера.

Сказанное слово прозвучало как пощечина. Тихомиров побледнел.

— Ты не смеешь так говорить,— сказал он с трудом.

Вера смутилась. Тихомиров был старый товарищ. За ним было десять лет революционного стажа, из них четыре года тюрьмы.

— Ладно,— сказала она, отворачиваясь.— Беру свои слова обратно. Но магазин бросать нельзя.

— Нет, Верочка,— мягко возразила Перовская.— Шансы на удачу ничтожны, а риск слишком велик. Баска,— повернулась она к Якимовой,— немедленно смени в магазине Богдановича, пусть уезжает с первым же поездом. Ты уйдешь после закрытия магазина. Оставишь полиции записку, чтобы во избежание ненужных жертв не взорвали ненароком мину. По-моему, так будет правильно?

Роль, которую Перовская исполнила 1 марта, сделала ее авторитет непререкаемым. Большинство согласилось с Перовской. Вера подчинилась. Стали по одному расходиться. Перовская, уходя, задержалась в коридоре.

— Верочка, если ты не возражаешь, я приду к тебе сегодня ночевать.

— О чем речь? — сказала Вера.— Как ты можешь об этом спрашивать?

— Я спрашиваю потому,— она вымученно улыбнулась,— что, если меня найдут здесь, тебя повесят.

— Сонечка, милая,— обняла ее Вера.— У меня под подушкой всегда лежит револьвер. Если придет полиция, с тобой или без тебя я буду стрелять.

Глава двадцатая

Литератор Скурлатский сидел в своем кабинете за просторным столом в просторном темном халате, окантованном шелковым шнуром. В этом халате он выглядел как настоящий крупный писатель, выглядел даже более настоящим, чем самые настоящие писатели. Сегодня он наконец-то дорвался до стола и мог при-

няться за грандиозный, давно задуманный им роман. До этого всегда что-нибудь мешало. Утренние два часа уходили на чтение петербургских и московских газет. Затем надо было посетить знакомых, с тем чтобы узнать, что происходит в мире (потому что газетам верить нельзя). Потом повидать других знакомых и пересказать им то, что слышал от первых знакомых. Побывать во всех редакциях, набрать заказов и, наконец, провести вечер в каком-нибудь модном салоне. Без такого общения жизнь писателя немислима. И так проходил день за днем в суете, в беготне. Скурлатский возвращался домой усталый и огорченный, недовольный собой. Опять прошел день, и опять не нашлось времени взяться за свое главное сочинение. Он пододвинул к себе стопку чистой бумаги, очинил перо, обмакнул его в чернила и задумался. Черт подери, отчего же так происходит? — думал он. — Отчего так получается, что самые разнообразные (иногда просто гениальные) мысли приходят ему где угодно: во время прогулки по Невскому, в гостях, в кабинете знакомого редактора, но только не за столом.

— Скажите, не страшно ли вам наедине с листом чистой бумаги? — когда-то спросила его одна поклонница.

Страшно, да еще как, очень страшно. Та поклонница, Евдокия, давно стала его женой. Но ему по-прежнему было страшно перед листом чистой бумаги. Пока он обо всем этом думал, чернила на перышках высохли, пришлось его снова обмакивать. Он знал, что настоящий роман начинается с первой фразы. Стоит написать удачную первую фразу, и мысли польются одна за другой, а уж остальное будет делом времени. Но как раз именно первая фраза ему и не удавалась. Она бы, может быть, ему и удалась, но в

то время, когда эта фраза забрезжила в его сознании, на кухне что-то грохнуло. «Никогда не дают работать!» — раздраженно подумал Скурлатский и вышел на кухню. Там он застал кухарку Пашу, крепкую деревенскую девушку. Она мыла посуду.

— Пелагея, — сказал строго Скурлатский, — сейчас же прекрати греметь посудой, ты мне мешаешь.

— Барин, мне немного осталось домыть, — виновато сказала Пелагея.

— Завтра домоешь. А пока подай мне в кабинет чаю и покрепче.

Чай, как известно, бодрит и освежает. Но на этот раз его действие не ощущалось. После чая Скурлатский просидел еще некоторое время над листом, и как раз в это время в дверь позвонили. Он посмотрел на часы, было довольно поздно. «Опять кого-то несет на ночь глядя», — подумал он недовольно, но с облегчением. Запахнув халат, он вышел, но за дверью никого не оказалось. И тут только обнаружил он конверт, видимо, подсунутый кем-то под дверь.

Вернувшись в свой кабинет, Скурлатский поднес конверт к свету и вздрогнул от неожиданности. На конверте перовным почерком (вероятно, левой рукой) было выведено: «От Исполнительного комитета «Народной воли»». «Что за чертовщина?» — подумал Скурлатский.

Минуту спустя он с лампой вошел в спальню жены. Евдокия спала, разметав по подушке свои золотые кудри, в которых седина была почти незаметна.

«Кажется, спит», — подумал Скурлатский.

Осторожно прикрыв дверь, он на цыпочках прошел через спальню и поставил лампу на туалетный столик — не в темноте же ему раздеваться. Но лампу он поставил так, что свет ее бил прямо в левый глаз

Евдокии. Евдокия застонала, бормотнула что-то и повернулась к стене.

«Может быть, она все же не спит», — подумал Скурлатский и легко покашлял, как будто у него чуть-чуть запершило в горле.

Евдокия не просыпалась, и Скурлатский снова закашлялся, на этот раз так, как будто у него была чахотка в последней стадии, но и это не подействовало на спящую.

«Спит, — уже с некоторым раздражением подумал Скурлатский. — Так, пожалуй, помрешь от кашля, а она не проснется».

Справившись с кашлем, он стал ходить по комнате, шаркая по-стариковски ногами и задевая за все углы. Дело кончилось тем, что он свалил стул, который упал с таким грохотом, что на этот раз Евдокия проснулась и села в постели.

— Что такое? Что случилось? — испуганно спрашивала она, пытаясь разомкнуть веки.

— Ты не спишь, Дусенька? — ласково сказал Скурлатский. — А я как раз хотел тебе кое-что почитать, — добавил он, не давая жене опомниться.

— Может быть, завтра? — протирая глаза, робко попросила она.

— Конечно, можно и завтра, — согласился он. — Но ведь ты же все равно не спишь. Тут самая ерунда, всего две странички.

— Ну ладно, читай. — Евдокия снова легла и добросовестно пилила глаза на супруга.

Скурлатский сел рядом с ней на постель, придвинул к себе лампу и с пафосом произнес:

— Ваше величество!

— Что? — вздрогнула Евдокия.

— Это я читаю, — успокоил Скурлатский.

— «Ваше величество!

Вполне понимая то тягостное настроение, которое вы испытываете в настоящие минуты, Исполнительный комитет не считает, однако, себя в праве поддаваться чувству естественной деликатности, требующей, может быть, для нижеследующего объяснения выждать некоторое время. Есть нечто высшее, чем самые законные чувства человека: это долг перед родной страной, долг, которому гражданин принужден жертвовать и собой, и своими чувствами, и даже чувствами других людей. Повинуясь этой все- сильной обязанности, мы решаемся обратиться к вам немедленно...

Кровавая трагедия, разыгравшаяся на Екатерининском канале, не была случайностью и ни для кого не была неожиданной. После всего происшедшего в течение последнего десятилетия она являлась совершенно неизбежной, и в этом ее глубокий смысл, который обязан понять человек, поставленный судьбою во главе правительственной власти...

Евдокия добросовестно таращила глаза, но, ничего не понимая, впадала в забытие и тогда до нее доходили только обрывки фраз.

«...подобные факты... собственным достоинством... покойного императора... вешали правого и виноватого... процесс народного организма... крестная смерть Спасителя...»

Не в силах бороться со сном, Евдокия приподнялась на локте и попыталась сосредоточиться.

— «Правительство,— декламировал Скурлатский,— конечно, может еще переловить и перевешать многое множество отдельных личностей. Оно может разрушить множество отдельных революционных групп. Допустим, что оно разрушит даже самые серьезные из существующих революционных организаций. Но ведь все это несколько не изменит

положения вещей. Революционеры создают обстоятельства, всеобщее неудовольствие народа, стремление России к новым общественным формам. Весь народ истребить нельзя, нельзя и уничтожить его неудовольствие посредством репрессалий; неудовольствие, напротив, растет от этого...»

«Что это он читает? — никак не могла понять Евдокия. — Кажется, он собирался писать роман. Но для романа это начало довольно странное».

— «Страшный взрыв, — продолжал Скурлатский, — кровавая перетасовка, судорожное революционное потрясение всей России завершат этот процесс разрушения старого порядка...»

Сон прошел окончательно. Евдокия встряхнула головой и стала слушать внимательно.

— «...Мы обращаемся к вам, отбросивши всякие предубеждения, подавивши то недоверие, которое создала вековая деятельность правительства. Мы забываем, что вы представитель той власти, которая столько обманывала народ, сделала ему столько зла. Обращаемся к вам как гражданину и честному человеку. Надеемся, что чувство личного озлобления не заглушит в вас сознания своих обязанностей и желания знать истину. Озлобление может быть и у нас. Вы потеряли отца. Мы потеряли не только отцов, но еще братьев, жен, детей, лучших друзей. Но мы готовы заглушить личное чувство, если того требует благо России. Идем того же и от вас.

Мы не ставим вам условий. Пусть не шокирует вас наше предложение. Условия, которые необходимы для того, чтобы революционное движение занялось мирной работой, созданы не нами, а историей. Мы не ставим, а только напоминаем их.

Этих условий, по нашему мнению, два:

1) Общая амнистия по всем политическим пре-

ступлениям прошлого времени, так как это были не преступления, но исполнение гражданского долга.

2) Созыв представителей от всего русского народа для пересмотра существующих форм государственной и общественной жизни и переделки их сообразно с народными желаниями...

Итак, ваше величество, решайте. Перед вами два пути. От вас зависит выбор, мы же затем можем только просить судьбу, чтобы ваш разум и совесть подсказали вам решение, единственно сообразное с благом России, с вашим собственным достоинством и обязанностями перед родной страной.

Исполнительный комитет
10 марта 1881 г.»

— Ну, Евдокия, каково? А? — Скурлатский приложил руку к груди, выпучил глаза и захохотал. — Не здорово ли написано? Каков стиль! Какая твердость и в то же время как мудро и сдержанно. Нет, это писал не какой-то бомбист, это писал человек, хорошо владеющий пером!

— Да, написано неплохо! — согласилась жена. — Кто же это мог быть?

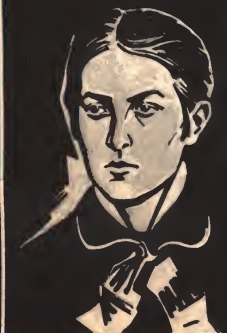
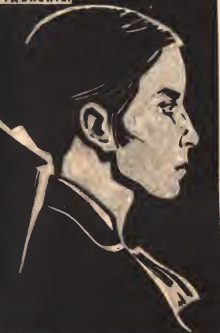
— Разумеется, я! — неожиданно для самого себя выпалил Скурлатский.

Евдокия опустила глаза. Она знала все слабости мужа, но привыкла относиться к ним снисходительно.

— Ложись спать, Сергей. Уже поздно, — сказала она.

Между тем разгром партии «Народная воля» продолжался. В руки полиции попадали все новые и новые люди.

320 10 марта на Невском проспекте околоточным надзирателем Широковым была задержана Перовская.



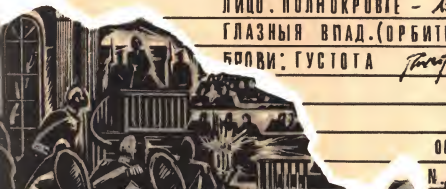
ВОЗРАСТ ПО НАР. ВИДУ 32-34 РОСТ. 1 МЕТРЪ 40

ВОЛОСЫ: ВОЛНИСТОСТЬ -

ЛИЦО: ПОЛНОКРОВІЕ -

ГЛАЗНЫЯ ВПАД. (ОРБИТА)

БРОВИ: ГУСТОТА *Густота*





17 марта на своей квартире был арестован Кибальчич. В тот же день на той же квартире попал в за-саду Фроленко.

Особое присутствие правительствующего Сената приняло к рассмотрению дело шести народовольцев, признанных главными участниками в цареубийстве. Суду предавались Желябов, Перовская, Гельфман, Кибальчич, Михайлов и Рысаков.

Председателем был назначен сенатор Эдуард Яковлевич Фукс. Обвинение поддерживал товарищ прокурора Петербургской судебной палаты Николай Валерианович Муравьев.

Итак, жена Скурлатского знала слабость мужа к фантазированию. Однако она полагала, что к утру он выкинет эту выдумку из головы, как это уже с ним неоднократно бывало. Но она ошиблась. Утром, не позавтракав и не просмотрев газет, Скурлатский быстро оделся и поехал к своему другу литератору Козодоеву, которому зачитал письмо Исполнительного комитета и хотя прямо не заявил, что именно он является автором этого письма, но намекнул, что это вполне допустимо. Точно так же он вел себя в редакциях «Голоса» и «Санкт-Петербургских ведомостей», у писателя Глеба Успенского и у доктора Лесгафта.

Вскоре по Петербургу пошла молва, что письмо Исполнительного комитета Александру III, большим тиражом отпечатанное в тайной типографии и ходившее по рукам, написал литератор Скурлатский.

Об этом говорили шепотом и по секрету, беря клятву, что никому-никому, а от этого новость распространялась еще быстрее. Престиж Скурлатского в либеральных кругах резко возрос. Он был нарасхват в самых разных домах, где с большим удовольствием

рассуждал на общие темы. Говорили, что даже некий тайный советник тайно принял Скурлатского, а также изъявил желание быть ему представленным некий жандармский генерал в отставке (известно, что некоторые жандармские генералы, удаляясь от дел, проявляют большую склонность к либерализму). Слухи о Скурлатском ходили довольно широко и довольно долго, пока не дошли до полиции, узнававшей все в последнюю очередь.

Однажды поздно ночью, проснувшись от непонятного грохота, Евдокия Скурлатская, полуодетая, выскочила в прихожую и увидела, что квартира битком набита полицейскими.

— Что здесь происходит? — спросила Скурлатская. — Что вам угодно? — обратилась она к руководившему операцией молодому жандармскому офицеру.

— Извините, мадам, — офицер щелкнул каблуками, — но у нас есть ордер на обыск в вашей квартире и на арест вашего мужа.

Литератор Скурлатский, слегка побледневший, заложив руки за спину, стоял у стены.

— Евдокия! — выпятив грудь, рявкнул он неожиданно. — Когда приходят жандармы, жена Скурлатского должна быть одета.

— Господин офицер, — взмолилась Евдокия. — Здесь какое-то недоразумение. Мой муж любит фантазировать, эту его слабость все знают. Если речь идет об этом проклятом письме Исполнительного комитета, то я вас уверяю, господин офицер, я клянусь вам, мой муж не имеет к нему никакого отношения.

— Евдокия! — повысил голос Скурлатский. — Сейчас же оденься! — И когда Евдокия ушла к себе, сказал тоном усталого полководца: — Выполняйте свой долг, господа!

Господа перерыли всю довольно обширную библиотеку Скурлатского и перевернули вверх дном весь дом. В результате обыска было найдено несколько разрозненных номеров «Народной воли», растрепанный, десятилетней давности экземпляр «Колокола», несколько случайных прокламаций. То же самое можно было найти в любом интеллигентном доме.

Затем арестованному было предложено следовать в полицейский участок. Он надел пальто, шапку, перчатки, пошел к выходу, но в дверях обернулся к рыдающей жене.

— Евдокия,— сказал он сурово, но нежно,— береги детей. Передай им, что их отец погиб за свободу.

— Господин офицер! — заливалась Евдокия слезами.— Он все врет, все врет! У него и детей-то никогда не было!

В ту же ночь подозреваемый в особо опасных государственных преступлениях был переведен из полицейского участка в Дом предварительного заключения и помещен в одиночную камеру для особо опасных преступников. Утром его вызвали на допрос. В просторном кабинете с портретом государя императора Александра III Скурлатского встретил подвижной жандармский офицер в новом с иголки мундире, в новых погонах.

— Подполковник Судейкин Георгий Порфирьевич,— представился он.— Имею честь заведовать отделением охраны и спокойствия при Петербургском градоначальстве.

Задав затем несколько незначительных вопросов, подполковник Судейкин предъявил Скурлатскому письмо Исполнительного комитета.

— Вам знаком этот документ?

— Еще бы! — значительно усмехнулся Скурлатский.

— Вы подтверждаете, что являетесь автором этого сочинения?

— Да, подтверждаю.

— М-да... — Георгий Порфирьевич пробарабанил пальцами по столу что-то победное. Встал. Заложив руки за спину, прошелся по кабинету. — Уважаемый Сергей Станиславович, — сказал он задумчиво. — Видите ли, в чем дело. Признавая свое авторство, вы ставите себя в очень тяжелое положение. Ведь это не просто письмо, а как бы программный документ партии, прославившейся неслыханными злодеяниями. Естественно, что при составлении этого документа такая серьезная организация, как Исполнительный комитет партии «Народная воля», не могла обращаться к посторонним лицам. Письмо составлял кто-то из членов комитета, причем из самых активных. Таким образом, настаивая на своем авторстве, вы признаете, что являетесь членом Исполнительного комитета.

— Разумеется, — с достоинством сказал Скурлатский.

Даже издавший виды Судейкин заволновался. Теперь он уже не ходил, а бегал по кабинету.

— Но это же невозможно! — вскричал он. — Я не встречал еще ни одного человека, который признал бы себя членом Исполнительного комитета. Даже Желябов и Перовская признают себя только агентами Исполнительного комитета. Желябов и Перовская! Вам знакомы эти фамилии?

— Мои люди, — спокойно сказал Скурлатский.

Судейкин вернулся на свое место и долго, с любопытством разглядывал допрашиваемого.

— Послушайте, Сергей Станиславович,— сказал он проникновенно и даже заискивая.— Ваша супруга и ваши друзья говорят, что вы имеете склонность к каким-то таким... как бы это сказать?... фантазиям, что ли.

— Вы хотите сказать, что я лгу? — побледнел Скурлатский.

— Нет, нет, ни в коем случае. Но посудите сами, ни в каких следственных материалах о деятельности партии «Народная воля», я подчеркиваю, ни в каких материалах нет вашей фамилии. Согласитесь, что это довольно странно. Нам известны все главнейшие деятели этой партии. И те, которые арестованы, и те, которые еще на свободе. И вдруг оказывается, что один из главных членов Исполнительного комитета нам совершенно неизвестен. Как прикажете понимать такое... гм... противоречие?

Скурлатский побагровел.

— Господин подполковник,— грозно сказал он, отшвыривая от себя стул,— ваши намеки кажутся мне оскорбительными. Я прошу немедленно отвести меня в мою камеру.

Судейкин вздохнул и с сочувствием посмотрел на Скурлатского.

— Сядьте, прошу вас. В камеру вы еще успеете. Я вас умоляю, Сергей Станиславович, скажите, что это не вы, что вы просто пошутили, и я прикажу вас тотчас же освободить.

— А я прошу вас отвести меня в камеру,— сказал упрямо Скурлатский.

— Ах, Сергей Станиславович, Сергей Станиславович,— покачал головой подполковник.— Напрасно вы все это затеяли. Очень даже напрасно. Вы знаете, полиция, органы правосудия получили указание о полном искоренении крамолы. Государь лично инте-

ресуется каждым, кто имеет хоть какое-нибудь отношение к «Народной воле» и Исполнительному комитету. Все главные деятели комитета будут наказаны самым строжайшим образом, вплоть до смертной казни. И в это время вы настаиваете на своей, извините, не очень умной выдумке.

— Господин подполковник, — устало сказал Скурлатский, — я еще раз прошу вас: прикажите отвести меня в камеру.

— Ну хорошо, — махнул рукой Георгий Порфирьевич. — Я вам верю. Вы — член Исполнительного комитета. Назовите ваших сообщников, имена, адреса. Что вы можете сказать о деятельности партии и ее задачах?

— Ха-ха-ха, — приложив руку к груди, саркастически расхохотался Скурлатский. — Вы, подполковник, слишком наивны для вашей должности. От меня вы не услышите, — он поднял вверх тонкий указательный палец, — ни слова. Засим, милостивый государь, я еще раз настаиваю, чтобы меня немедленно отвели в камеру. А если вы не можете этого приказать, то я иду туда сам. Честь имею, господин подполковник.

С этими словами литератор Скурлатский вытянул руки по швам, щелкнул каблуками, резко кивнул головой, круто по-военному повернулся и, выпятив грудь, твердым шагом направился к выходу.

— На место! — вдруг сорвался Судейкин.

— Что-с? — повернулся Скурлатский.

— На место, я вам говорю! Сядьте!

— Ну что ж... — Скурлатский пожал плечами. — Я подчиняюсь насилью.

Он сел.

— Вот так-то, — сказал Судейкин, все еще негодуя и раскаляясь все больше. — Послушайте, вы! —

Он встал.— Вы все лжете! Вы лжете как сивый мерин! Но если вы будете упорствовать, это дорого вам обойдется. Вас повесят! Вы представляете, что это значит? Вас приведут на ашафот, сколоченный из неструганных досок. Тут же перед вами поставят черный гроб. Криволапый палач накинет на вашу тонкую шею петлю из толстой веревки. Вы будете дрыгать ногами, ваш болтливый язык вылезет из вашей глотки...

— Ах, подполковник,— поморщился Скурлатский и покрутил головой.— Перестаньте рассказывать эти ужасы, мне это неприятно.

— Ага, испугались! — оживился подполковник.— Ну, так все в ваших руках! Скажите, что вы пошутили, и я вас сразу же отпущу.

— Нет,— твердо сказал Скурлатский.— Мой долг повелевает мне идти своим путем до конца.

— Вы дурак! Вы осел! — снова взорвался Судейкин.— Черт с вами.— Он грохнул кулаком по столу.— Я вас отпускаю. Идите!

— Куда?

— Ко всем чертям! Куда хотите!

Скурлатский развалился на стуле, положил ногу на ногу и обхватил руками колено.

— Полицейская уловка,— усмехнулся он понимающе.— Шито белыми нитками, господин подполковник. Я отсюда пойду, вы пошлете своих шпионов, чтобы выявить, с кем я встречаюсь. Прикажете отвести меня в камеру и пускай меня повесят. Я не боюсь! Я плюю на вас!

Скурлатский встал и действительно плюнул в лицо Судейкину. Как ни странно, тот воспринял плевков совершенно спокойно.

— Дурак,— сказал он, утираясь белоснежным платком.

— Сам дурак! — выпучив глаза, закричал Скурлатский.

— Сумасшедший!

— Сам сумасшедший! — все больше накалялся Скурлатский. — Скотина в полицейском мундире! Я бросаю тебе перчатку и, если ты дворянин, завтра же будем стреляться!

Судейкин взял со стола медный колокольчик и позвонил. В дверях возникли два рослых жандарма.

— В камеру его! — утомленно сказал Судейкин. — И заковать в кандалы!

Дальнейшая судьба Скурлатского скрывается совершенно во мраке. Однако если собрать все ходившие о нем слухи и отделить правдоподобное от невероятного, то картина будет выглядеть примерно таким образом.

Показания, данные Скурлатским подполковнику Судейкину, вызвали полный переполох в компетентных сферах. Его допрашивали директор департамента полиции, прокурор судебной палаты и министр внутренних дел. Скурлатского приводили на допросы измученного, но непреклонного. Его настойчивые показания, что именно он был составителем письма к Александру III, не подтверждались смежными расследованиями. Не было подтверждено также и его членство в Исполнительном комитете. Арестованные к тому времени члены террористической партии при предъявлении им на очных ставках Скурлатского уверяли, что видят его первый раз в жизни. Когда допрашивающие требовали у Скурлатского объяснения такого казуса, он с неизменной усмешкой объяснял, что правила, существующие между революционерами, не позволяют им выдавать друг друга на очных ставках. Было применено против него и еще одно сильное средство. Жена, которую, как говорили,

он сильно любил, была допущена к нему в камеру. Всю ночь со слезами на глазах она умоляла его отказать от возведенной на самого себя напраслины. Скурлатский был с ней мягок, нежен, но после ее ухода проявлял прежнюю твердость. Дело литератора Скурлатского, как из ряда вон выходящее, попало в конце концов к обер-прокурору Синода Константину Петровичу Победоносцеву, а через него и к Александру III. В сопроводительном письме Победоносцев писал, что хотя показания Скурлатского и являются несомненно плодом его слишком богатого воображения, однако само направление его фантазии свидетельствует о зловредном образе мыслей, почему бывший литератор и должен быть наказан наравне с истинными особо опасными преступниками. Говорили также, что на полях дела Скурлатского собственною его величества рукой было высочайше начертано: «Мерзавца судить и повесить. А.» После этого на высочайшее имя поступило несколько обращений от представителей литературы и медицины, которые, признавая зловредное направление мыслей Скурлатского, указывали, однако, что его показания нельзя объяснить ничем иным, как тяжелым психическим расстройством, признаки которого наблюдались и ранее. В результате этих обращений государь всемилостивейше зачеркнул прежнюю резолюцию и начертал новую: «Поскольку законы империи не позволяют выпороть лгуна розгами, следует отправить его в дом умалишенных впредь до окончательного выздоровления, которое, надеюсь, наступит нескоро. А.» После этого Скурлатский, действительно, был отправлен в психолечебницу, на обитателей которой произвел сильное впечатление.

К чему все это привело и как завершилась судьба Скурлатского, осталось невыясненным.

Глава двадцать первая

1 апреля ушел и не вернулся Исаев. Они условились в эти дни без крайней необходимости не задерживаться нигде дольше восьми, но Григория не было ни в восемь, ни в девять. К десяти Вера забеспокоилась всерьез. В одиннадцать она еще надеялась услышать его шаги на лестнице. К двенадцати поняла, что ждать бесполезно.

Утром 2 апреля начала собирать и упаковывать вещи. Исполнительный комитет приказал ей покинуть Петербург, теперь надо было тем более торопиться.

Около часу дня пришел Грачевский. На нем лица не было.

— Ты еще на свободе? — спросил он.

— Как видишь.

— Все наши убеждены, что ты арестована. Где Григорий?

— Вчера ушел и не вернулся.

Грачевский, не раздеваясь, опустился на стул.

— Говорят, в градоначальство вызывают всех дворников и показывают им какого-то человека. По описанию это Исаев. Поэтому, Верочка, тебе надо спешить. Уходи немедленно.

— А куда деть это? — она показала глазами на сложенные в углу узлы.

— Оставь к черту, не до них.

Она покачала головой.

— Нет, это оставить нельзя. Здесь динамит, типографский шрифт, заготовки документов. Мы не настолько богаты, чтобы делать такие подарки полиции.

Грачевский был взвинчен. Он встал и забегал по комнате.

— Это невозможно! — воскликнул он, нервно потирая руки. — Ты ведешь себя, как девчонка. А если придет полиция и возьмет все это вместе с тобой?

Она поморщилась:

— Грач, не устраивай, пожалуйста, истерик. И так тошно. Если придет полиция, меня она не возьмет. У меня есть револьвер, и живая я не дамся.

Он вздрогнул и остановился:

— Извини, я перенервничал. Соня передала, чтобы мы особенно берегли тебя и Наума.

Вера нахмурилась:

— Надо было ее беречь, а мы не смогли. Кстати, насчет Наума. Отыщи его, и пусть он поможет очистить квартиру.

— Хорошо.

Грачевский ушел, и она снова принялась за упаковку вещей. Когда на душе тяжело, лучше всего заняться каким-нибудь механическим делом. Она укладывала, сортировала. Отдельно книги, отдельно шрифт, отдельно динамит. Банки с динамитом обложила тряпками, как обкладывают для перевозки посуду. Но отвлечься было почти невозможно, и мыслими она была там, в Доме предварительного заключения. В голове неотвязно вертелось:

Завтра казнь. Но без боязни
Он мыслит об ужасной казни...

Завтра казнь... Их посадят на высокие позорные колесницы и повезут через весь город на устрашение народа. И ничего нельзя сделать. Ничего. Нельзя даже выйти, чтобы проститься взглядом: Исполнительный комитет запретил ей подвергать себя ненужному риску. Завтра казнь... Господи, если ты есть, дай им силы перенести эту ночь!

Завтра казнь. Но без боязни
Он мыслит об ужасной казни;
О жизни не жалеет он.
Что смерть ему? желанный сон.
Готов он лечь во гроб кровавый...

Около восьми вечера в сопровождении двух морских офицеров появился Суханов. Поздоровавшись, он сразу приступил к делу:

— Внизу ждет кибитка. Что выносить?

Офицеры подхватили по два узла в каждую руку и вынесли все в три приема. Оставив офицеров в кибитке, Суханов вернулся:

— Верочка, я за вами.

Она покачала головой: — Нет, Наум, я останусь.

— Останетесь? — его большие навывкате глаза смотрели на нее с тревогой. — Но ведь за вами могут прийти в любую минуту.

— Не думаю, — сказала она. — Раз до сих пор не пришли, значит, еще ничего не знают. Вечером Исаева допрашивать не будут. А утром я уйду.

— Вам виднее. — Он стоял посреди комнаты. — Слушайте, Верочка, — вдруг быстро заговорил он. — А что, если сегодня за ночь снарядить бомбу и завтра как ахнуть!

— В кого?

— В кого-нибудь. В конвой, в жандармов. Неужели мы можем допустить, чтобы завтра у них все прошло, как намечено? Я понимаю, отбить не удастся, будет слишком сильный конвой. Но сделать хоть что-нибудь, чтоб взбаламутить это болото! Чтоб Соня, Андрей знали: борьба не кончена, а мы за них отомстим.

— Они это знают, Коля, — назвала она его настоящим именем. — Но сейчас мы должны сделать все, чтобы сохранить себя для будущих дел. Прощайте.

Глава двадцать вторая

3 апреля в шесть часов утра пятерых приговоренных разбудили. Подали чай. Затем в особой комнате переодели в специальную одежду: чистое белье, серые штаны, полушубки, поверх них арестантский черный армяк, сапоги и фуражки с наушниками. Одежда Перовской отличалась от других тиковым платьем в полоску, которого, впрочем, не было видно под армяком.

Выйдя во двор, Перовская увидела две телеги. На первой из них сидели Желябов и Рысаков с привязанными к сиденью руками. Рысаков был бледен и, глядя куда-то вперед, кусал губы. Бледным был и Желябов. Увидев Перовскую, он улыбнулся ей какой-то мучительной улыбкой. У Желябова и Рысакова на груди висели черные доски, на которых белым было четко написано: «Цареубийца». Такая же доска висела и на груди Кибальчича, сидевшего во второй колеснице. Над Кибальчичем трудился палач. Ловко работая короткими, поросшими белесым пушком пальцами, он опутал Кибальчича веревками, как паутиной, и теперь натягивал веревку, упираясь ногой в задок колесницы, с таким спокойствием, как будто засупонивал лошадь.

Привязав Кибальчича, палач принялся за Перовскую. Он помог ей подняться на телегу, потом схватил за правую руку, завел за спину и стал крепко прикручивать веревками, пока его помощник делал то же самое с другой рукой.

Говорят, руки Перовской привязали так туго, что она попросила:

— Отпустите немного, мне больно.

Стоявший рядом жандармский офицер, переглянувшись с начальником конвоя, хмуро пообещал:

— После будет еще больше.

Последним вывели Тимофея Михайлова. Он шел, ни на кого не глядя, низко опустив голову. Его посадили рядом с Перовской, и, скосив глаза, она увидела его профиль — широкоскулое простое лицо со вадернутым носом.

И вот преступники усажены на телеги, привязаны. Палач, не дожидаясь своих жертв, отправился к месту казни.

Колесницы с приговоренными выехали из ворот Дома предварительного заключения на Шпалерную улицу в семь часов пятьдесят минут. Народу скопилось видимо-невидимо. Погода была на редкость хороша. Ярко светило солнце, снега почти нигде не было, и робкая зеленая травка пробивалась везде, где могла пробиться.

Увидев выехавшие колесницы, толпа зашумела, стала надвигаться на сдерживавших ее жандармов.

Тем временем огромные толпы народа стекались и к Семеновскому плацу, окруженному казаками и кавалерией, где в полном молчании ожидали прибытия осужденных. Ближе к эшафоту были расположены квадратом конные жандармы и казаки, а еще ближе, на расстоянии нескольких метров от виселицы, пехота лейб-гвардии Измайловского полка.

После восьми часов стало прибывать начальство — градоначальник Баранов, затем прокурор судебной палаты Плеве, прокурор Плющик-Плющевский и прочие.

Все пространство Семеновского плаца и Николаевской улицы было запружено морем народа, но два ряда пеших казаков образовали прямой, как стрела, коридор, выходивший непосредственно к эшафоту.

Эшафот представлял собой черный квадратный помост, обнесенный перилами. На помосте три позорных столба с висящими на них цепями и наручниками. Посредине помоста еще два высоких столба с перекладиной в виде буквы «П», а на перекладине шесть железных колец с веревками (шестая — для Геси Гельфман)¹. За эшафотом стояли две телеги с пятью черными гробами.

Немного в стороне от помоста была сооружена специальная платформа для чинов полицейского и судебного ведомств. Здесь же находились представители русских и иностранных газет и почетные гости. За этой трибуной располагалась группа высших офицеров разных родов войск.

Две колесницы с осужденными приблизились к эшафоту. Представители власти и чины прокуратуры заняли свои места на трибуне. Палач влез в первую колесницу и, отвязав Желябова и Рысакова, передал их своим помощникам, которые ввели приговоренных на помост. Тем же манером были препровождены на помост Кибальчич, Перовская и Михайлов. Желябов шевелил руками и часто поворачивался то к Перовской, то к Рысакову. Стоя у позорного столба, Перовская шарила по толпе глазами, словно кого-то искала, но на лице у нее не шевельнулся ни один мускул, лицо сохраняло каменное выражение. Рысаков, когда его возвели на помост, оглянулся на виселицу, и лицо его исказилось от ужаса.

Гул, прошедший по толпе при появлении колесниц, утих.

Генерал Дризен отдал войскам команду «на караул». Градоначальник Баранов сказал прокурору

¹ Казнь Геси Гельфман была отложена в связи с ее болезненностью. Она умерла в тюрьме вскоре после рождения ребенка.

Плеве, что все готово. Плеве дал знак обер-секретарю Попову, тот вышел вперед и в наступившей полной тишине долго и громко читал приговор.

Михаил Гурьянов, дворник дома номер 25 по Вознесенскому проспекту, придя загодя на Семеновский плац, сумел занять неплохое место неподалеку от эшафота. Не в самой непосредственной близости, не там, где стояла избранная, приглашенная по специальным билетам публика, но и нельзя сказать, чтоб далеко. Отдельные слова приговора долетали даже сюда, но связать их в единую цепь было невозможно из-за купчишки, который, стоя за спиной Михаила Гурьянова, бормотал молитву о спасении душ казнимых злодеев.

— Да замолчи ты! — не выдержав, цыкнул на купчишку Гурьянов. — Дай послушать, что говорят.

Но купчишка, пропустив замечание мимо ушей, продолжал торопливо молиться.

— Между прочим, — ни к кому не обращаясь, сказал господин ученого вида в золотых очках с длинной шеей, укутанной рваным кашне, — повешение является самым гуманным видом смертной казни. Петля, пережимая сонную артерию, прекращает доступ крови к головному мозгу. Наступает помутнение рассудка, и человек впадает в сонное состояние. — Господин снял очки и краем кашне протер стекла. — Смерть через расстреливание может быть гораздо...

Договорить ему не удалось. По прочтении приговора вновь мелкой дробью брызнули барабаны. На помост взошли пять священников с крестами в руках. Осужденные подошли к священникам, поцеловали кресты, после чего священники осенили их кре-

ственным знамением и сошли с помоста. Желябов, Кибальчич и Михайлов поцеловались с Перовской. Рысаков не двигался с места и смотрел на Желябова. Палач снял синюю поддевку, оставшись в красной рубашке. Он подошел к Кибальчичу. Надел на него саван с башлыком, закрывающим лицо, затем надел на шею петлю и слегка затянул ее. То же самое было сделано по очереди с Михайловым, Перовской и Желябовым. Рысаков сопротивлялся, и для того, чтоб его обрядить, палачу пришлось прибегнуть к помощи своих подручных...

Барабаны, не уставая, рассыпали по площади мелкую дробь...

Наконец долгие приготовления были окончены. Палач вернулся к Кибальчичу, помог ему подняться на скамью и дернул веревку. Вероятно, смерть Кибальчича наступила мгновенно, потому что тело его, слегка покружившись, застыло без всяких движений и конвульсий. Михайлова веревка не выдержала, и он рухнул на помост.

По толпе прошел ропот. Кто-то крикнул: «Божий знак!» Дескать, по стародавним обычаям, если осужденный срывается, стало быть, воля божья на то, чтобы больше его не казнить.

Однако время шло к двадцатому веку, и кончалось сентиментальное отношение к старинным обычаям.

Палач торопливо приготовил новую петлю, снова возвел Михайлова на скамью, и снова оборвалась веревка.

Прокурор господин Плеве стоял, сжав зубы. Генерал Дризен нервно комкал в руке белую перчатку. Плеве шепнул что-то секретарю Семякину, тот через перила перегнулся к подставившему ухо жандармскому офицеру, офицер подбежал к помосту и что-то крикнул Фролову. Фролов кивнул головой, после

чего соединил две петли — ту, на которой уже вешал Михайлова, и одну свободную, предназначенную для Геси Гельфман.

Перовская не стала дожидаться, покуда ее столкнули. Как только палач помог ей подняться на скамью, она оттолкнулась сама, и все было кончено. Рысаков цеплялся за жизнь до последней секунды. Уже стоя на скамье, он противился палачу и пытался удержаться, но помощники вытолкнули из-под него скамью, а Фролов сильно толкнул сзади. И Рысаков затих так же мгновенно, как и преданные им товарищи.

В девять часов тридцать минут барабаны смолкли. Вся процедура заняла всего-навсего десять минут.

Палач и его помощники сошли вниз и стали слева от лестницы, ведущей на помост. Снова оживленно гудела толпа. Через двадцать минут военный врач и два члена прокуратуры освидетельствовали трупы, которые затем были положены в гробы, закрыты крышками и отправлены под сильным конвоем на Преображенское кладбище.

Глава двадцать третья

— Да что ты, папаша, неужто не признаешь? — Молодой человек за деревянной перегородкой дымил папироской, держа ее в руке, на которой не хватало трех пальцев. Дворник подслеповато щурился, морщил лоб и виновато оглядывался на сидевшего за столом жандармского офицера.

— Не знаком? — спросил офицер.

— Пожалуй, что нет, — неуверенно жался двор-

— Эх, папаша, папаша,— укоризненно покачал головой молодой человек.— Неужто забыл, как встречались?

— Да и где ж мы встречались? — вконец растерялся дворник.

— Между небом и землей, папаша. Щи вместе лаптем хлебали.

Дворник заискивающе улыбнулся.

— Они шутят,— повернулся он к офицеру, не то спрашивая, не то утверждая.

— Шутят, шутят,— подтвердил офицер.— Шутят с огнем. Иди, дядя, и позови следующего. А вы, молодой человек,— обратился он к арестованному,— напрасно устраиваете эту комедию. Все равно вас опознаем.

— Бог в помощь,— весело откликнулся молодой человек.

Будучи 1 апреля задержан на улице без документов, он отказался отвечать на вопросы о своем имени, звании и месте жительства. Подозревая в нем одного из деятелей Исполнительного комитета, подполковник Судейкин приказал провести перед арестованным всех дворников Петербурга. Десятки дворников прошли за два дня перед арестованным, и пока безрезультатно. Правда, дворник Самойлов, служивший в доме Менгдена, признал в молодом человеке одного из посетителей магазина сыров, но для установления личности арестованного этого было еще недостаточно.

— Здравия желаю, ваше благородие! — огромный детина с дворницкой бляхой на брезентовом фартуке вошел и встал по-военному, вытянув руки по швам.

Молодой человек при его появлении вынул изо рта папироску и повернулся спиной.

— Здравия желаю, господин Кохановский! — поздоровался дворник и с ним.

— Господин Кохановский? — Офицер живо вскочил на ноги и подбежал к арестованному. — Что ж вы, господин Кохановский, не отвечаете? — Голос офицера завибрировал. — Невежливо-с.

— Подите к чертовой матери! — не оборачиваясь, сказал Кохановский.

— Ну, это уж совсем ни в какие ворота, — развел руками офицер и повернулся к дворнику: — Стало быть, вы узнаете этого человека?

— Как не узнать, — сказал дворник. — В нашем доме живет. Вознесенский проспект, 25.

Оставив арестованного на дежурного жандарма, офицер немедленно, как было приказано, провел дворника в кабинет к подполковнику Судейкину. Судейкину дворник объяснил, что арестованный Кохановский вместе с женой поселился в доме по Вознесенскому проспекту зимой этого года. Оба поведения смиренного, ни в чем замечены не были, кто у них бывал, сказать трудно, потому что в том же дворе находится баня и народу всякого ходит бесчисленно, за всеми не уследишь.

— Ну, а как выглядит госпожа Кохановская? — спросил Судейкин.

— Такая из себя чернявая, худенькая, волосы заплетены в косу, — четко отвечал дворник.

— Так, — сказал Судейкин, расхаживая по кабинету. — М-да, — сказал он, остановившись перед дворником. — Значит, чернявая, и волосы заплетены в косу?

— Так точно! — ответил дворник.

— Интересно, — сказал Судейкин. — Прелюбопыт-по, — добавил он.

Подойдя затем к железному шкафу, подполковник открыл дверцу, порылся, достал довольно пухлую папку, вернулся к столу.

— Поди-ка сюда, — поманил он дворника. И когда тот подошел, распахнул папку: — Она?

В папке поверх прочих бумаг лежала фотография молодой женщины с темной косой, уложенной вокруг головы.

— Она! — ахнул дворник. И опасливо покосился на Судейкина. — Ваше высокоблагородие, — спросил он с живейшим интересом, — а чего ж это она такое исделала? Ай украла чего? Да вроде бы не похоже.

— Не похоже? — хмыкнул Судейкин. — На Семёновском плацу был нынче?

— Был.

— Видел, как вешали государственных преступников, изменников и цареубийц?

— Видел, ваше высокоблагородие, — сказал дворник, понизив голос, и перекрестился.

— Так вот, и она из этих, виселица по ней давно уже плачет, — сказал Судейкин, захлопывая папку. И дворник, хотя и очень-то был силен в грамоте, успел все же прочитать на обложке фамилию: «Филиппова-Фигнер».

Спустя полчаса четыре экипажа, набитые жандармами, остановились перед воротами указанного дворником дома. Подполковник Судейкин лично руководил операцией. Он велел перекрыть все выходы со двора и в сопровождении шести жандармов и дворника поднялся к дверям квартиры, где жили Кохановские. На звонок никто не ответил. Дворник открыл дверь своим ключом. Войдя в квартиру, Судейкин не обнаружил в ней ничего и никого. Квартира была чисто убрана, в ней не было никаких следов поспешного бегства. Но пустой шифоньер, пустой сундук в коридоре и полное отсутствие всякой одежды говорили о том, что хозяйка покинула квартиру, и, по-видимому, навсегда.

— Да-с,— задумчиво сказал Судейкин, стоя посреди гостиной,— птичка упорхнула.— Он подошел к стоявшему на столе самовару и потрогал его. Самовар был еще горячий.— И упорхнула перед самым нашим носом,— добавил Георгий Порфирьевич.

Глава двадцать четвертая

Осенью 1882 года на одной из тихих улиц Харькова поселилась скромно одетая, неприметная женщина, ученица земского повивального училища Мария Дмитриевна Боровченко. Образ жизни вела уединенный, из дому выходила редко, и у себя почти никого не принимала. Это была Вера Николаевна Фигнер. Не та Верочка, заводила и шалуныя, в которую влюблялись чуть ли не поголовно все ее суровые товарищи, не та нетерпеливая и несколько даже капризная Верочка, которая получила прозвище Топни-Ножка. Это была усталая женщина, выглядевшая старше своих тридцати лет.

Со времени ее вступления в Исполнительный комитет произошло много событий. Были взлеты. Была ослепительная удача на Екатерининском канале. После этого пошла черная полоса — провалы, аресты, один за другим процессы. И жестокие приговоры. Кому виселища, кому расстрел, кому вечная каторга. А полиция продолжает разыскивать следы Исполнительного комитета, не подозревая, что из всего комитета остался на свободе один человек — Вера Фигнер.

Что она делала эти два года без малого? Переезжала из города в город (Петербург, Москва, Одесса, Харьков, Орел, Воронеж, Киев, снова Москва, снова

Одесса, снова Харьков). Пыталась возродить организацию, по собственному ее выражению, «связывала разрозненные нити». Но нити выскальзывали из рук, все рушилось.

Нельзя сказать, что за это время не было сделано ничего. Кое-что делалось. Поддерживалась постоянная связь с границей, хотя и с трудом, доставались необходимые партии средства, в Одессе удалось, наконец, осуществить долго готовившееся убийство прокурора Стрельникова (Халтурин и Желваков, исполнившие приговор Исполнительного комитета, были арестованы на месте убийства, а затем поспешно осуждены и повешены). В Николаеве и Одессе продолжали действовать под руководством Ашенбреннера два военных кружка. В Одессе же была устроена типография, хозяином которой назначен Сергей Дегаев.

Да, было сделано многое, но не было самого главного: не было центра, способного, подобно Исполнительному комитету, возглавить организацию в ее борьбе с самодержавием. Создать этот центр, «воссоздать подобие того, что было разрушено», собрать людей, которые смогут взять на себя эту ответственность в новых, тяжелейших условиях, было главнейшей задачей Веры Фигнер.

«Воссоздать подобие того, что было разрушено». Но возможно ли это? Возможно ли, если народ и общество, вопреки ожиданиям «Народной воли», не оказались потрясенными до самого основания событиями 1 марта и не пришли в движение после смерти царя и казни первомартовцев? Возможно ли, если лучшие силы погублены, сосланы, арестованы и из всех членов Исполнительного комитета осталась она одна?

Но с другой стороны, возможно ли и быть бездейственной и опустить руки или, подобно Тихомирову,

уехать за границу, в то время как все оставшиеся революционные силы с надеждой смотрят на нее, находя в ней одной уверенность в возможности продолжения борьбы. (В одном из писем, полученных Верой в то время, какая-то молодая девушка писала ей, что «на темном горизонте ее омраченной души одна светлая звездочка» — Вера Фигнер. После ареста Фигнер она покончила с собой, бросившись под поезд.)

Нет, необходимо сделать все, что в ее силах. И пусть этих сил не всегда хватает, пусть приходят минуты отчаяния — это только наедине с собой. На людях она должна быть спокойной, уверенной в будущем. Это особенно важно сейчас, когда разгромлена московская организация, закрыты типографии в Минске и Витебске...

А ее давно уже разыскивают в Москве и в Петербурге. По Одессе, пытаясь встретить ее на улице, бродит ставший предателем Василий Меркулов.

Пока ей удавалось избежать ареста. Случайность? Может быть, чудо? Может быть, чудо, но полиция идет по пятам, и кажется, все же ей недолго осталось быть на свободе. Велика Россия, а спрятаться негде.

В октябре разыскал ее писатель Николай Константинович Михайловский, писавший когда-то статьи в «Народной воле». Он приехал в Харьков с необычной миссией. Министр императорского двора граф Воронцов-Дашков намекнул литератору Николадзе (а тот в свою очередь Михайловскому), что правительство желало бы вступить в переговоры с партией «Народная воля».

— Правительство, — передал Михайловский слова Воронцова-Дашкова, — утомлено борьбой с «Народной волей» и жаждет мира. Если «Народная воля»

решится воздержаться от террористических актов до коронации, то при коронации будет издан манифест, дающий полную амнистию политическим заключенным, свободу мирной социалистической пропаганды, свободу печати. В доказательство своей искренности правительство готово освободить кого-нибудь из осужденных народовольцев, например Исаева. Вера Николаевна, я считаю, что это победа!

Вера хмурилась.

— Не думаю, чтоб это была победа. Обычный полицейский прием. Полиция или хочет обеспечить безопасность коронации, или ухватить нить, за которую можно вытянуть на свет всю организацию.

— Вера Николаевна,— убеждал Михайловский,— а я уверен, что это искренне. Царь до сих пор не решается короноваться и сидит в Гатчине. Правительство действительно устало и боится.

— Наивный вы человек, Николай Константинович. Вспомните Гольденберга. Ему говорили то же самое:

— Ну хорошо,— сказал Михайловский.— Ответьте мне на такой вопрос: способна ли сейчас ваша партия на какие-нибудь террористические действия?

— Нет,— сказала Вера.— Если сказать вам правду, то положение нашей организации не дает надежд на это.

— В таком случае вы ничего не теряете, а выиграть кое-что все же можете.

— Да, это правда,— согласилась она.— Тогда, пожалуй, нужно сделать так. Вы скажите Николадзе, что никого из Исполнительного комитета не нашли, что все за границей, пусть за границей правительство и вступает в переговоры. А я пошлю кого-нибудь к Тихомирову и Ошаниной, предупрежу их. Спасибо вам, Николай Константинович. Получится из этого

дела что-нибудь или нет, не знаю, во всяком случае я очень рада, что вас повидала.— Она проводила его в прихожую и терпеливо ждала, пока он надевал на себя свою роскошную шубу.

— Ну, прощайте, Вера Николаевна.

Она подала ему руку. Он вдруг обхватил ее голову и стал осыпать поцелуями щеки, глаза, нос.

От неожиданности она перепугалась.

— Что вы, господь с вами, Николай Константинович,— отталкивалась она руками.

А он все продолжал ее целовать и бормотал что-то, чего она сначала не смогла разобрать, а потом поняла.

— Бедная,— говорил Михайловский,— бедная, бедная!

Потом так же неожиданно ее отпустил.

— Прощайте, Вера Николаевна.— И, резко повернувшись, вышел.

Некоторое время она стояла в прихожей, не могла опомниться. Потом медленно пошла в комнату. Подошла к зеркалу. Из зеркала на нее смотрело старое осунувшееся лицо. Да, бедная. Она провела рукой по лицу, как бы желая снять усталость, и тут же рассердилась на Михайловского. «Бедная!» Как будто дело в ней! Необходимо возродить партию. После стольких арестов, смертей, пролитой крови, после всего пережитого невозможно, чтобы деятельность партии оборвалась. Нельзя ни уставать, ни жалеть себя и друг друга, нельзя опускать руки — надо бороться.

«Милые, дорогие мои. Письмо ваше получила — оно тронуло меня до глубины души, до слез. Право, я не заслуживаю ни такой любви, как ваша, ни такого уважения, которое высказываешь ты, дорогая

Оля. Среди всех несчастий, которые так и сыплются на мою долю, потому что тяжелый, страшно тяжелый период переживает наша партия, отрадно хоть на минуту забыть все тяжелое и мрачное и быть растроганной любовью. Я не могу и не должна вам говорить о том, что я испытывала, переживала и переживаю вот уже год. Вся моя энергия уходит на то, чтобы скрыть свое внутреннее состояние и быть бодрой для других. Есть стороны общественной жизни, которые еще тяжелее простых неудач, — это то психическое состояние, которое создается в обществе вследствие этих неудач и которое наполняет душу то ужасом, то отчаянием, то гневом... Я чувствую себя несчастной, глубоко несчастной...»

«Я чувствую себя несчастной, глубоко несчастной», — повторил про себя Георгий Порфирьевич и усмехнулся. Ах ты моя радость, ах ты моя прелесть! Она глубоко несчастна. Наша птичка утомилась, у нее ослабли крылышки. Что ж, самый момент, пожалуй, накрыть ее шапкой — и в клетку!

Георгий Порфирьевич был нездоров. Да и как быть здоровым при такой беспокойной службе: вся жизнь на колесах, мотаешься из города в город, спишь в казенных квартирах, нервное напряжение, сквозняки, клопы и нерегулярное питание. Потому и нападают время от времени на подполковника то чих, то кашель, то несварение желудка, иногда по отдельности, а теперь вот нашло все разом. И лежит подполковник Судейкин, наглотавшись порошков, в одесской гостинице в ожидании собственного благополучного выздоровления и читает чужое письмо, которое очень кстати перехватили. Правда, Судейкину доставили копию, а подлинник сразу отправили дальше, чтоб не спугнуть. Судя по почтовому штемпелю, который был на конверте, письмо отправлено из Орла. Впрочем,

это ничего не значит. То есть как раз и значит, что отправитель может жить в каком угодно городе, только не в Орле.

«...Я чувствую себя несчастной, глубоко несчастной. Не подумайте, что меня одолевают какие-нибудь сомнения, разочарования. Нет. Я твердо убеждена и в правоте идеи, и в правильной постановке нашего дела, в неизбежности именно того пути, которым мы идем; с этой точки зрения недаром была пролита кровь столько мучеников. Эта кровавая полоса установила твердо, незыблемо цель и средства, незыблемо до тех пор, пока не изменятся коренным образом условия жизни и нашей деятельности. Но в жизни каждой партии, каждой организации были кризисы, переживать которые мучительно. Такие кризисы были в истории всех заговоров, всех движений к свободе. К сожалению, для переживания таких периодов надо иметь особые личные свойства: тяжесть их прямо пропорциональна чувствительности, нервозности, измученности субъекта. Я видела в прошлом и в настоящем людей, которые отступали под напором обстоятельств и убегали от всех и всего в такие тяжкие времена, другие гибли, исчезали со сцены. Я же существую, как вечный жид, и бежать не хочу. Если вы хотите добра мне, то пожелайте мужества и силы, чтобы с пользой прожить до момента, когда, приспособившись к условиям, воспользовавшись всеми уроками прошлого и на основании всего раньше сделанного, партия снова начнет свое шествие вперед. Тогда можно с улыбкой идти и на эшафот.

Обнимаю вас, мои дорогие, до первого объятия в тюрьме — лишь бы при лучших условиях для партии».

— Стало быть, «до первого объятия в тюрьме», — вслух обратился Георгий Порфирьевич к Вере Фигнер, как бы представляя ее сидящей у своей постели.

ли. — Ну что ж, моя прелесть, вы, я вижу, и сами уже смирились, сами готовы, а мы поможем. Да, — подтвердил он с оттенком осознанного благородства, — это наш долг, и не нужно нас благодарить. Насчет лучших условий для партии ничего обещать не могу, а объятия в тюрьме устроим.

Разговор действительного подполковника Судейкина с воображаемой Верой Фигнер был прерван появлением денщика, который доложил, что вызванный срочно агент доставлен и ждет в передней.

— Прекрасно, — живо отозвался Судейкин. — Пусть войдет.

В комнату вошел невысокого роста человек с несколько настороженным взглядом.

— Желаю здравствовать, Георгий Порфирьевич. Как здоровье?

Он старался держаться на равной ноге, старался даже быть фамильярным. Но нет, не получалось у него этого. Не получалось на равной ноге. Не получалось фамильярно.

— Хорошие вести для меня лучшее лекарство, друг мой, — снисходительно сказал Георгий Порфирьевич.

— А есть хорошие вести?

— Почитай.

Посетитель взял из рук Судейкина письмо и стал читать. Судейкин пристально следил за его реакцией и заметил, что на лице агента появилось страдальческое выражение.

— Жалко тебе ее? — резко спросил Судейкин.

— Жалко, — признался агент.

— Что делать, друг мой, что делать! — вздохнул Судейкин. — Дело наше такое, что личные чувства надо отставить. Последняя жертва на алтарь отечества, а потом...

— Не знаю, Георгий Порфирьевич, что будет потом, а пока вы сделали из меня заурядного шпиона.

— Ну уж скажешь тоже — шпиона. Мне и самому, брат, приходится заниматься черной работой. И я тебя понимаю и сочувствую. Ты ведь, кажется, был в нее влюблен?

— Да, она мне нравилась, — с некоторым даже вызовом сказал агент.

— Еще бы, — сказал Судейкин. — Она мне и самому нравится. Хотя я ее никогда не видел. Внешне очень хороша, а характер — камень. Очень сильный характер. .. ведь за ней давно иду след в след. Сколько раз уходила перед самым носом! В Петербурге, когда опознали Исаева и явились на квартиру, самовар еще был горячий. Теперь, думаю, не промахнемся. — Он пытливо заглянул в глаза агента. — Ты не вздумай выкинуть какой-нибудь номер. Ты у меня весь в руках. Если что, все твои показания станут известны. Но я тебя не шантажирую. Я тебя призываю: будь моим товарищем до конца, и мы сотворим такое... Мы весь мир удивим. — Он приподнялся на локте. Пижама раскрылась, обнажив его волосатую впалую грудь. В глазах подполковника появился безумный блеск. — Вот возьмем твою Фигнер и на этом пока закончим. Больше трогать никого не будем. Во всяком случае, в ближайшее время. И приступим к осуществлению главной части нашей программы. Где-нибудь в Петербурге, допустим в Летнем саду, ты со своими товарищами по партии устраиваешь на меня покушение. Я ранен (конечно, легко), выхожу в отставку. Только я вышел в отставку, умершая уже, казалось, «Народная воля» активизирует свою деятельность. Взрывы, выстрелы из револьверов, несколько удачных покушений и наконец убийство министра внутренних дел графа Дмитрия Андреевича Толстого. Для отече-

ства, я думаю, это будет потеря не очень большая, а для нас — рубикон. Среди окружения его величества начинают поговаривать, что вот, мол, покуда был Судейкин, все было спокойно, Судейкин ушел — опять начались безобразия. У государя складывается отчетливое мнение, что надо призвать Судейкина и назначить... кем? — Судейкин выдержал паузу и, округлив глаза, сказал шепотом: — Министром внутренних дел. А? Видишь, что мы с тобой вдвоем можем сделать. Но это еще не все. Я не настолько мелок, чтобы стремиться к чину рядового министра. Нет, мы с тобой пойдем дальше. Ты у меня будешь ведать подпольной Россией, я — надпольной. Ты кого-то будешь убивать, я кого-то ловить, всех запугаем до смерти, царя загоним в Гатчину, чтоб он оттуда и не вылезал, и вдвоем (вдвоем, понял) — ты да я — будем править этой страной. — От перевозбуждения Судейкин закашлялся, покраснел.

— Что с вами, Георгий Порфирьевич? — всполошился агент. — Кого позвать? Врача? Денщика?

Захлебываясь в кашле, Судейкин помотал головой. Придя в себя, он лег на спину, смахнул выступившие от напряжения слезы, но еще долго трудно дышал.

— Ничего, брат, — закрывая глаза, сказал он усталым голосом. — Это пройдет. Не обращай внимания. Поезжай с богом и возьми с собой Ваську Меркулова. Сам не раскрывайся.

Глава двадцать пятая

В конце декабря 1882 года из Одессы пришло сообщение: разгромлена типография, организованная Сергеем Дегаевым. Все работавшие в типографии, в том числе и сам Дегаев с женой, арестованы. А спустя ме-

ся, придя к своим харьковским друзьям Тихоцким, Вера увидела за столом Сергея Дегаева. В чистой белой рубашке он сидел перед самоваром и пил чай, наливая его из расписанной цветами чашки в глубокое блюдо.

— Боже мой! — удивилась Вера. — Каким образом?

Дегаев шагнул навстречу, обнял ее.

— Бежал, Вера Николаевна, — сказал он волнуясь.

— Как вам удалось?

— Сейчас все расскажу. Да вы садитесь, попейте чаю с морозу.

Они сели. Софья Адольфовна Тихоцкая подала Вере чаю.

— Ну, я вас слушаю, — подняла Вера глаза на Дегаева.

— Ну, значит, было так, — не торопясь, начал Дегаев. — Как вы уже знаете, наша типография была разгромлена. Арестованы Калюжная, Спандони, Суровцев и я. С самого начала я решил попытаться бежать. Из Одесской тюрьмы бежать никак невозможно, тогда я придумал уловку и говорю следователю, что в Одессе показания давать не желаю, а дам в Киеве, где жил до Одессы. Жандармы долго не соглашались, но потом видят — не поддаюсь, согласились. На вокзал повезли вечером в пролетке. Один жандарм слева, другой — справа. Едем. Выезжаем на какой-то пустырь, я говорю себе: «Пора!», достаю из кармана горсть табаку и — в глаза жандармам. Полгорсти одному, полгорсти другому, спрыгнул на ходу и — дай бог ноги. Как бежал, не помню. Выстрелы уже потом услышал, когда далеко был.

— Где вы взяли табак? — поразились Вера. — Вы же не курите?

— Я не курю, — согласился Дегаев, — но табак купил заранее.

Вера была потрясена. В таких ситуациях очень редко кому удавалось бежать. А вот Дегаев ухитрился. Она посмотрела на его измученное лицо:

— А где же вы ночевали?

Дегаев смутился, заколебался, видимо, не хотел отвечать, но потом посмотрел ей прямо в глаза и твердо ответил:

— Я ночевал в нехорошем месте.

Теперь смутилась Вера. Она понимала, что для своего спасения революционер имеет право прятаться везде, в том числе и в публичном доме, но все же было неловко. Она замяла эту тему и стала расспрашивать дальше, как все же удалось ему, разыскиваемому, выбраться из Одессы.

— Дальше все было проще, — сказал Дегаев. — Сначала прятался в Одессе у Крайского, потом в Николаеве. Несколько дней переждал и — сюда. Приехал — ни адресов, ничего. Явился к Гурскому, на имя которого должен был писать вам. Говорю ему, что мне надо с вами увидеться, он уперся и ни в какую, уломать его было труднее, чем убежать от жандармов. — Дегаев улыбнулся: — Но вот я перед вами.

— Ну и слава богу, — сказала Вера. — Я очень была огорчена вашим арестом. Как вы думаете, что навело полицию на ваш след?

— Трудно сказать, — подумав, сказал Дегаев. — Возможно, ящики и сундуки со шрифтом. Когда их перевозили, пришлось нанять носильщиков, а носильщики удивлялись, что ящики слишком тяжелые. Что, говорят, у вас здесь? Золото, что ли?

— Вы думаете, носильщики и донесли?

— Думать-то я думаю, — сказал Дегаев, — но у

меня есть подозрения и похуже. Мне кажется, что выдает кто-то из нелегалов.

— Кто же может там выдавать?

— Я вам говорю: кто-то из нелегалов.

— Да ведь там, кроме вашей жены, Спандони, Суровцева и Калюжной, никаких нелегалов нет. А они люди верные.

— Я ни про кого из них ничего дурного сказать не могу, но, если полиция арестовала всех сразу на разных квартирах, это о чем-то говорит.

В ту ночь она долго не могла заснуть, лежала с открытыми глазами и думала над словами Дегаева. Почему он настаивает на том, что выдает кто-то из нелегалов? Разве можно поверить, что кто-нибудь из них способен на предательство? Но ведь были же случаи, когда самые проверенные товарищи, попав в лапы жандармов, становились на этот путь. Кто мог подумать на Гришку Гольденберга, отчаянного террориста, который всегда был готов участвовать в самых рискованных предприятиях, а вот поди ж ты! А Рысаков... Или Меркулов — сколько было переговорено с ним!

Откуда же берутся предатели? Что принуждает их к этому? Страх? Да, страх. Страх смерти. Страх пожизненного сидения в каменном мешке. Страх казни.

Но разве раньше, когда они вступали в партию, они не думали о том, что все это может кончиться смертью? Разве не приговорили они себя сами? Приговорили. Так почему же?

Потому, что многие из них, готовые, не задумываясь, отдать свою жизнь в деле, не могли выдержать спора с жандармами, изощренными, изучившими все слабости человека, опытными, знающими, кого пугать смертью, кого пытками, кого издевательствами над

родителями, ~~кого~~ соблазнить утерянной свободой (ведь в настоящей мере человек понимает, что такое свобода, только тогда, когда он ее потерял), а кого и просто деньгами.

Гольденберга убедили в том, что, выдав товарищей и таким образом заставив их прекратить борьбу с правительством, он поможет правительству произвести необходимые реформы как раз в том направлении, в каком и хотела бы партия «Народная воля». И, ставя благо своей страны выше всего, Гольденберг поверил и стал предателем, а потом, поняв, что натворил, повесился.

Жандармы были хитрые, опытные, вооруженные, они играли в искренность, и их противники, люди действительно искренние и потому не способные понять до конца всю степень вероломства, которую может продемонстрировать человек, иногда попадались на эту удочку.

При аресте их подвергали таким испытаниям, которые вообще человек не должен выдерживать. Выдерживали самые сильные, но это были люди выдающиеся.

Вера все лежала с открытыми глазами, думала, вспоминала свой разговор с Дегаевым, и что-то мучило ее, ускользало, снова возвращалось. Какое-то сомнение в том, что говорил Сергей. И вдруг одна мысль пронзила ее: «Почему, когда я удивилась, что он не курит, Дегаев сказал: «Я не курю, но табак купил заранее». Ведь он хорошо знает, что в глаза следует сыпать табак не курительный, а нюхательный».

При следующем свидании, которое произошло через несколько дней, уже в ее квартире, она спросила его об этом.

Он не смутился нисколько:

— Вера Николаевна, да потому я так и сказал, 355

что не курю и не нюхаю табак, и не вижу в нем никакой разницы. Табак был действительно нюхательный, но сейчас я про это уже позабыл.

Вера смутилась. Стало неловко за свой вопрос, который ставил под сомнение рассказ товарища. А товарищ был испытанный. Она знала несколько лет и его, и всю его семью. Может быть, он не был слишком умен, может быть, по характеру был слишком мягок и не мог влиять на других. Но он был очень полезен как человек, легко вступавший в самые разнообразные связи, и был незаменим как посредник между партией, с одной стороны, и военными кружками в Петербурге, Кронштадте, а потом в Николаеве и Одессе — с другой. Вера знала его младшего брата Володю, его сестер, они все так или иначе участвовали в движении. Знала и его жену.

Кстати, сейчас он пришел поделиться своей тревогой:

— Понимаете, я не могу радоваться свободе, пока жена моя остается в тюрьме. Где она, что с ней будет?

— Я вас понимаю, — сказала Вера с сочувствием. — Но надеюсь, ничего страшного ей не грозит. Жандармы скоро разберутся, что она не принадлежит к революционной партии.

Дегаев с сомнением покачал головой:

— Может быть, в этом они и разберутся. Но все-таки она работала в нелегальной типографии, и этот факт никуда не спрячешь.

— Вы неправы, — убеждала Вера. — Совершенно очевидно, что на такое рискованное дело жена ваша пошла исключительно из любви к вам, а жандармы больше всего боятся тех, которые идут по собственным убеждениям.

Она говорила, но словам своим и сама не верила, хорошо зная, что полиция не то место, где будут дол-

го разбираться в мотивах. Ей очень хотелось помочь Дегаеву, и она спросила, где сейчас его родные.

— В Белгороде, — сказал он.

— Давайте договоримся так: я пошлю туда человека, чтобы известить их о случившемся. Пусть мать или Лиза едут в Одессу хлопотать о поруках. Если внести залог, жену вашу обязательно выпустят. Вы согласны?

— Мне в моем положении, — усмехнулся Дегаев, — приходится соглашаться на любые предложения. Спасибо вам. Я всегда знал, что в вас найду поддержку, хотя бы моральную. — Он был растроган и говорил дрожащим голосом. — Вы-то сами здесь в безопасности?

— Да, в полной безопасности, — уверенно ответила Вера.

— Вы уверены в этом?

— Ну да. Разве что Меркулов встретит меня на улице, — сказала она как о чем-то совершенно невероятном.

— Берегите себя, — с чувством сказал Дегаев. — Без особой нужды не ходите по улицам. В котором часу вы обычно выходите из дому?

— Обыкновенно в восемь часов, когда утром ученицы фельдшерских курсов идут на занятия. Ведь я живу по документу одной из них.

— Но все-таки я вам советую: старайтесь поменьше бывать на улице.

Уходя, он спросил:

— Есть ли кроме калитки еще какой-нибудь выход?

— Есть. Через мелочную лавочку, которую держат хозяева, но я через нее никогда не хожу.

Этот разговор состоялся 9 февраля 1883 года.

10 февраля она вышла из дому ровно в восемь часов утра. Надо было срочно устроить одну женщину, приехавшую в Харьков без всяких средств и обратившуюся к ней за помощью. Еще надо было зайти к Тихоцким посоветоваться, кого послать в Белгород для передачи письма матери и сестре Дегаева.

Дул ветер, по обледенелому булыжнику мостовой стелилась поземка. Она подняла воротник и поглубже упрятала руки в муфту. Пройдя несколько шагов, увидела выходящего из-за угла человека. Она еще не узнала его, но почувствовала, что сердце замирает и ноги становятся вялыми. Вот они поравнялись. Меркулов улыбнулся как ни в чем ни бывало:

— Здравствуйте, Вера Николаевна!

Она растерялась и ответила механически:

— Здравсьте!

И пошла дальше все тем же торопливым шагом, отворачивая от ветра лицо. Одна мысль сменяла другую: «Попалась? Кажется, да. Но почему же он не схватил меня сразу? Почему он был один? Почему вокруг не видно ни полиции, ни жандармов? Может быть, это просто случайная встреча. Может быть, еще можно бежать. Скрыться как будто некуда. Ни проходных дворов, ни квартир кого-нибудь из знакомых поблизости нет. Что в кармане? Записная книжка с двумя-тремя фамилиями людей, не имеющих никакого отношения к партии. Почтовая квитанция на деньги, отправленные в Ростов. Надо уничтожить, там указана фамилия получателя».

Она вышла на Екатерининскую улицу. Там за сквером живет токарь Ивашов с женой — очень милые люди. Если резко шатнуться во двор...

— Куда, дамочка?

Перед ней стоял огромного роста жандарм с запыленными усами.

Она инстинктивно отпрянула назад и попала в чьи-то грубые объятия.

— Пустите! — слабым голосом сказала она, понимая всю бессмысленность своей просьбы.

На саних в сопровождении двух жандармов, мертвой хваткой вцепившихся в локти, ее доставили в жандармское управление. Втолкнули в маленькую комнату с ободранными обоями, где уже дожидались две женщины, тут же приступившие к обыску.

— Не трогайте, я вам сама все отдам!

Она вынула из кармана портмоне, выхватила квитанцию и — в рот.

— Клавка! — закричала одна из женщин. — Ты погляди, она чего-то съела.

— Онуфренко! — закричала другая.

Вбежал Онуфренко, тот самый жандарм с усами, и схватил арестованную за горло. Она вырвалась и засмеялась притворно, показывая, что он опоздал. Жандарм отступился. И напрасно. Она никак не могла проглотить сухую бумажку. Потом уж она прожевала ее и проглотила.

После обыска ее ввели в обширный кабинет. За столом сидел хмурого вида жандармский генерал в неопрятном мундире.

— Генерал Турцевич, — представился он. — А вы кто?

Собираясь с мыслями, Вера молчала.

— Я вас спрашиваю, — напомнил Турцевич.

— Если арестовали, то сами должны знать кого.

— Онуфренко, — сказал генерал все тому же, усатому. — Позови.

Онуфренко вышел. Вместо него вошел Меркулов.

— Что, не ожидали? — нахально улыбнулся он.

— Негодай! — Вера рванулась к нему. Меркулов инстинктивно попятился.

— Перестаньте! — охладил ее генерал. — Что вы проглотили во время обыска?

— Что надо, то и проглотила.

— Это? — Турцевич показал на коричневые крупинки химических чернил, вынутые из ее портмоне.

— Это, — согласилась Вера.

— Это яд?

— Яд, — охотно подтвердила она.

— Онуфренко!

— Я здесь! — Онуфренко выскочил из соседней комнаты.

— Отвести арестованную в замок и дать горячего молока, да побольше. Вызвать доктора, она, кажется, отравилась.

Глава двадцать шестая

Арест Фигнер произвел в Петербурге сенсацию. Его величество Александр III воскликнул: «Слава богу! Эта ужасная женщина арестована!» Он даже заказал портрет «ужасной женщины», который и был выполнен в фотографии Александровского и Таубе на Невском проспекте.

Едва только под усиленной охраной арестованную доставили в Петербург, как высшие сановники изъявили желание взглянуть на нее собственными глазами. Все испытывали любопытство, всем хотелось лично познакомиться с этой легендарной народоволкой, за которой так долго охотилась вся полиция.

Директор департамента полиции господин Плеве Вячеслав Константинович был подчеркнута груб.

Когда ввели к нему арестованную, он, не поднимая глаз, кивнул на ряд стульев:

— Возьмите стул, садитесь.

Голос у него был резкий, скрипучий.

— За последнее время, кого ни арестуешь из учащейся молодежи, от всех только и слышишь: Фигнер! Фигнер! Неужели вас удовлетворяли подобные восторги? — И вдруг влез в самую душу: — А может быть, вы так устали, что рады тому, что наступил конец?

Вера молчала. Может быть, он был прав. Может быть, теперь она действительно рада. Хотя 10 февраля у нее такого ощущения не было. Плеве откинулся на высокую спинку стула.

— Расследование по вашему делу началось. Ввиду его особой важности им интересуются все, включая государя императора. С вас будут снимать допросы... Я вам советую не запираться, сообщить все, что вам известно; только чистосердечное признание сможет облегчить вашу участь. В противном случае дело для вас может кончиться плохо, очень плохо. Вы меня понимаете?

— Понимаю, — сказала Вера.

— Тогда назовите мне имена важнейших членов вашей партии, которые еще на свободе.

— Вы надеетесь, что я сразу исполню все ваши пожелания? — усмехнулась арестованная.

— Почему бы нет? Я вас предупредил, что дело ваше серьезно и только чистосердечное признание...

— ...может облегчить вашу участь, — закончила Вера.

— Вашу, — подчеркнул Вячеслав Константинович. — Итак, я жду. — Он вытащил из кармана золотой брегет и щелкнул крышкой. — Не желаете отвечать на этот вопрос? Хорошо, ответите потом. У нас есть сведения, что в «Народной воле» сотрудничали некоторые известные легальные литераторы. Вы не могли бы мне сообщить их фамилии? — он обмакнул

перо в чернила и занес его над бумагой, как бы готовясь писать.

— Не могу, — улыбнулась Вера.

— Ну, хорошо, не можете так не можете, — неожиданно легко согласился Плевел. — Я понимаю, что у вас есть свои понятия о чести, которых я, впрочем, не разделяю, но в таком случае назовите хотя бы их произведения. Те, что они публиковали в легальной печати. А? — Плевел хитро сощурился.

Вера улыбнулась.

— Я думала, — сказала она медленно, — что директор департамента по уровню своего развития стоит выше городского.

Директор департамента залился краской.

— Можете идти. Но запомните: другие с вами будут говорить строже и запирательство вам дорого обойдется.

Министр внутренних дел Дмитрий Андреевич Толстой встретил приветливей:

— Какой у вас скромный вид! Признаюсь, я ожидал совсем другого.

— Например? — поинтересовалась Вера.

— Ну, я думал введут женщину саженного роста с пылающим взором и громоподобным басом, а вы вполне изящное существо интеллигентного вида, и весь ваш облик как-то не вяжется с бомбами, взрывами и убийствами. Вот смотрю я на вас, на молодежь, и скажу вам правду, по-стариковски, жалко мне вас, что силы свои молодые тратите бог весть на что, вместо того чтобы употребить их в служение родине и государю.

— Насчет родины у нас с вами понятия разные, а об государе давайте не будем.

— Ах да, конечно, вы же ниспровергатели. Ваша программа только разрушать, мы хотим строить. А дело это сложное, с бухты-барахты в таком большом государстве ничего не получится. Надо постепенно. Надо сначала привить народу любовь к образованию. Вы противники царя, противники классического образования. Вам только бы убивать. И насчет меня, я слышал, соответственные намерения имеете. А к чему? Ну, допустим, вам даже удастся меня ухлопать, на мое место другой встанет, такой же, а может, еще и потверже, потому что каждое действие вызывает противодействие. И с царями то же самое: одного убьете, на его место встанет другой. Другого убьете, найдется и третий. Свято место пусто не бывает, не так ли? Жаль нет времени, а то я убедил бы вас,— сказал он почти уверенно.

— Я тоже жалею,— поднявшись, сказала Фигнер.— Надеюсь, я обратила бы вас в свою веру.

— Эх, мадам, мадам,— сочувственно сказал министр.— На краю пропасти, а все шутите.

Вскоре после этого разговора подследственную перевели из департамента полиции в Петропавловскую крепость. Оттуда почти ежедневно в сопровождении капитана Домашнева ездила она на допросы. Допросы были ей в тягость. Все одно и то же. Кто из членов «Народной воли» еще на свободе? Что вы знаете о таком-то и о таком-то?

— Послушайте,— сказала однажды Вера прокурору Добрыжинскому.— Не теряйте понапрасну времени. Что касается моего личного участия в революционном движении до первого марта, я готова изложить в письменном виде, поскольку мои показания будут касаться событий, которые уже раскрыты, и

лиц, которые осуждены. Что касается дальнейшего, то никаких показаний я все равно давать не буду. Поэтому прошу вас больше меня не вызывать, а дать мне в камеру бумаги и чернил, я напишу все, что сочту возможным, и буду сдавать свои показания по мере их написания зрителю.

На том и порешили.

Прошел еще месяц или полтора.

Однажды дверь в камеру распахнулась, вошел высокий пожилой человек с довольно умным и симпатичным лицом в форме жандармского генерала. Вошел один, без всякого сопровождения и прикрыл за собой дверь.

— Моя фамилия Середа,— сказал он.— По высочайшему повелению я назначен для расследования политической пропаганды в войсках по всей империи. Позвольте вашу руку.

Не понимая, в чем дело, Вера послушно протянула руку. Он взял ее двумя своими и наклонился. Вера хотела отдернуть руку, но он удержал и поцеловал ее.

— Есть указание, чтобы жандармы целовали государственным преступникам руки? — спросила она насмешливо.

— Позвольте сесть,— не ответил на ее иронию генерал.

— Здесь распоряжаетесь вы, а не я.

Он придвинул к себе табурет, сел и посмотрел на Веру, как ей показалось, с сочувствием.

— Вы хороший человек,— сказал он.— Ваше несчастье, что, выйдя замуж, вы не имели детей.

— Думаете, что, имея детей, я вела бы себя иначе? — спросила Вера.

— Думаю,— спокойно сказал Середа.— Говорят, что обязательства перед детьми не должны сдержи-

вать человека в его поступках. Я нахожу это утверждение не только крайне неверным, но и безнравственным, ибо обязанности перед детьми ставлю не ниже обязанности перед отечеством. Человек может располагать своей жизнью, но не жизнью ребенка, который совершенно незащищен перед волей родителя. Впрочем, ваша судьба так сложилась, что теперь об этом нечего говорить. Просто на некоторые мысли навели меня ваши биографические показания, которые я читал с громадным интересом.

— Надеюсь, что в них вы нашли для себя мало полезного.

— Для вас все жандармы — жандармы. И только, — без обиды сказал генерал. — Советую впредь рассматривать каждого человека как отдельную личность. Я читал ваши записки как исповедь откровенного человека. Жалел, сочувствовал. Можете не верить, но в некоторых местах и прослезился. Я человек пожилой. Моя служба не доставляет мне особого удовольствия. И если бы не те самые обязанности перед семьей, о которых я вам уже доложил, и не многочисленные долги, я бы эту службу оставил. Я вовсе не реакционер и даже не сторонник существующей системы. Я люблю свободу, но политическим убийствам не сочувствую. Я понимаю борьбу на баррикадах, но не удар кинжалом из-за угла.

— Вы предполагаете устроить шумный процесс и сделать на этом карьеру?

— Нет, создавать большого дела я не намерен. Суду будут преданы лишь самые деятельные. Откровенно говоря, единственное, что утешает меня в моей службе, — это то, что я, возможно, сумею смягчить взаимную озлобленность с той и с другой стороны, сузить круг преследуемых лиц и облегчить в какой-то мере их участь. Этого, к сожалению, я не смогу сде-

лать в отношении вас. Меня одинаково возмущает жестокость властей, с одной стороны и неразборчивость в средствах — с другой...

Наступила неловкая пауза. Молчала арестантка, молчал и генерал. Чувствуя, что неловкость усиливается, он встал:

— Прошу прощения.

Снова поцеловал руку и вышел.

На Веру это посещение произвело впечатление. Генерал Середа отличался от других жандармских чинов, с которыми она встречалась до этого. Он ничего не предложил, ничего не выпытывал. Тем более что и дело как будто было уже закончено.

Весной 1884 года спокойствие Фигнер снова было нарушено, ее вызвали в канцелярию. Здесь ее ожидали прокурор Добржинский и генерал Середа. Середа при ее появлении встал и поклонился. Добржинский небрежным кивком головы указал на стул:

— Прошу вас.

Лица у обоих были усталые и серьезные. Добржинский переглянулся с Середой и положил перед Верой переплетенную тетрадку, густо исписанную мелким почерком.

— Вы узнаете этот почерк?

Почерк показался ей знакомым, но на всякий случай она отодвинула от себя тетрадку.

— Нет.

— Ну хорошо, тогда я покажу вам, кому она принадлежит.

Он перевернул тетрадь и показал ей подпись на последней странице: Сергей Дегаев.

— Ну и что? — Вера внимательно посмотрела на прокурора.

— Это имя, надеюсь, вам знакомо?

— Первый раз слышу.

— Вот видите, первый раз. А говорите, что никогда не лжете. Ладно. Я предлагаю ознакомиться частично с содержанием сего документа. — Он перелистывал за страницей страницу. — Так, здесь о первом составе Исполнительного комитета. Александр Михайлов, Желябов, Перовская. Это вам, может быть, уже и неинтересно. Пойдем дальше. Смотрите сюда. «Осенью 1882 года по поручению Фягнер в Одессе совместно с другими я организовал нелегальную типографию, о чем впоследствии имел честь донести г. Судейкину. По поручению господина Судейкина я также сошелся с офицерами Одесского и Николаевского военных кружков, а именно с Ашенбреннером Михаилом Юлиевым, подполковником Пражского полка...» И дальше шли фамилии, много фамилий!

Добржинский зорко следил за ее реакцией.

— Хватит! — Она отшвырнула от себя тетрадь и вскочила со стула. Не обращая внимания на следивших за ней чиновников, нервно ходила по комнате взад и вперед. Теперь сомнений не было, Дегаев — провокатор. И конечно, это его почерк, теперь она его вспомнила, мелкий, аккуратный, с завитушечками. Какая подлость! И какую глупость проявила она! Ведь весь его рассказ о побеге был шит белыми нитками, а она, опытная революционерка, столько раз сталкивавшаяся с предательством, привыкшая подозревать при малейших несовпадениях, попалась, как наивная дурочка. И ведь чувствовала она, что здесь что-то неясно, думала об этом, но побоялась оскорбить подозрением. И вот результат деликатности: переплетенная тетрадь, густо исписанная фамилиями, адресами, явками, паролями, кодами для зашифровки писем. Правительству выданы не только видные

представители партии, но и малозначительные, те, кто просто помогал деньгами или предоставлял свою квартиру. Полностью раскрыты военные кружки, их программа, подробно описана их деятельность.

Она опомнилась, увидев перед собой стакан воды, протянутый Середой.

— Успокойтесь, прошу вас,— мягко сказал он.

Вера жадно глотала воду...

Откуда-то издалека донесся голос Добржинского:

— Теперь, я надеюсь, и вы сможете дать более подробные показания.

Она подняла на него умоляющие глаза:

— Прошу вас, оставьте меня в покое.

24 сентября 1884 года в Петербургском военно-окружном суде началось слушание дела по обвинению четырнадцати человек, членов партии «Народная воля», в особо опасных государственных преступлениях. Суд проходил при закрытых дверях. Публику изображали несколько должностных лиц, начиная с министра юстиции господина Набокова и кончая начальником Дома предварительного заключения Ерофеевым. Газетам было дозволено печатать лишь скупые официальные сообщения без каких бы то ни было комментариев. Среди подсудимых шестеро военных, восемь гражданских лиц, из которых три — женщины.

Процесс был длинным и скучным. Зачитывались показания свидетелей обвинения, из которых ни один не был вызван в суд. Участие свидетелей защиты и вовсе не допускалось. На столе вещественных доказательств лежала груда папок в синих обложках.

И вот день последний.

— Подсудимая Фигнер, вам предоставляется последнее слово.

Председательствующий устремил взгляд на скамью подсудимых. Подняли головы подсудимые, задвигала стульями «публика», жандарм, стоявший возле дверей, переступил с ноги на ногу.

Слово предоставлялось главной участнице процесса, последнему члену Исполнительного комитета, той самой непоколебимой, неуловимой Вере Фигнер, за которой несколько лет безуспешно гонялась полиция.

Со скамьи подсудимых поднялась женщина тридцати двух лет от роду, с правильными чертами бледного, изможденного полугодовым предварительным заключением лица, с темной косой, аккуратно уложенной вокруг головы.

Она обеими руками взялась за перила загородки, отделявшей скамью подсудимых от остальной части зала, и некоторое время молчала, подбирая слова. Весь ее вид говорил о том, что она устала, что ей не хочется говорить и что по отношению к своей дальнейшей судьбе она испытывает сейчас, может быть, полное безразличие. Но она должна была говорить, в этом состоял ее последний долг перед партией. Она заговорила, и в глухом ровном голосе трудно было уловить хотя бы оттенок волнения:

— В настоящее время рассмотрению суда подлежат мои действия начиная с 1879 года. Прокурор в своей обвинительной речи выразил удивление как по отношению к их качеству, так и по отношению к количеству. Но эти преступления, как и всякие другие, имеют свою историю. Они находятся в неразрывной логической связи со всей предыдущей моей жизнью. Во время предварительного заключения я часто думала: могла ли моя жизнь идти иначе, чем она шла, и могла ли она кончиться чем-либо иным, кроме скамьи подсудимых? И каждый раз я отвечала себе: нет!

Я начала жизнь при очень благоприятных обстоятельствах. По образованию я не нуждалась в руководителях: меня не нужно было водить на помочах. Семья у меня была развитая и любящая, так что борьбы, которая так часто бывает между старым и молодым поколением, я не испытывала. Материальной нужды и заботы о куске хлеба или об экономической самостоятельности я не знала. Когда я вышла 17 лет из института, во мне в первый раз зародилась мысль о том, что не все находятся в таких благоприятных условиях, как я. Смутная идея о том, что я принадлежу к культурному меньшинству, возбуждала во мне мысль об обязанностях, которые налагает на меня мое положение по отношению к остальной некультурной массе, которая живет изо дня в день, погруженная в физический труд и лишенная того, что обыкновенно называется благами цивилизации. В силу этого представления о контрасте между моим положением и положением окружающих, у меня явилась первая мысль о необходимости создать себе цель в жизни, которая клонилась бы ко благу этих окружающих.

Русская журналистика того времени и то женское движение, которое было в полном разгаре в начале 70-х годов, дали готовый ответ на запросы, которые у меня возникли, они указали на деятельность врача как на такую, которая может удовлетворить моим филантропическим стремлениям.

Тогда женская академия в Петербурге была уже открыта, но она с самого начала отличалась той хлостью, которою отличается и до сих пор, постоянно борясь между жизнью и смертью; а так как решение мое было твердое и я не хотела в силу случайности сойти с раз принятого пути, то я решила отправиться за границу.

И вот, значительно перекроив свою жизнь, я поехала в Цюрих и поступила в университет. Заграничная жизнь представляет большое различие с русской. Явления, которые я там встретила, были для меня вполне новы. Я не была подготовлена к ним тем, что раньше видела и раньше знала; не была подготовлена к правильной оценке всего того, что встретила. Идея социализма была воспринята мной первоначально почти инстинктивно. Мне казалось, что она есть не что иное, как расширение той филантропической идеи, которая у меня возникла раньше. Учение, которое обещает равенство, братство и общечеловеческое счастье, должно было подействовать на меня ослепляющим образом. Мой горизонт расширился: вместо каких-нибудь тетюшан у меня явилось представление о народе, о человечестве. Кроме того, я приехала за границу в такой период, когда только что совершившиеся события в Париже и происходившая тогда революция в Испании вызвали сильный отклик во всем рабочем мире Запада. Между прочим, я познакомилась с учением и организацией Интернационала. Я могла только впоследствии оценить, что многое из того, что я видела тогда, было лишь казовым концом. Кроме того, я не смотрела на рабочее движение, с которым познакомилась, как на продукт западноевропейской жизни и считала, что то же учение пригодно для всякого времени и для всякого места.

За границей, увлекшись социалистическими идеями, я вступила в первый революционный кружок, в котором участвовала моя сестра Лидия. Его организация была весьма слабая: каждый член мог приступить к деятельности когда угодно и в какой угодно форме. Деятельность же состояла в пропаганде идей социализма, в радужной надежде, что народ, в силу

бедности и своего социального положения, уже социалист, что достаточно одного слова, чтоб он воспринял социалистические идеи.

То, что мы называли тогда социальной революцией, имело скорее характер мирного переворота, то есть мы думали, что меньшинство, враждебное социализму, видя невозможность борьбы, принужденно будет уступить большинству, сознавшему свои интересы, так что о пролитии крови не было и речи.

Я оставалась за границей почти четыре года. Я отличалась всегда некоторым консерватизмом в том смысле, что принимала решения небыстро, но, раз приняв их, отступала уже с трудом. Поэтому, когда весной 1874 года кружок почти весь отправился в Россию, я осталась за границей, чтоб продолжать изучение медицины.

Моя сестра и другие члены сообщества кончили свою карьеру весьма бедственно. Два-три месяца работы на фабриках в качестве работниц и рабочих повлекли двух- и трехлетнее предварительное заключение, а затем суд, который приговорил некоторых из них на каторгу, а других — в Сибирь на поселение и житье. Когда они находились в тюрьме, то сделали призыв: мне предложили явиться в Россию с целью поддержать дело кружка. Так как я получила уже достаточно медицинских знаний и думала, что получение звания доктора медицины и хирургии будет удовлетворять только тщеславию, то и отправилась в Россию.

Тут мне пришлось на первых же порах испытать кризис: движение в народ уже потерпело поражение. Тем не менее я нашла достаточное количество людей, которые казались мне симпатичными, которым я доверяла и с которыми сошлась. Вместе с ними я уча-

ствовала в выработке той программы, которая известна под названием программы народников.

Я поступила в земство как фельдшерица.

В очень скором времени против меня составила́сь целая лига, во главе которой стояли предводитель дворянства и исправник, а в хвосте — урядник, волостной писарь и т. п. Про меня распространяли всевозможные слухи: и то, что я беспаспортная, тогда как я жила по собственному виду, и то, что диплом у меня фальшивый, и прочее. Когда крестьяне не хотели идти на невыгодную сделку с помещиком, говорили, что виновата я; когда волостной сход уменьшал жалование писарю, утверждали, что виновата в этом опять-таки я...

Я видела, что против меня нет никаких фактов, что меня преследуют собственно за дух, за направление: подозревали, что не может быть, чтоб человек, не лишенный образования, поселился в деревне без каких-нибудь самых ужасных целей.

Таким образом, я была лишена возможности даже физического сближения с народом и не могла не только делать что-нибудь, но даже сноситься с ним по поводу самых обыденных целей...

До этого момента мои задачи были общественно-альтруистические: они не затрагивали моих личных интересов. Теперь мне в первый раз пришлось на самой себе испытать неудобство нашего образа правления...

Моя предыдущая жизнь привела меня к убеждению, что единственный путь, которым данный порядок может быть изменен, есть путь насильственный. Мирным путем я идти не могла: печать, как известно, у нас несвободна, так что думать о распространении идей посредством печатного слова невозможно. Если бы какой-нибудь орган общества указал мне

другой путь, кроме насилия, быть может, я бы его выбрала, по крайней мере испробовала бы. Но я не видела протеста ни в земстве, ни в суде, ни в каких-либо корпорациях; не было воздействия и литературы в смысле изменения той жизни, которою мы живем,— так что я считала, что единственный выход из того положения, в котором мы находимся, заключается в насильственной деятельности.

Раз приняв это положение, я пошла этим путем до конца. Я всегда требовала от личности, как от других, так, конечно, и от себя, последовательности и согласия слова с делом, и мне казалось, что, если я теоретически признала, что лишь насильственным путем можно что-нибудь сделать, я обязана принимать и непосредственное участие в насильственных действиях, которые будут предприняты той организацией, к которой я примкнула. К этому меня принуждало очень многое. Я не могла бы со спокойной совестью привлекать других к участию в насильственных действиях, если б я сама не участвовала в них: только личное участие давало мне право обращаться с различными предложениями к другим лицам. Собственно говоря, организация «Народная воля» предпочитала употреблять меня на другие цели — на пропаганду среди интеллигенции, но я хотела и требовала себе другой роли: я знала, что и суд всегда обратит внимание на то, принимала ли я непосредственное участие в деле, и то общественное мнение, которому одному дают возможность свободно выражаться, обрушивается всегда с наибольшей силой на тех, кто принимает непосредственное участие в насильственных действиях, так как я считала прямо подлостью толкать других на тот путь, на который сама не шла бы.

Вот объяснение той «кровожадности», которая должна казаться такой страшной и непонятной и ко-

торая выразилась в тех действиях, одно перечисление которых показалось бы суду циничным, если бы оно не вытекало из таких мотивов, которые, во всяком случае, мне кажется, не бесчестны.

В программе, по которой я действовала, самой существенной стороной, имевшей для меня наибольшее значение, было уничтожение абсолютистского образа правления. Собственно, я не придаю практического значения тому, стоит ли у нас в программе республика или конституционная монархия. Я думаю, можно мечтать и о республике, но воплотится в жизнь лишь та форма государственного устройства, к которой общество окажется подготовленным, так что вопрос этот не имеет для меня особенного значения. Я считаю самым главным, самым существенным, чтоб явились такие условия, при которых личность имела бы возможность всесторонне развивать свои силы и всецело отдавать их на пользу общества.

И мне кажется, что при наших порядках таких условий не существует.

— Вы сказали все, что хотели? — спросил председатель.

— Да.

Она села, и никакие силы не смогли бы заставить ее говорить дальше. Она все сказала, она подвела черту. Теперь дело за судьями.

Председатель произносил слова четко и внятно: «...лишив всех прав состояния, подвергнуть смертной казни через повешение».

— Какой варварский приговор! — вырвалось у кого-то из защитников.

Варварский приговор! Она приняла его без страха и возмущения. В конце концов, она сделала все, что могла, и даже сверх того, что могла. Она устала. Устала бороться, устала жить.

На следующий день пришел надзиратель и сказал, что ее ожидают мать и сестра Ольга, которым разрешено свидание.

Во время следствия ей не раз разрешали свидания с матерью, и все они были тяжелы. Но на это свидание она шла, как на пытку. Сидеть и ощущать на себе скорбный взгляд матери, знающей, что это последняя в жизни встреча,— что может быть ужаснее?

И вот они сидят рядом в углу, а напротив, возле дверей, как полагается, два жандарма. Может быть, их присутствие даже к лучшему, при посторонних труднее предаваться своему горю.

Сидели молча. Того, о чем думали, не говорили. Неожиданно мать сказала:

— Газеты пишут, что Николенька выступает с большим успехом.

За годы, пока она училась в Швейцарии, готовила покушения и скрывалась от полиции, младший брат Николенька стал морским офицером, вышел в отставку, учился пению в Неаполе и там же дебютировал. Пел в Мадриде, Бухаресте. Знаменитый оперный певец. Сколько раз она пыталась представить себе его на сцене, но не могла и почему-то представляла всегда таким, каким видела в Казани, перед отъездом в Цюрих,— маленького, ушастого, в гимназической форме... Она задумалась и не слыхала, что говорит мать, ухватила только конец фразы:

— ...все так делают...

— Что?

— Я говорю,— повторила мать,— адвокат считает, что ты должна подать прошение о помиловании. Она посмотрела на нее с упреком:

— Мамочка, я вас прошу, не говорите мне об

— Я ничего, ничего, Верочка,— смешалась мать.— Я только передаю то, что сказал адвокат.

До последнего дня мать не вмешивалась в дела дочерей, не пыталась навязывать свою волю. Но сегодня...

Два дня назад, когда они виделись в перерыве между заседаниями суда, мать вдруг сказала:

— Дай мне слово, что исполнишь мою просьбу.

— Никогда не дам, не зная, в чем дело,— ответила Вера.— Уж не хотите ли вы взять обязательство, что я не покончу с собой?

— Нет,— сказала мать.— Я знаю, что могут быть обстоятельства, когда смерть — наилучший исход.

Теперь вопрос о самоубийстве отпал сам собой.

Старший из сидевших у двери жандармов посмотрел на часы и равнодушно сказал:

— Дамочки, пора прощаться.

— Сейчас, сейчас,— поднялась мать.— Дитя мое.— Она перекрестила дочь и стала целовать, пристально вглядываясь, как будто хотела навсегда запомнить каждую черточку ее лица.

— Если бы я могла вместо тебя!..

Не договорив, она махнула рукой и, не оглянувшись, вышла быстро, боясь разрыдаться.

Теперь пришла Олина очередь, и она уткнулась лицом в грудь несчастной старшей сестры.

— Барышня,— хватал ее за плечо жандарм.— Пора вам уже, пора. А то смотритель ругаться будет.

— Иду.— Оля наконец оторвалась.— Верочка,— сказала она, пятясь к двери.— Я с тобой не прощаюсь. Я знаю, что царь тебя помирует. Дойдет до него — такие дела мимо него не проходят,— и он помирует.

Она задержалась на пороге и теперь молча смотрела на сестру с пронзительной жалостью.

«Уйди, не могу больше», — взглядом сказала Вера.

Дверь захлопнулась. Еле передвигая ноги, Вера дошла до своей камеры и свалилась на набитый соломой тюфяк в беспамятстве...

Она проснулась от ощущения, что кто-то стоит рядом. Вера вскочила. Перед ней стоял смотритель Дома предварительного заключения, морской офицер в отставке.

— Что вам нужно? — спросила она.

— Военные, приговоренные к смертной казни, решили подать прошение о помиловании. Но барон Штромберг колеблется и просил узнать ваше мнение.

— Скажите Штромбергу, — ответила она, — что я никогда не посоветую другим делать то, чего ни при каких условиях не сделала бы сама.

— И это все? — смотритель не уходил.

— Все!

— Какая вы жестокая! — смотритель вышел.

Она снова легла, подложив руки под голову. Какое отвращение вложил в свои слова смотритель! Что ж, пускай. Ему никогда не понять, что она чувствует. Да, жестокая. Но жестокая в первую очередь к себе самой. Да, она была строга к людям, требовала от них многого, но и себе не давала поблажки. Никогда и ни в чем. С тех самых пор, когда дала клятву сестре, никогда и ни в чем не отступала от своих убеждений, шла путем прямым, как стрела. Отказалась от всех соблазнов, отказалась от личной жизни, от любви, от семьи, от родных. Не позволяла себе лишний раз съесть конфету или надеть нарядное платье (если, конечно, не нужно было для дела). А теперь... Разве она попросила хоть какого-то снисхождения для себя? Наоборот, самым подробнейшим образом рассказала суду о своем личном участии во всех крупных делах,

о своей связи с Соловьевым, о двух попытках покушения под Одессой, о своем участии в деле 1 марта, о своей роли в подготовке убийства Стрельникова. Военных приговорили к смертной казни. Но и ее, женщину, приговорили к тому же. И она взойдет на эшафот. Без улыбки (на улыбку нет сил), но достойно, и ни намека на просьбу о пощаде не услышат от нее палачи. Так может ли она в ее положении предлагать другим сделать то, на что не согласна сама?

На другой день ее перевели в Петропавловскую крепость. Отобрали собственную одежду, взамен выдали тюремную: холщовая рубаша, платок, огромные коты с портянками, суконная, изъеденная гусеницами юбка и пропитанный жиром, потом и грязью суконный халат с желтым тузом на спине.

Через неделю после суда пришел врач справиться о здоровье. Власти проявляли гуманность. Если насморк, то сперва вылечат, а потом уж повесят.

— Ничего, — сказала она равнодушно.

На восьмой день в сопровождении нескольких офицеров в камеру вошел старый генерал, комендант крепости. Приблизив к глазам бумагу, которую подал ему один из офицеров, генерал произнес резким скрипучим голосом:

— Государь император всемилостивейше повелел смертную казнь заменить вам каторгой без срока.

Генерал со своей свитой давно вышел, а она все еще стояла посреди камеры, не в силах осознать услышанное.

«Государь император всемилостивейше повелел...»

Была ли она этому рада? Пожалуй, нет. В душе было полное равнодушие к своей судьбе и тупое ощущение. «Всемилоостивейше повелел...»

До этого казалось: все, что она могла в своей жизни сделать, сделано, теперь осталось только дождаться

ся конца и встретить его достойно и без ненужной бравлады.

Теперь ее лишали этой возможности и оставляли заживо погребенной в беспросветном мраке одиночной камеры, оставляли навсегда...

29 сентября 1904 года от Шлиссельбургской крепости отошел пароход «Полундра». На борту в окружении жандармов стояла изможденная женщина пятидесяти двух лет от роду. Она жадно всматривалась в берега, освещенные тусклым осенним солнцем.

— Вера Николаевна, — предупредительно сказал жандарм, — сойдемте в каюту, простудитесь.

Вера Николаевна! Впервые за двадцать с лишним лет ее назвали по имени-отчеству. Двадцать с лишним лет у нее не было ни имени, ни отчества, ни фамилии. «Заключенная номер одиннадцать» — только так, соблюдая инструкцию, называли ее жандармы.

И вот пароход везет ее в Петербург. Еще несколько дней в Петропавловской крепости, а там — свобода. Правда, свобода неполная, свобода в виде ссылки в Архангельскую губернию, но по сравнению с одиночным заключением все же свобода. Думала ли Фигнер, что когда-нибудь доживет до этого дня? Ведь ее заточили в крепость без срока, то есть до самой смерти. «Отсюда не выходят, а выносят», — говорили тюремщики. Ее посадили в одиночную камеру, запретив переписываться с родными, чтобы она не знала ничего ни о ком, чтобы о ней не знал никто ничего.

— Вы узнаете о своей дочери, когда она будет в гробу, — сказал когда-то ее матери товарищ министра внутренних дел.

Жестокая реальность лежала в основе этого мрачного предсказания. Мало кому из соратников Веры

Фигнер удалось перенести бесчеловечные условия одиночного заключения. Мрачные сырые камеры, скудное питание, и в результате — цинга, чахотка и смерть. Умирали и слабые, и сильные. За два года сгорели слабосильный Клеточников и силач Бараников. Четыре года продержался Александр Михайлов, пять — Григорий Исаев и семь — Юрий Богданович. Некоторые сходили с ума, другие кончали самоубийством. Михаил Грачевский облил себя керосином из лампы и сжегся.

«Отсюда не выходят, а выносят!» Жандармы знали, что говорили.

Тюремщики ставили своей задачей сломить заключенных не только физически, но и морально. Прощение о помиловании могло привести к сокращению срока. Но подать такое прошение Вера Николаевна не могла «ни при каких условиях». А когда за нее это сделала мать (и новый царь Николай II заменил бессрочную каторгу двадцатилетней), она готова была порвать всякие отношения с матерью. Только неизлечимая болезнь, а вскоре и смерть Екатерины Христовой примирили с ней ее непреклонную дочь.

Двадцать с лишним лет одиночного заключения! Сменялись поколения жандармов, сменялись и поколения заключенных. (При ней в Шлиссельбурге казнили революционера, который родился 3 апреля 1881 года, в день казни первомайцев.) Двадцать с лишним лет она поражала своей стойкостью тюремщиков и восхищала товарищей. «...Все взоры,— вспоминал потом М. Ю. Ашенбреннер,— невольно обращались к ней, ожидая от нее слова, знака или примера».

...Пароход «Полундра» взбивал колесами мутную воду Невы. Вечерело, и беспечными огнями расцветал в отдалении стольный град Петербург. Пожилая

женщина стояла на борту парохода, вглядываясь в расплывчатые очертания берегов. Два дня назад она спросила товарища, освобождавшегося вместе с ней:

— Чувствуете ли вы дуновение предстоящей свободы? Чувствуете ли, что стоите на рубеже светлого перелома в жизни?

— Нет,— отвечал он,— ничего не чувствую, я словно деревянный.

Не то же ли самое чувствовала сейчас и она? После долгих лет одиночества трудно вновь приспособиться к жизни среди людей. Для некоторых это новое испытание окажется непосильным, и они кончат жизнь самоубийством. «...Свобода моя,— напишет через несколько месяцев Фигнер,— похожа на деревянное яблоко, лишь снаружи искусно подделанное под настоящее: мои зубы впились в него, но чувствуют нечто совсем не похожее на фрукт».

Вынеся столь долгое заключение, она вынесла и испытание свободой. Она прожила еще много лет, занимаясь общественной и литературной деятельностью. Ей довелось увидеть торжество дела, за которое отдали свои жизни ее товарищи.

Вера Николаевна Фигнер умерла в 1942 году в возрасте 90 лет.

Оглавление

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ	3
Глава первая	—
Глава вторая	14
Глава третья	20
Глава четвертая	29
Глава пятая	46
Глава шестая	49
Глава седьмая	57
Глава восьмая	67
Глава девятая	76
Глава десятая	82
Глава одиннадцатая	88
Глава двенадцатая	94
Глава тринадцатая	99
Глава четырнадцатая	103
Глава пятнадцатая	110
Глава шестнадцатая	114
Глава семнадцатая	118
Глава восемнадцатая	127
Глава девятнадцатая	133
Глава двадцатая	137
ЧАСТЬ ВТОРАЯ	144
Глава первая	—
Глава вторая	153
Глава третья	161
Глава четвертая	172
Глава пятая	179
Глава шестая	186
Глава седьмая	192
Глава восьмая	202
Глава девятая	219
Глава десятая	230
Глава одиннадцатая	236
Глава двенадцатая	251
Глава тринадцатая	256
Глава четырнадцатая	266
Глава пятнадцатая	271
Глава шестнадцатая	276

Глава семнадцатая	282
Глава восемнадцатая	288
Глава девятнадцатая	306
Глава двадцатая	314
Глава двадцать первая	330
Глава двадцать вторая	333
Глава двадцать третья	338
Глава двадцать четвер- тая	342
Глава двадцать пятая	351
Глава двадцать шестая	360

Войнович В. Н.

В65 СТЕПЕНЬ ДОВЕРИЯ. (Повесть о Ве-
ре Фигнер). М., Политиздат, 1973.

384 с. с илл. (Пламенные революцио-
неры).

P2+9(C)16

Заведующий редакцией *В. Г. Новозатко*

Редактор *А. П. Пастухова*

Младший редактор *Г. Е. Щербакова*

Иллюстрации художника *Л. В. Козлова*

Художественный редактор *В. И. Терещенко*

Технический редактор *Е. И. Каржавина*

Сдано в набор 5 мая 1972 г. Подписано в печать 21 ав-
густа 1972 г. Формат 70 × 108¹/₃₂. Бумага типографская
№ 1. Условн. печ. л. 17,41. Учетно-изд. л. 15,98. Тираж
200 тыс. (100 001—200 000) экз. А 00161. Заказ № 1787.
Цена 76 коп.

Политиздат, Москва, А-47, Миусская пл., 7.

Ордена Ленина типография «Красный пролетарий»,
Москва, Краснопролетарская, 16.



142

